

НЕВА



7•2026

Ценим прошлое.
Открываем новое



НЕВА

7
2026

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Янур ВАСИЛИЕВ

Стихи • 3

Анна АНТИПОВА

Питерская история. *Рассказ* • 9

Елизавета ГУБИНА

Запах муската и кордита. *Рассказ* • 24

Валерий СКОБЛО

Стихи • 30

Александр ЖДАНОВ

Верка Гамильтон. *Повесть* • 35

Надежда АЖГИХИНА

В снах и без них. Детство. Дорога. Сны.

Лестница в небо. *Рассказы* • 96

ПЕРЕВОДЫ

Исаак МАКЛЕЛЛАН, Жорж ФУРЕСТ,

Анатолий ФРАНС, Поль ВАЛЕРИ, Жермен НУВО,

Стефан МАЛЛАРМЕ, Гийом АПОЛЛИНЕР

Из французской и англоязычной поэзии.

Переводы М. Серебринского. Пред. А. Ахматова • 109

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Александр ТЮЖИН

Один билет до Марса. *Повесть* • 115

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Евгений ЭДИН

День зависимости. Зонты и флаги. *Рассказы*
из цикла «Мы здесь в центре». Пред. Е. Попова • 203

12+

МОЛОДЫЕ. О МОЛОДЫХ

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дом. Рассказ • 224

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Екатерина СОСНИНА

Тайна известной акварели М. Лермонтова • 232

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Александр Чистобаев. Поэзия
Дмитрия Артиса в контексте современного литера-
турного процесса • 238

ПИЛИГРИМ

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Святой Франциск Ассизский и Россия. Часть 4 • 242

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Рукописи принимаются только в электронном формате
по адресу nevaredaction@mail.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышки-
на** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталия Ламонт** (редактор-
координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор
интернет-сайта).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2026

Янур ВАСИЛИЕВ

* * *

Практически случайно, наугад,
Как Мандельштамы выбрали Воронеж,
Ты выбрала зачем-то город Псков.
Так за спиной задернулся засов:
Уехано, уедено. Догонишь —
И вот уже придется невпопад,
И встрече сам окажешься не рад.

Лишь дернет опьяняющая память —
Как обухом в затылок саданет —
Останется лишь грустно улыбаться,
Играя роль трагичного паяца,
Пока мелькают задом наперед
Осколки лет, которым не оттаять,
Но встрянет разум, отрезвляя память.

Быть может, это к лучшему. Пора
Оставить прошлое в его тягучей гуще,
Когтями не цепляться за него,
Хоть чувствовалось кровное родство.
Да, стало пусто, будет даже пуще:
Вчерашний день остался во вчера.
Пожалуй, это к лучшему. Пора.

* * *

Прими меня, возьми меня, мой город,
Где выжжен я бывал и перемолот,
Где падал, воспарив, и пропадал —
Водой смыкался надо мной канал.

Тут в памяти размыто все бывшее:
Рябят картинки в суматошном рое, —
Но иногда забытое досель
Бросается из омута на мель.

Янур Василиев родился в 2003 году в Дзержинске Нижегородской области. Окончил филологический факультет СПбГУ. Гран-при XX фестиваля молодых поэтов «Мцыри», лауреат премий «Мое солнцестояние» издательства «СТИХИ» и «Зеленый листок». Стихи и рецензии печатались в журналах «Звезда», «Аврора», «Литературной газете» и «Независимой газете».. Работает учителем русского языка и литературы.

Помилуй, мне и так довольно худо,
Я забываю, кто я и откуда.
Да, мой исток не здесь, на что пенять?
Течение не повернется вспять.

И я плыву вдоль центра и окраин,
Хоть вымотан, опустошен, изранен:
Ищу зазор, минуя грязь и гнусь, —
Найду и лихорадочно приткнусь.

Но даже если я тебе не нужен,
Я остаюсь заядло петербуржен —
Возьми, как брал иных сто лет назад,
Трехвечный Петербург, Санкт-Ленинград.

* * *

Собрал я по осколкам свой же хаос
В какой-то неуклюжий монолит,
Скрепил, теперь собою высекаюсь,
Как высекают мрамор и гранит.

Неровно тут, и там шероховато —
Ловлю изъяны, в крошку их дробя:
Схватился, как за розгу, грубым хватом —
Людское высекаю из себя.

Здесь не прогнуться — надобно ломаться,
Ломать себя и сращивать опять;
Едва ли сыщешь славу тунеядца,
Когда приходится так ревностно пахать.

Сечешь, ломаешь, гонишься за чем-то,
Стремясь перелопатить все, что есть:
Изъяны отсекаешь посегментно,
Пока не израсходуешься весь.

* * *

Я вас любил, любил всех до единой
И не могу избавиться от вас:
То та, то эта резкою лавиной
На память обрушается подчас.

Учился жить без вас, да вот досада:
Умения я так и не постиг,
Но и сказать, что мне других не надо,
Не поворачивается язык.

Аукаются старые надломы —
Покою своему наперекор
Бросаюсь перелистывать альбомы
И чувствую, что ноет до сих пор.

Вы остаетесь вечным чем-то с краю,
Что можно верить лишь карандашу:
Я вас в себе зачем-то сохраняю,
Поэтому, быть может, и пишу.

* * *

На самом деле мне нравился только я,
Нравилось чувствовать что-нибудь вроде счастья,
Теперь же — среди ощущения небытия —
Хочется, чтобы мир порвало на части.

Нравилось ощущение, когда не один, а два,
Нравилось, что заботятся, чувствовать, будто нравлюсь,
А ежели требовалось что-то в ответ давать,
Сердце скрепя отщипывал нужную малость.

Чтоб не скучала, устраивал аттракцион:
Катал на качелях — мотал настроение, нервы, силы.
Зная, как любишь внимание, подчас оставлял без него,
Чтобы при случае больше его ценила.

Можно любить и за красоту игры, и за
Имитацию страсти, умение вызвать жжение,
Ведь даже когда я подолгу глядел в глаза,
То разве что любовался своим отражением.

Не доставайся в конце же концов никому,
После меня не расти ничего на свете:
Звери, трава, деревья — все пусть летит во тьму,
И ты вместе с ними лети, и будущий муж, и дети.

О СПАСЕНИИ УТОПАЮЩИХ

Это жизнь ускользала из-под когтей,
Под ногой хрустела некрепким льдом,
И пока она рушилась все быстрее,
Я все так же откладывал на потом:
Игнорировал леденящий треск,
Намекавший, мол, все трещит по швам.
Не желая, чтоб кто-то мне в душу лез,
Заявлял, что решать не вам,
И жил себе дальше, как идиот,
Спотыкаясь на каждой кочке,
Бился по жизни, как рыба об лед,
Решив, что тонут поодиночке.
Думал, что шит по другим лекалам,
Хоть ножом меня режь, и то —
Жизнь, как водится, утекала,
А я хватался за решето.

Когда уносило, я помнил одно,
Истину знал ничейную:
Можно спокойно пойти на дно,
Можно плыть по течению,

Но лучше барахтаться наперекор
 Всему в постылом замесе, и
 Даже когда заключают спор,
 Дотянешь ли ты до пенсии.
 Когда же настанет пора — уходи
 Ярko, с душой, без паники —
 Так музыканты играли, поди,
 На уходящем под воду «Титанике».
 Рано ли, поздно ли, кончится все,
 Кончусь и я обязательно —
 Так пусть будет ярко, раз не спасем;
 Не надо играть в спасателя.

* * *

В вагонной тряске сквозь полусон
 На деревья глядишь устало.
 Остановились: ночной перрон,
 Какой-то заснеженный полустанок.

У ассорти минеральных вод
 Буфетчица хмурая, чуть седая,
 Практически носом уже клюет.
 Спала бы себе, суеты не зная.

Снежные мухи летят на свет,
 А за потрескавшейся колонной —
 Вход в забытый Богом буфет
 Круглосуточно-пристанционный.

Что если к ней обратиться вдруг,
 Сморозить пошлость, мол, что за цаца,
 И предложить ей совместный досуг —
 Кто помешает взять и остаться?

Уже не знаешь и думать о ком,
 А жизнь подкидывает лишь мины —
 Возьми да выйди за пирожком
 И салатиком витаминным.

Взять и заделать бы с ней семью,
 Пойти на местное производство,
 Жить в гармонии, как в раю,
 Спать спокойно и думать просто...

Нерасторопно присядь за стол,
 Вкуси неброскую снедь, прочувствуй:
 В непосредственности — вся соль,
 В легкости этой — свое искусство.

Выдохнув, чувствуешь: будет день,
 Жизнь просто так не заткнуть за пояс —
 Отбрось сомнений глухую тень
 И не прошляпай уходящий поезд.

* * *

И время кончилось, и места больше нет:
 Нас вычеркнули, мы не существуем.
 Простынку снял, сворачиваю плед —
 Кровать меня не упомянет всуе.

Пожитки уложил в потертый чемодан,
 Гляжу на оголенное пространство:
 Ментальный долг ему я чем отдам?
 Понятно, что не внутренним убранством.

Печаль из зеркала приветливо глядит,
 Подмигивает комнате: «Best wishes...»,

В глазах застыл надолго этот вид
И дрогнул, на сетчатке отразившись.

Спустился, вышел из подъезда. Ну, вперед?
Закрылась дверь, в том помощь не нужна ей —
Подъезд меня уже не узнает
И, думается, больше не узнает.

* * *

Казалось, темнота мне нипочем,
Но на бок натравили волчью стаю —
Я скорчился убогим калачом,
Раздернул веки. Думал, умираю.

В один момент остался не у дел:
От всполоха рябило и мутило,
Корячась, тихо встал, шагнул, осел —
Отчетливо привиделась могила.

Жизнь цепанула когтем за живот,
Хоть виделась короткою и жалкой,
И думалось: «Уже не заживет», —
Схватила и держала мертвой хваткой.

Перетерпел. Но точно понял я:
В конце концов придется ставить точку;
И я не сторонюсь небытия,
Но все-таки надеюсь на отсрочку.

* * *

В палате разорался психбольной:
«Прошу, покоя, дайте мне покоя,
Ведь я уже и сам не знаю, кто я,
Скорее бы настал опять покой —
Прошу вас рассказать, кто я такой.

Я не был никогда Наполеоном,
Я — это я. Но кто такое — Я?
Мозги и тело? Слепок бытия?
„Я“ заперто в пространстве незнакомом,
И пустота вопит истошным звоном».

Стучался в дверь — просил, чтобы отстали,
Кричал о том, что хочет тишины,
Пытался рвать рубашку со спины
И требовал свободы, но едва ли
Его услышат в этом карнавале.

Он выбьется из сил и ляжет ниц,
Потом сгребет сознания ошметки —
Тихонько встанет, подойдет к решетке
И будет из глубин своих глазниц
Ловить летящих за решеткой птиц.

ХОСПИС

Невзрачный домик с тропкой узенькой
Печально-сер, многолюдим,
Но в нем с утра играет музыка,
И чайки кружатся над ним.

Он, одинокий, на окраине
От обывателей сокрыт,
Кишит нутром своим израненным,
Захлебывается навзрыд.

Из неги выйдя в ужас утренний,
Сквозь дымку видит он вдали,
Что из действительности муторной
Опять кого-то увезли.

И смотрит дом, застыв от ужаса,
Пустым окном на этот вид,
А чайки дальше в небе кружатся,
И дальше музыка звучит.

* * *

Тыходишь в эту реку не спеша:
Тебе вначале холодно и страшно —
Там, в глубине, не видно ни шиша,
И плаваешь ты, в общем-то, неважно.

Но ты плывешь. Поток тебя несет,
Ведет, толкает, держит на плаву;
Становится неясно: это все
Во сне творится или наяву?

Мерещится, что кожа в чешуе,
Что жабры распускаются на шее,
Что с каждым вдохом в водной толчее
Немая речь становится слышнее.

Всецело воплощаешься в поток,
Течение разносит на крупички,
И ты хватаешь воздуха глоток
Последний, чтобы после — раствориться.

ПИТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ

Рассказ

Сарыбек идет по Гороховой. На дворе теплый октябрь. Уже вечер, и народу немного. Сарыбек достает ключи и ныряет в арку, залитую тревожным красноватым светом.

Во дворе на стене дома его встречает рисунок: европейский городок под черепичной крышей, утопающий в зелени, а вдалеке краешек ярко-синего и чудом не выцветшего моря.

Впервые увидев этот рисунок, Сарыбек впал в ступор. Из серой питерской действительности он вдруг оказался на маленькой мощеной улочке под жарким солнцем, столь же беспощадно гостеприимным, как на его родине. А потом заметил море. И показалось оно ему безграничным и синим-пресиним, как в фильмах. На секунду он услышал плеск волн. А потом магия прекратилась, и парень снова оказался в центре питерского дворика пасмурным днем.

Потом Сарыбек заметил, что каждый раз невольно замирает перед этим рисунком. Он думал: как штрихи на стене создают такую магию? Ведь даже он смог бы нарисовать такие простые линии.

Эта мысль почему-то пугает его. Тряхнув головой и стараясь не глядеть на стену, он идет к подсобке. Достает метлу, надевает рваные хозяйственные перчатки и метет двор. За ним уныло тянется облезлая коляска с двумя побитыми ведрами вместо ляльки. Туда он складывает мусор.

Двор довольно большой: закуток слева, ниша с мусорными баками, детская площадка, небольшое одноэтажное здание яслей внутри двора. Вокруг детской площадки и яслей растут тонкие стволы деревьев, которые кажутся вечно юными, как и воспитанники садика. Их листья разносит ветром по всему двору.

Сарыбек начинает с закутка слева. Там ему, привыкшему к степным просторам, всегда становится неуютно. Здания нависают над ним, смотрят разноцветными глазами — желтоватыми, синеватыми, розовыми — и порой перемигиваются между собой. Деревьев в этом закутке нет, мусора мало — чаще всего окурки. Иногда за день Сарыбек видит их столько, что они ему потом снятся. В тех снах он собирает окурки, а вокруг их так много, что, кажется, труд его и вовсе безнадежен, но он упорно продолжает собирать их, сам не зная зачем. И поутру чувствует себя лучше: то неведомое пространство становится чище, он знает это.

Возле детской площадки его ждет приятель — статуэтка собаки, которая пытается влезть на широкую чашу из искусственного камня. Сарыбек заглядывает в чашу и вытаскивает оттуда еще несколько окурков. Кому-то кажется забавным тушить их

о внутреннюю полость скульптуры. Он радуется, что дети в садике слишком малы, чтобы туда заглянуть.

Он метет аккуратно, неспешно, и старая коляска уныло тянется за ним, громыхая ведрами на ходу. Мимо проходят люди. Его не замечают, и Сарыбека это устраивает. Чужое внимание не обещает ничего хорошего.

— Добрый вечер, уважаемый! — слышит Сарыбек знакомый бас и кивает седоватому мужчине лет пятидесяти, который сидит на скамейке напротив игрового двора.

Сарыбек знает его, насколько можно знать прохожего, которого видишь изо дня в день. В старом кожаном плаще с рукавами, истертыми на краях, в потертой шляпе он выглядит как европейский господин с лицом русского богатыря на пенсии. Каждый день в одно и то же время этот мужчина выходит в магазин. Часто он останавливается, чтобы поговорить с местными жителями. «Как ваша внучка, Алина Эдгаровна? Учится? Рад слышать!», «Как ваши дела, Алексей Петрович? Поясница? Ну, здоровья вам!» — то и дело звучит раскатистый бас, пока Сарыбек подметает. Этот жилец единственный здоровается с ним и даже несколько раз пытался заговорить. Но Сарыбек плохо знает русский язык и опасается разговаривать с местными.

Иногда ему кажется, что он мог бы заговорить с этим жильцом. Задать ему те странные вопросы, на которые никто не мог ответить, даже мама. Но потом он вспоминает, как Телман сидел в углу, сжав кулаки. Два месяца работы, и его просто выставили за дверь, не заплатив. Телману пришлось занять у ребят, чтобы хоть немного отправить на родину.

— Мы для них — второй сорт, — толковывал ему Мебах перед тем, как устроиться на работу, — они только и ждут, как бы нас обмануть. Нельзя доверять им.

Сарыбек вспоминает хмурого и побитого Жасура, который рассказывал, что разговорился с какой-то женщиной, и из-за нее его отправили на родину без гроша в кармане.

Они здесь чужие. Нужно держаться подальше от остальных.

Через двор к мужчине идет девушка. Белые кеды на огромной платформе, огромный шарф, огромная куртка — все на ней слишком огромное, и под слоем этих одежд она смотрится совсем маленькой и хрупкой. На носу у нее необычные круглые очки. Она подходит к мужчине и встает перед ним, скрестив руки:

— Что хотел?

— Поговорить... — начинает мужчина, запинаясь, и бас его похож на кашляющий мотор. — Доча, у меня выставка будет... может, твои работы тоже...

— Мне не нужны подачки. Я сама справлюсь. Это все?

Мужчина опускает голову, словно его только что приговорили к высшей мере. Говорит бесцветно:

— Все.

— Тогда я пошла.

Девушка резко разворачивается и проходит мимо Сарыбека. Он дивится: она свежа и прохладна, как весенний ветерок, так почему она такая злая?

Мужчина долго сидит, уставившись куда-то в глубь себя. Сарыбеку кажется неправильным, что он видит этого улыбчивого человека таким грустным. Он отворачивается.

Сарыбек заканчивает подметать. Возвращается в подсобку, наполняет ведро водой. Влага по капле в секунду пытается сбежать через щель на дне. Сарыбек несет ведро к стене возле мусорных ящиков. Там его ждут кадки с виноградом. Весной гибкие стволы накрывают стену зеленым покровом, но осенью смотрятся жуткими

трещинами. Сарыбек поливает виноград в три захода. Ноет спина, но он привык не замечать эту боль.

В парадную Сарыбек заходит, вооружившись старой лыжной палкой. Поднимается на третий этаж. Крышка мусоропровода откинута. Сарыбек пихает палку в новую пасть мусоропровода, но тот не сдается — мусор засел крепко.

— Здравствуйте, — слышит Сарыбек шепот за спиной и от неожиданности резко разворачивается, сжимая в руке лыжную палку. За его спиной стоит старушка лет семидесяти в леопардовом халате и стоптанных китайских тапках, с седыми волосами, затянутыми в строгий пучок. На носу у нее очки с бордовой оправой «кошачий глаз».

— Я видела. Это сделали жильцы из тридцать девятой, — заговорщицки шепчет старушка, — подайте на них в суд! Я буду свидетелем!

Сарыбек растерянно молчит.

— Добрый вечер, Эстелла Анатольевна, — снова раздается голос у него за спиной. Сарыбек оборачивается. На лестнице стоит молодой человек с бледным лицом, нервно переминаясь с ноги на ногу, — а я вам долг пришел отдать.

— Венечка, — старушка растягивает губы в приветливой гримасе, — ну что ты о делах в подъезде... проходи, проходи.

Она гостеприимно тянет молодого человека в квартиру. Сарыбек поворачивается обратно к мусоропроводу. На этот раз справляется быстро: с надсадным криканием затор проваливается глубоко в глотку мусоропровода.

Сарыбек выкатывает последний мусорный ящик к выезду из двора, затем перемещает их все на улицу. Там он приводит в порядок свою маленькую армию, выстраивая ящики в ровную линию вдоль дороги. Оставляет их почетным караулом и возвращается во двор.

Сарыбек убирает метлу с коляской обратно в подсобку и запирает ее. Затем идет к арке. В нос ударяет запах кошачьей мочи. Виновница каплей молока стекает в щель подвала, крикнув проржавевшим настилом над ним.

Возле арки стоит тот самый мужчина, который только что разговаривал с девушкой. У него красивая седая грива и интеллигентные очки с тонкой оправой, неуместные на лице старого богатыря. Сарыбек вспоминает, что он довольно долго уже так стоит — видимо, кого-то ждет.

— Добрый день, уважаемый, — говорит мужчина. Он снимает шляпу, зажимает в руках, затем снова нахлобучивает на голову.

Сарыбек настороженно кивает.

— Прошу прощения за беспокойство. Я хотел спросить... можно вас нарисовать?

— Что?

— Ну... вы хотите подработать?

— Что делать надо? — подозрительно спрашивает Сарыбек.

— Просто стоять и смотреть...

— Вы заплатите?

— Заплачу. Немного, но заплачу.

Сарыбек подозрительно смотрит на мужчину. Лицо у него расстроенное донельзя, и Сарыбек знает, что грустит он из-за той девушки. Ему снова становится жаль этого мужчину.

— Я только по ночам могу, — говорит Сарыбек.

— Я только по ночам работаю, — отвечает мужчина и протягивает руку, внезапно обретя уверенность, — меня зовут Александр Михайлович.

— Сарыбек.

— Тогда завтра начнем?

Местные жители ему кажутся людьми из другого мира. Из мира, родившись в котором не надо думать о том, чтобы выжить. Не надо пасти скот на скудной земле, надрываться в полях или до полного изнеможения работать в лавке. Зато можно ходить по музеям или в кино. Тратить деньги, не считая гроши, которые остаются после отправки домой. Рисовать картины... какое бесполезное занятие для маленьких детей!

И вдруг человек из другого мира решил, что он, Сарыбек, тоже чего-то значит. Это странно. Обгоняя мысли о том, что это ловушка, что доверять нельзя никому, Сарыбек спешно кивает:

— Начнем.

* * *

Они идут по ночному Питеру. Сарыбек несет свой веник — художник попросил взять его с собой. Смотрится их пара донельзя странно: маленький, шуплый, но жилистый двадцатилетний Сарыбек и Александр Михайлович — высокий, седовласый, крупный и весь какой-то неуклюжий. Они подходят к дому с башенкой на Пяти углах, поднимаются на второй этаж по лестнице, сохранившей остатки дореволюционной роскоши, и перила извиваются навстречу причудливым узором. Сарыбек смотрит на окна — стекла с налипшим на них серым маревом похожи на спрессованный питерский воздух. Трещины пересекают их, словно каналы.

Скрипя подъезжает лифт со стенками из мелкой сетки, приглашая из девятнадцатого века в двадцатый. Пока они едут, Сарыбек подозрительно смотрит в шахту лифта, но, мерно шевеля скрипящими суставами, тот благополучно доставляет их на последний этаж.

— Нет-нет, не разувайтесь.

В мастерской грязно. В квартире, где живет Сарыбек, гораздо чище, хотя они снимают однушку в пятером. Везде валяются инструменты, краски, непонятные коробки и баночки. Возле окна стоит голый пластиковый манекен со шляпой на голове и фигурными солнечными очками на носу. На потолке красуется пятно из разноцветных хаотичных мазков. Справа от входа установлен мольберт.

— Здесь я работаю, — говорит Александр Михайлович. Он роняет ключи, пытается поднять и чуть не падает. Смушенно прячет их в карман и тут же роняет снова.

На стенах висят картины и одна черно-белая фотография, на которую поначалу Сарыбек не обращает внимания, прикованный взглядом к ярким, сочным полотнам художника. Сарыбек дивится: это обычные люди. Бабушка с соленьями, торгующая на улице. Бомж, сидящий на картонке и обнимающий собаку. Чем-то недовольная женщина на остановке. Всех их он видел много раз, но в жизни ему не пришлось бы в голову их разглядывать, а тут он встал, замороженный. Ему хочется думать о том, почему у бомжа так освещено лицо, будто от собаки исходит свет. И почему так щемит в груди от одиночества при взгляде на бабушку с соленьями?

Александр Михайлович уже ушел дальше в коридор и оттуда зовет:

— Идемте, идемте.

Не выпуская метлы, Сарыбек проходит по коридору. Там небольшая комнатка, стол, электрический чайник, продавленный диван облезло-рыжего цвета и винтовая лестница у стены. Сарыбек подходит к ней, задирает голову и неодобрительно смотрит на небрежно оштукатуренные цементом стены башни, плафон, словно подобранный на помойке, задрапированный куском старой ткани потолок.

— Хотите, можете подняться, осмотреться, — предлагает художник. Он только что куда-то отлучился и стоит с полным чайником воды.

— Не надо. Куда вставать?

— Подождите, давайте хоть чаю попьем...

— Не надо.

— Ну, что вы за человек...

Раздается цокот каблучков, и на кухне показывается вчерашняя девушка. Она в знакомой объемной куртке, из которой выглядывают изящные стройные ноги. Теперь на ней нет шапки, и видно, что у нее естественные светлые волосы.

Отводя взгляд, она говорит, и тон у нее уже не тот, что в первую их встречу. Словно одновременно она пытается сохранить остатки достоинства и сдаться.

— Пап, я подумала... я согласна.

Сарыбек часто видел улыбку художника. Но теперь лицо его озаряется радостью и надеждой.

— Покажешь работы? — спрашивает он.

Вместо ответа девушка лезет в рюкзак и достает оттуда планшет. На Сарыбека она не обращает внимания — похоже, давно привыкла к странным гостям в этой студии.

— Прошу прощения, — говорит Сарыбеку художник, и лицо у него взволнованное донельзя, — позвольте я все-таки угощу вас чаем, а взамен отвлекусь буквально на пятнадцать минут...

Сарыбек кивает. Ему неловко, что он тут мешает. Александр Михайлович наливают чай, достает из шкафчика на стене какие-то варенья, печенья.

— Привет, — говорит Сарыбеку девушка.

Он кивает. Она садится на подлокотник облезлого дивана:

— Ну, как тебе папины картины?

Она не похожа ни на одну из тех девушек, с которыми ему приходилось общаться, и он не знает, что сказать.

— А, поняла, не твоя тема, — по ее лицу скользнула гримаска презрения.

— Дочка, давай в мастерскую перейдем, не будем смущать человека...

Полчаса Сарыбек неторопливо пьет чай. Он думает, что зря на это согласился. Все было чуждо ему: и беспорядок, и картины, и эти люди. Уйти бы побыстрее домой.

Потом, внезапно для самого себя решившись, он идет к винтовой лестнице. Поднимается осторожно, бесшумно. Башня на Пяти углах распахивает перед ним панораму ночного города. Город весел, и он легко выхватывает в праздной толпе молодежи своих коллег, деловито снующих по своим делам. Сарыбеку кажется, что сама судьба сейчас подарила ему возможность стать не собой. Посмотреть на город чуть свысока. Целую минуту он с каким-то новым, необычным для себя чувством внимательно рассматривает дороги, звездой сходящиеся к подножию башни, окрестные крыши, купол соседнего собора. Затем быстро, воровато даже скользит вниз, словно боится быть застуканным.

По кухне витает запах женских духов, и кажется, сама весна заглянула сюда ненадолго.

И Сарыбек думает: нет, все-таки не зря он сюда пришел.

Хлопает входная дверь.

— Я прошу прощения... просто это моя дочь... — взволнованно говорит художник, возвращаясь на кухню, — красавица, правда?

Сарыбек смущенно кивает.

— Она очень талантливая! У меня висит одна ее работа... вы допили чай?

Сарыбек берет веник, и они возвращаются в мастерскую. Александр Михайлович показывает черно-белую фотографию в рамке, которая висит напротив входа. Сарыбек не обратил на нее внимания, когда они только вошли, но сейчас присматривается внимательнее. Поле, занесенное снегом. Человек, уходящий куда-то. И собака по другую сторону моста, которая преданно смотрит вслед человеку. Все, кроме собаки и человека, белое, и от этой белой тоски холодом сковывает грудь.

— Грустно, — говорит Сарыбек.

— Эта фотография получила Гран-при на международном конкурсе два года назад, — с нескрываемой гордостью говорит Александр Михайлович, — тогда все говорили, что у нее большой талант!

Затем художник добавляет чуть тише:

— Правда, с тех пор она не сделала ни одного снимка... А впрочем, все впереди. Это творческий кризис, сам проходил.

Художник ставит на табуретку возле мольберта пачку листов.

— Встаньте, пожалуйста, вместе с веником.

— Куда?

— Возле манекена видите белое полотно? Вот туда. Да, спасибо. Подметайте, пожалуйста.

Сарыбек неуверенно машет метлой.

— Не то... совсем не то. Послушайте, давайте я вам доплачу, а вы подметете у меня полы?

Сарыбек подозрительно смотрит на художника. Вся эта затея нравится ему все меньше.

— Нет. Я буду стоять.

— Ну, хорошо.

Художник начинает рисовать этюды. Пальцы его черкают по бумаге карандашом без особого старания, но он внимательно наблюдает за дворником.

— Расскажите о себе, Сарыбек.

Сарыбек недовольно помахивает метлой, делая вид, что не расслышал.

— Давайте я о себе расскажу. Родился в семье обычных рабочих. Никто у нас искусством не занимался, кроме дяди. Он был художником, и все мое детство прошло у него в мастерской. Помню, как сидел рядом, наблюдал за его работой, вдыхал запах красок и чувствовал, как что-то внутри меня откликается на эти краски, на эти линии. По его стопам и пошел. Хотя, знаете, это было непросто. Отец мой всегда считал рисование делом бесполезным, а дядю называл лентяем. Говорил: «Кому твои картины нужны? Люди хлеб зарабатывают, а ты мазню разводишь». Но потом, видимо, смирился.

Сарыбек с интересом слушает. Мельком взглянув на него, художник продолжает:

— Потом я женился и прожил с женой двадцать пять лет. Она ушла два года назад. Осталась дочь, ее вы только что видели. Не подумайте, она хорошая. Просто... обижена на меня. Ну, знаете, как это бывает: художник, вечно в своих мыслях, в своих красках, а семья на втором плане. Но душа у нее добрая, светлая. Видите, мириться пришла... Она фотограф, я ей предложил совместную выставку. Вот мы и обсуждали этот проект. Может, через искусство и помиримся. Жизнь, она ведь такая — все время дает шансы. Главное — не упустить.

Художник продолжает черкать лист за листом и отбрасывать их в сторону. Они разлетаются по полу осенними листьями.

— А у вас есть родные, Сарыбек?

Сарыбек не отвечает. Художник, смирившись с его молчанием, черкает эскизы — и опять отбрасывает.

Портрет бомжа на противоположной стене чем-то привлекает Сарыбека. Он снова и снова возвращается к нему взглядом. Наконец, решившись, спрашивает, показав на холст:

— Зачем рисовать его?

Александр Михайлович оборачивается:

— Петра Васильевича? Ну... Я хотел рассказать, каким счастливым может быть человек. Все, что у него есть — эта собака. А он улыбается так, как не многие могут.

— Зачем рисовать меня? — спрашивает Сарыбек то, что давно его терзает.

— Когда вы подметали двор, вы улыбались. Словно вы счастливы оттого, что делаете двор чище. Я хотел написать вашу радость.

— Я не улыбался.

— У вас глаза улыбались.

— Это надо рисовать?

— Это красиво. А я люблю рисовать красоту.

Сарыбек задумывается. Вспоминает дочь художника, которая сказала ему: «А, поняла, не твоя тема». Ему становится обидно.

— Объясните мне картины, — говорит он, — пожалуйста. Я хочу понять.

Художник оживает:

— Хотите, сходим в Эрмитаж?

Сарыбек снова вспоминает девушку, от которой пахнет весной.

— Хочу, — говорит он.

— Когда у вас будет возможность? Это нужно идти днем.

— Послезавтра.

— Тогда в десять встречаемся у главного входа. Утром туристов меньше.

Сарыбек соглашается, уже жалея об этом. Затем требовательно говорит:

— Дайте мусорное ведро. Или пакет.

— Зачем? — теряется художник.

— Грязь — плохо. Надо убраться.

— Сейчас...

Через несколько минут Сарыбек деловито складывает мусор в ведро. Ловко, не поднимая лишней пыли, подметает пол.

Художник азартно черкает этюд за этюдом. Эти листы он складывает в аккуратную стопку.

* * *

Сарыбек замирает у парадной лестницы. Его пугает обилие позолоты. Пугает, что приходится идти по красному ковру, а на потолке — картина. И это не фотообои, которые он клеил в чужих домах во время ремонта, а настоящая картина! На потолке!

Ему кажется, что все косятся на него, такого неуместного, чужеродного — хотя он надел парадные рубашку и штаны. Но он уверен, что все видят его суть. Сейчас ему сунут веник и скажут идти подметать — и он с облегчением сделает это.

— Идемте, Сарыбек. Иначе мы до картин не доберемся. Здание большое.

Сарыбек осознает, что это не одна позолоченная комната, а целый дворец, полный роскоши. Ему делается дурно и хочется уйти.

«Мужчина решение не меняет», — вспоминает он слова отца и думает, что тот посмеялся бы над ним. И назло ему идет вслед за художником.

Сразу после открытия в Эрмитаже малоллюдно. Туристы сонно бродят по золоченым залам, сбиваясь в стайки перед признанными шедеврами. Музейные смотрительницы в идеально отглаженных костюмах неслышно скользят по залу, посматривая строго на ценителей искусства, как бонны на нерадивых воспитанников. Величественно взирают портреты императорской семьи, вечно прекрасные под слоем грима, наложенным кропотливыми реставраторами.

Сарыбеку здесь неудобно. Зато художник, напротив, в своей стихии. Он здоровается со смотрительницами, спрашивает, как у них дела, они кокетливо улыбаются ему — и вот перед Сарыбеком не почтенные матроны, а смешливые Танечка и Лизонька.

Александр Михайлович рассказывает ему о художниках Возрождения, показывает работы известнейших итальянцев, нидерландцев и фламандцев. Сарыбек не верит: неужели это правда было нарисовано человеком с помощью кистей и красок?

— А вот посмотрите, как это делается, — художник показывает ему на парня, по виду ровесника Сарыбека, который стоит спиной к ним, — это студент на практике, как раз пишет репродукцию «Кораблекрушения» Клода Жозефа Верне.

Сарыбек замирает, забыв, как дышать. Перед его глазами происходит магия. Невнятная клякса болотистого цвета в левой части холста справа наливается жизнью, превращаясь в бушующее море. Сарыбеку кажется, что он слышит рокот бури.

Художник подходит поговорить со студентом, и Сарыбек хмурится: он не хочет, чтобы тот прерывал работу. Когда парень, перекинувшись парой слов с художником, оборачивается к Сарыбеку и улыбается ему, дворник, смутившись, уходит в другой зал.

— Хотите, научу рисовать? — спрашивает художник, подходя к нему. — Сможете не хуже, если будете стараться. А стараться вы умеете.

Сарыбек отрицательно мотает головой и торопливо идет дальше.

Он останавливается в длинной зале с поперечными щитами, с двух сторон украшенными картинами.

— Это зал с работами «малой Голландии», — говорит художник.

На картинах обычные крестьяне. Они дерутся, едят, играют в карты.

— «Пока в нас живет необузданная свобода, мы останемся голландцами» — так считали голландцы семнадцатого века.

— Это свобода? — спрашивает Сарыбек, разглядывая картину, на которой один мужчина замахивается кувшином, а другой пытается защититься ножом. Их разнимает женщина, держа в руках кувалду.

— Скорее честность, я думаю. Видите, они не стеснялись показать себя и свой народ такими, как есть. Этим и уникальны их работы. Мы в мельчайших подробностях можем увидеть быт простых голландцев семнадцатого века.

На одной из картин мать вытирает попу младенцу, а отец зажимает нос. Сарыбек улыбается, глядя на них. Искусство внезапно начинает казаться ему очень близким.

Он думает, что хотел бы обсудить эти картины с дочерью художника.

Их пятеро в однокомнатной квартире. Включен телевизор. Новости сменяются танцами, ледовыми шоу и песнями. Старший в квартире Мебах ворчит, заглядывая в мессенджер:

— Опять Шерзод фото поменял, модник...

Шерзод делает ремонты, чтобы оплачивать ремонт своего дома в Узбекистане. Когда он приезжает туда, одевается только в стильную одежду и говорит всем, что в Питере у него свой бизнес.

Сейчас Шерзод в заляпанных домашних трениках дежурит на кухне — готовит еду. Когда он делает фотографии в белоснежных рубашках и джинсах с яркими ремнями, чтобы каждую неделю менять аватарку — загадка.

— Телман, — обращается Сарыбек к соседу, — ты ведь был в Эрмитаже?

— Да, полгода там дворником работал, — откликается Телман.

Они ровесники и потому чаще общаются друг с другом.

— А ты видел картины?

— Ну, видел мельком.

— Красиво?

— Не понимаю я этого. Красиво — это у нас ковры Румия-опа ткет.

— Я сегодня картину там видел, Телман.

— Работу искал? Там мало платят, Сарыбек. Не бери.

— Я не по работе. Я просто смотрел картины...

Все взгляды в комнате сосредоточились на Сарыбеке.

— Ты с кем-то спутался? За кражу не берись. Все на тебя свалят.

— Я не хотел красть. Я хотел посмотреть картины.

— Ты хотел посмотреть картины? — переспрашивает Телман.

— Да.

— Зачем?

— Я хотел понять, зачем они это делают.

Все напряженно молчат, осмысливая ответ. Наконец Телман спрашивает:

— И как? Понял?

— Не знаю...

— Нечего тебе туда ходить, Сарыбек. Люди туда ходят от нечего делать. Деньги им некуда девать, вот и тратят на музеи.

— И я так подумал. Я подумал, что они ходят туда потому, что у них много времени. Им не нужно думать, как заработать. Они богачи, потому что могут себе позволить просто шататься по этим залам и притворяться, что картины — это что-то особенное.

— Это так, Сарыбек, — подтверждает Мебах.

— Но потом я увидел картину. Там была женщина с младенцем. И она, улыбаясь, протягивала ему цветок. И я вспомнил, как улыбалась мне мама, когда я был маленький. Эта женщина была совсем на нее не похожа, но как он нарисовал ее так, что она улыбалась, точь-в-точь как моя мама? Я был маленьким ребенком перед той картиной, а она улыбалась мне, и я слышал мамин голос, поющий песню...

Увидев серьезные лица земляков, Телман смеется:

— Теперь и ты можешь тратить деньги на билет, ходить по залам и делать серьезный вид!

— Сар, где ты ночами работаешь? — спрашивает его Мебах.

— Да так, — мнется Сарыбек. Почему-то он не хочет говорить о художнике.

— Ты и так на двух работах пашешь, взял еще и третью? Ты уверен, что тебя не обманут?

Сарыбек молчит.

— Если тебе нужна подработка, обращай ко мне. Я свяжу тебя с честными ребятами.

— Спасибо, Мебах-ака¹, не нужно.

— Ты ведь не связался с подозрительными людьми?

— Ни с кем я не связался.

¹ Вежливое обращение к старшему.

— Сар, помни, здесь мы твоя семья. Больше верить нельзя никому.

— Я знаю, — говорит Сарыбек и думает о том, что художник так никогда бы не сказал. Он бы хоть кому поверил. И ошибся бы, и был бы смешон в глазах Телмана. Но продолжал бы верить в людей.

Глупо, так нельзя, так не делают.

Но разве сам Сарыбек не поверил ему?

* * *

Питер. Ночь. Дождь. Пустая улица, залитая желтым светом. Мерно качается лампа на проводах. Сарыбек идет по улице, прячась в безразмерную спецовку, и тень его скачет по стенам от фонаря к фонарю.

Спецовка уже промокла насквозь, и Сарыбек думает, что надо бы в мастерской выпить чаю.

Из ночного мрака перед ним вырастает башня, высокая, серая и загадочная, как дух этого города. Дождь окутывает ее пеленой.

Сарыбек поднимается наверх и заходит в мастерскую. Художник частенько забывает запереть дверь. Впрочем, воришке взять нечего. Кому нужны старые краски и манекен? Разве что картины...

В мастерской никого нет, но Сарыбек слышит шорох на кухне и идет туда.

Александр Михайлович сидит на продавленном диване с бутылкой коньяка. Он поднимает на Сарыбека несчастные глаза:

— Прошу прощения... Вы знаете, не получится сегодня порисовать...

Сарыбек переминается с ноги на ногу. Дождь стекает с него, собирается лужами возле ног. Он чихает и хватается за нос, потом неловко утирает липкую руку о штанину.

— Ох, вы совсем промокли... погодите, я чайник поставлю.

— Я пойду... — неуверенно говорит Сарыбек.

— Вам высохнуть сначала надо. Посидите пока у меня, я вам халат дам. Он чистый.

Сарыбек думает, что лучше идти домой. Но потом он смотрит на художника и решает остаться. Нельзя оставлять человека с таким лицом.

Он моет руки, переодевается в халат и вешает мокрую одежду на батарею. Краем глаза видит мольберт с накинутой тряпкой. Он знает, что там его портрет. Но стесняется попросить показать его.

Тем временем Александр Михайлович берет вскипевший чайник. На ногах он стоит твердо, как монумент, но чайник опасно пляшет в его руках.

— Дочь украла деньги и сбежала.

В абсолютной тишине оглушительно льется в чашку вода.

— Она полгода лежала в клинике, — Александр Михайлович закрывает лицо ладонями, — говорила, что вылечилась и больше этого не повторится...

— Соболезную, — говорит Сарыбек. Ему ужасно неловко. Если бы перед ним стоял земляк, он нашел бы нужные слова. А тут это киношное — «соболезную». Тьфу.

— Будете коньяк? — спрашивает художник.

— Не пью.

Сарыбек, конечно, пил. Но с художником пить было как-то неправильно.

— Это хорошо... жаль, что дочь пьет... и не только...

— На все воля Аллаха, — говорит Сарыбек и чувствует себя мягкой игрушкой, которая повторяет пустые фразы, когда давишь ей на пузо. Но художник кивает, словно понял все, что Сарыбек хотел сказать.

— Спасибо.

Они замолкают. Художник методично глотает коньяк из горла, Сарыбек дует на кипятки и с шумом прихлебывает.

— Иногда я думаю, что я сделал не так? Люблю ли я ее? Люблю. Говорил ли об этом? Говорил. Поддерживал? Во всем! Любое начинание! Вот разве что меня так часто не было дома... понимаете, работа, выставки...

— Мужчина должен обеспечивать семью, — говорит Сарыбек.

— Гм... а у вас есть жена?

— Нет.

— Я слышал, у вас женят родители, это так?

— Так. Папа хотел. Мама отговорила.

— А вы хотели жениться?

— Нет.

— Умная она у вас женщина.

— Умная. Мама училась в Ташкенте, в институте.

— Но вы ведь родом из кишлака? Как она оказалась там?

— Когда родители приехали ее навестить, увидели, что она с каким-то немцем. Был скандал. Мама не хотела возвращаться, там вся группа за нее вступилась. Но бабушка передала, что умирает и что простила ее за все. Когда мама приехала проститься, ее схватили и выдали замуж за чистокровного узбека.

— Какая печальная история...

Сарыбек вспоминает, как отец гонял маму сапогом. Как он попробовал вступить за нее — и отлетел от родительской оплеухи. Как мама потом сидела, обнимая его, и их слезы смешивались в одно мокрое пятно на ее халате. Она шептала ему:

— Сарыбек, никому не верь. Я поверила, и видишь, всю жизнь несчастная живу.

Потом Сарыбек подрос, и когда отец снова посмел поднять руку на мать, встал перед ней. По лицу его отец понял, что мать он в обиду не даст. Отец присмирел.

Потом заговорил, что пора слать сватов к Амине.

У Амины щербатые зубы и глупая улыбка. В детстве она обзывала его коротышкой, а когда он, повзрослевший, шел по улице — показывала пальцем на него, говорила «иби, иби²» и смеялась. Он представлял себе их семейный быт — и желудок скручивался узлом, а на губах появлялся привкус тошноты.

Тогда мать сказала ему:

— Уезжай, сын. Отец просто хочет спровадить тебя из дома.

— А как же ты?

Мать через силу улыbnулась:

— Будь счастлив за меня.

Он уехал. И каждый день спрашивал себя: правильно ли это?

Сарыбек догадывался, что матери несладко без его защиты. Но мысль о том, что он, вернувшись, должен будет жениться и заводить детей, ужасала. «Я должен быть счастливым, — думал он, — тогда это все не зря».

И пока Сарыбек не встретил художника, он и правда верил, что он счастлив.

Теперь что-то изменилось, но Сарыбек никак не может понять что.

— А у вас есть мечта, Сарыбек?

Его никто раньше об этом не спрашивал. Сарыбек опять пожимает плечами. Говорит:

— Построить новый дом родителям. Купить маме золотые сережки. Накопить на хорошее приданое сестре.

² Сродни «вай-вай».

— А себе вы чего-нибудь хотите?

Сарыбек долго молчит. Он пытается придумать желание: новая работа? Хорошая одежда? Жена? Огромный дом? Все нелепо. Все — не то.

Тогда он вспоминает фильм, который смотрел в детстве.

— Увидеть море, — говорит Сарыбек.

— Но мы в Петербурге, — удивляется художник, — здесь оно везде...

— Холодное. Я хочу, чтобы было много-много теплого моря.

И тут же понимает, что всегда об этом мечтал. Просто сам не знал, что так можно — хотеть чего-то для себя.

— А, южное. Да, это хорошо. Я вот, помнится, как-то ездил с выставкой в Италию...

Ближе к рассвету художник засыпает на продавленном диване. Сарыбек переодевается в свою одежду, хоть и теплую с батареи, но все еще неприятно влажную. Заглядывает в шкаф и, увидев там одеяло, накрывает им художника. Замирает перед накрытым холстом, снедаемый любопытством. Одергивает себя и выходит на улицу.

Выглядывает нежно-оранжевый луч солнца, спеша его обогреть. Город становится красив так, что дух захватывает, а Сарыбек на секунду снова вспоминает, как маленьким мальчиком в кишлаке они смотрели старый советский телевизор, и он бегал по команде старших переключать кнопки вместо пульта, и европейские улочки казались картинами фантастической жизни, к которой он, Сарыбек, никогда не будет иметь отношения. А вот ведь — стоит у набережной Фонтанки, и солнце светит сейчас только для него, неспящего, и пляшет на волнах, а он чувствует, что этот город чуточку и его тоже. Ведь именно он, Сарыбек, причастен к его красоте.

* * *

Придя домой вечером, Сарыбек валится на диван без сил. Трещит голова, хочется спать. Но он достает телефон, бездумно открывает соцсети. Всплывает реклама, и он нажимает на первую же ссылку, и у него кружится голова от сочной синевы моря на картинке. Деревья приветливо машут ему, а фантастические цветы пахнут лучше, чем пряности на рынке, он чувствует это даже через экран.

— Ты чего это удумал? — слышит он голос Мебах и торопливо убирает телефон.

— Да я так... посмотреть только...

— Я с тобой всю жизнь в одном кишлаке жил. Ты и твоя сестренка росли у меня на глазах. Айгуль скоро замуж выдавать пора, а у нее до сих пор нет приданого. К дому нужен пристрой. А ты чего удумал, хайвон?³

— А я, может, море всегда хотел увидеть! — говорит Сарыбек и сам себе вопит: «Дурак, замолчи!» Горят щеки от стыда за то, что он посмел повысить голос на старшего. Но что-то овладело его больной головой, и молчать он не может.

— Какое море? — тупо переспрашивает Мебах.

— Южное!

— Сар, ты болен? — спрашивает Мебах.

— Нет. У меня есть мечта. А у тебя была мечта когда-нибудь?

Мебах кладет руку ему на лоб и говорит:

— Сар, у тебя температура. Иди в кровать.

Сарыбек разворачивается и идет к своей кровати.

— И хватит мечтать о глупостях, — говорит ему вслед Мебах.

Скинув одежду, Сарыбек отворачивается к стене. Он чувствует себя виноватым, одиноким и несчастным.

³ Скотина.

Сон набрасывается на него, придавливает к кровати, утаскивает куда-то вниз, в царство мутных теней.

Потом он ощущает запах, знакомый с детства, и оборачивается. Мебах стоит возле него с железной лопаточкой, на которой горит трава исырк⁴.

— Умойся, — говорит ему Мебах. Сарыбек протягивает руки к белесому дымку и умывает им лицо. Запах успокаивает. Кажется, что сейчас, как в детстве, придет мама, укутает в одеяло, даст вонючего собачьего жира и все будет хорошо.

Он засыпает, и во сне его окатывают волны моря, горячие, как кипяток.

* * *

Сарыбек звонит в дверь. Никто не отвечает. Трещит голова, его качает. Он думает, что, наверное, завтра придется отлежаться.

Как обычно, дверь не заперта, и Сарыбек заглядывает в квартиру.

Справа от входа он видит мольберт на своем обычном месте. И замирает. Тряпка откинута, висит на одном углу. С холста на него смотрит... он.

Этот Сарыбек подметает двор. Его двор. Он сосредоточен, но чему-то улыбается. И он... свободен. Даже метла в его руке будто вот-вот взлетит.

«Это не я, — понимает Сарыбек, — это то, каким меня увидел этот странный человек».

Этого Сарыбека не учили бояться, стоять за себя, никому не доверять. И метла в его руке словно кисть, которой он сейчас начнет творить прекрасное.

Сарыбек с трудом отлепляет взгляд от холста и идет на кухню. Но застывает в коридоре.

Художник лежит возле стола, и рот его нелепо распахнут. Никаких ран на теле не видно, но Сарыбек не хочет проверять.

Молнией мелькает: «Посадят!» А если его найдут по этому портрету? Точно найдут. Точно.

Он бежит в зал, накидывает на холст висевшую сбоку тряпку и вместе с холстом бежит прочь, оставляя дверь в мастерскую нараспашку.

* * *

Сарыбек идет по улице, но то и дело, воровато оглядываясь, сворачивает в закоулки, чуть откидывает тряпицу и заглядывает в свои глаза. Это он, Сарыбек. Посадят. Это он. Он живой. Живой, как все эти люди. Как тот художник. Посадят, точно посадят.

Сарыбек заботливо кутает холст тряпкой и несет дальше, до следующей подворотни. И все дивится: это — он? Словно тоже — человек. С чувствами. Мыслями. С душой.

Ему кажется, что питерские подворотни с любопытством заглядывают через плечо, и он ревниво прячет холст ото всех.

В квартиру, которую он делит с ребятами, Сарыбек проскальзывает тихо, как мышь.

⁴ Узбекский национальный обычай окуривать особой травой помещение для профилактики болезней и выкуривания «негативной энергии». Во времена ковида так каждое утро окуривали некоторые детские сады, магазины.

— Что это у тебя? — спрашивает Телман.

— Встретил знакомого узбека, он попросил домой передать кое-что, — говорит Сарыбек и прячет холст под разложенным диваном. Больше всего он боится, что сейчас начнутся расспросы. Но парни переглядываются — и ничего не говорят.

Всю ночь Сарыбек мечется в бреду и стонет, чувствуя горький запах исырка. Наутро подушка его мокрая то ли от пота, то ли от слез. Все плывет у него перед глазами. Мебах дает ему таблетки, и он доверчиво их глотает, запивая предложенной водой.

Когда Сарыбек просыпается в одиночестве, вспоминает художника — и горько плачет, всхлипывая, как ребенок.

* * *

Сарыбек чувствует, что становится жидким. Он просачивается сквозь кровать — туда, к холсту. Растекается по нему. Смешивается с масляными красками. И становится тем самым Сарыбеком, что там нарисован.

Потом он видит бирюзовое море, и приветливо машут пальмы, и распускаются дивные цветы. Иногда мелькают лица Мебаха и Телмана, и тогда Сарыбек удивляется: как? Они тоже здесь? А говорили, что он фантазер!

На третий день он наконец открывает глаза. В горле пересохло, хочется пить. В окно заглядывает солнце, но не такое беспощадное, как то, из его снов. Оно с тихой грустью касается его своим лучом, по-северному тактично и ненавязчиво. Сарыбек переводит взгляд на комнату и понимает, что рядом на полу сидит Мебах, опершись о диван, как о спинку стула. Телефон воинственно пищит, значит, он играет в какую-то стрелялку.

Сарыбек с трудом разрывает слипшиеся губы и шепчет:

— Пить.

Мебах вздрагивает, оборачивается. На лице его радость и облегчение.

— Сейчас, сейчас, ука⁵.

Мебах выбегает из комнаты и тут же возвращается со стаканом воды.

— И таблетки еще выпей, доктор прописал...

Сарыбек послушно глотает.

— Кушать хочешь?

— Очень хочу.

— Сейчас, мы шурпу⁶ сварили.

Он приходит через несколько минут, и в руках его дымится тарелка. От мясного запаха во рту вязнет слюна и кружится голова.

Сарыбек с аппетитом ест, дуя на ложку. Вкусно и горячо.

— Я помню, в детстве ты очень любил рисовать, — неожиданно говорит Мебах.

— Разве? — удивляется Сарыбек.

— Ты рисовал много. У нас не было бумаги, и ты рисовал на газетах. На земле. На любых клочках бумаги. Везде валялись твои рисунки.

— Все рисовали в детстве.

— Но ты рисовал больше всех. Твоя мама говорила моей, что хотела бы отдать тебя в художественную школу, но нигде в районе ее нет. Очень она расстраивалась.

Сарыбек удивлен: он не знал об этом.

⁵ Братишка.

⁶ Любимый суп тюркских народов.

— Да. Потом началась работа, и тебе стало не до рисунков. Нам всем стало не до того. Надо было работать, — говорит Мебах, словно оправдываясь, хотя оправдываться было не за что.

В молчании Сарыбек доедает бульон.

* * *

Пока он болел, окурков во дворе заметно прибавилось. Никто за него здесь не убирал, и сигаретные останки пестрой россыпью лежат вдоль стен домов, под окнами, на клумбах. Сарыбек порой задумывался: может, отбрасывая прочь мусор, люди инстинктивно стремятся очиститься? Но ведь грязь никуда не денется, особенно если она у человека внутри...

Несколько окурков попали в лужу. Пытаясь их оттуда достать, Сарыбек тревожит метлой поверхность воды. И вдруг видит, как движется и идет волнами хорошо знакомый ему рисунок уютного городка с кривыми улочками... Отражение обладает тем, чего так не хватало этому унылому двору, всей этой серой местности, расположенной в болотистой пойме реки вдалеке от моря, да и в целом здешней жизни — бледной, как яичный белок, отделенный от желтка...

Сарыбек проводит метлой по воде еще раз. И еще. И еще.

Он никогда не увидит моря, он обречен вечно работать простым рабочим за копейки, чтобы однажды или его дети, или дети его сестренки Айгуль жили лучше, чем он.

Нарисованное море смешивается с лужей, выплескивается со стены. И Сарыбек понимает, что границ больше нет.

Елизавета ГУБИНА

ЗАПАХ МУСКАТА И КОРДИТА

Рассказ

«Хорошо, что меня не убили десять лет назад, — подумала я, сидя на балконе с видом на Обводный канал. — Или не хорошо...» Глоток белого полусухого из Германии. Такое же, какое мы пили на первой, второй и третьей встрече. Ты тогда осудил меня, сказал, что я слишком категорична. А я просто хотела семью. Семью с тобой. «Вино бледно-золотистого цвета и насыщенного аромата». Твои волосы были иссиня-черными и пахли мускатом. В окопах пахнет кордитом, щекощущим ноздри, полыхающим бензином и резиной. Жар металла и человеческого жира. Ты пах спокойствием и уверенностью, легким прикосновением к моему бедру, которое случайно показалось в разрезе юбки. Ты пах салоном красной «шкоды», которую называл Чебурашкой.

Я так и не успела узнать, почему Чебурашка.

На войне наблюдать никогда не получается, даже будучи прессой. Ты всегда участник, на тебе всегда ответственность. Ты всегда на чьей-то земле. И будь неладны эти люди — их называют империалистами, — которые делят все на «свое» и «чужое». Война законов не знает, поэтому когда редактор нашел для меня бронежилет и каску с надписью «PRESS», сразу предупредил, что это ничего не значит. И что это не спасет. Согласно Женевской конвенции, я вправе требовать от всех стран соблюдения международно-правового договора. Причем нарушение конвенции считается военным преступлением и предусматривает наказание как за преступления против человечества. Мне показалось это чушью. Черт, мне двадцать пять, мне все вокруг казалось шуткой и приключением.

Сегодня мне не до смеха.

Наши войска дислоцировались в библиотеке имени Достоевского, тут такая есть, представляешь. Помню, как ты любил Федора Михайловича и не мог читать его без бумажки и ручки. На всякий случай уточнила в словаре значение слова «дислоцироваться», оно показалось мне далеким и чужеродным. Я пишу чисто, без исправлений, пишу обо всем, что вижу. Словарь говорит: «ДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ несовершенный вид и совершенный вид. Размещаться, располагаться (о воинских частях, военных объектах)». Само это слово подсказывает, что идет война. Когда

Елизавета Губина окончила бакалавриат ПГНИУ по направлению «Журналистика». Училась в магистратуре СПбГУ на направлении «Литературное творчество». Написала дебютный роман в рамках издательской программы «Таврида.АРТ». Публиковалась в интернет-журнале «Прочитано», «Пашня», газете «Налет», выпускала зин-сборник рассказов «Линия сердца» в рамках резиденции «Древо» по изучению родословной.

я ложусь в окопах и пытаюсь переждать бомбежку, то смотрю на небо — оно высокое и чистое. Вчера приходил взводный, сказал, что с границы движутся танки, значит, скоро они будут здесь. Знаешь, я слышала, некоторые говорят, что война не наша, и земля не наша, и люди чужие. Я не знаю, правда. Я просто наблюдаю. Я пошла на эту войну не по зову сердца, ты спрашивал меня, по зову ли сердца я пошла. И я пошла не из отчаяния, ты спрашивал меня, в отчаянии ли я. Я пошла не потому, что хотела заработать денег. Ты спрашивал о деньгах. Я слышала, что война усложняет все простое, очерчивает углы всего мягкого, но это не так. Война все упрощает, все гармонизирует, учит обо всем забывать.

Правда, знаешь, я не забыла о тебе.

Ты был старше меня ровно на десять лет. И ты видел мир свободным. Я уже не успела. И мне показалось, раз он горит в огне, значит, мне необходимо попасть в самое пекло. Возможно, это акт самопожертвования или моей детской наивности. Ты тогда поджал губы и осознал, какого поля я ягода. В том-то все и дело — я ягода, а ты целая секвойя, и ты выше этого, ты ждешь, ты умеешь ждать. А мне нужно все и сразу. Я была в шелковом коричневом платье, потом была в бронежилете, имевшем защиту по классу Бр4. Эта броня не защитила моего коллегу от винтовки СВД. Синий цвет жилета сделал его легкой мишенью. Сегодня я в твоей клетчатой рубашке, под ней совершенное ничего, тебе бы понравилось. Не понравилась бы пустота в сердце.

Я встаю, иду по деревянным настилам, тут уникальная коллекция книг, нам велели по возможности ничего не трогать. На самом деле я буквально иду и пишу тебе, потому что мне хочется, чтобы ты всегда был рядом. Достоевский бы пожурил меня и посоветовал не писать. Федор Михайлович, что я могу сделать!

На самолетах они не полетят, зачем тратить на нас самолеты, так что бойцы строят противотанковые укрепления. Длинные ряды окон они заклеивают фольгой, я вижу, как Ваня и Саша приклеивают ее прямо сейчас. Наш взводный смеется, он говорит, что мне бы стать писателем, а не военным корреспондентом. Я показывала ему пару заметок о фронте, которые отправляла в редакцию. Но сегодня он мне сказал: «Напиши уже что-нибудь сюжетное, не знаю, детектив или триллер». Я пугаюсь своего отражения в зеркале, потому что на меня оттуда глядит чужой и незнакомый человек. Возможно, я тоже уже не человек, а зверь из мяса и костей. Возможно, я спокойно смотрю на разлагающиеся на солнцепеке трупы и не пугаюсь темно-зеленой гнилостной венозной сети. Бойцы стараются вывозить их с поля, но иногда я все-таки вижу, как птицы выклеивают им глаза.

Я иду на улицу и проверяю наши окопы, мне так смешно, что мы собираемся реально обороняться, не кинем друг на друга кучу бомб, а будем обороняться. Записываю это в блокнот. Утром у меня были занятия по стрельбе. Помнишь, я говорила, что непричастных не бывает на войне? Я начала курить. Дрянные сигареты без фильтра успокаивали дрожь в руках и становились основой всех интервью с ребятами. Ребятами, которых поминали самодельным пойлом. Ребятами, не вернувшимися со вчерашней захлебнувшейся атаки. Я брала оружие в руки, хотя это строго запрещено. Тогда же и лишила себя неприкосновенности, которую мне гарантировали.

В ветвях олеандровых трель соловья, калитка захлопнулась с жалобным звуком.

Бла-бла. Кончаю земное хождение по мукам.

Вот тут-то и лежит причина моего ухода на фронт.

Передавай маме, чтобы не слишком переживала. Быть отстраненной у меня плохо получается. И с сюжетом получается плохо.

Ты так заботливо предлагал мне показать Петергоф и говорил, что автофикшн — совсем не жанр. Смеялся, когда я спросила про твой знак зодиака. Расстраивался, когда спрашивала про бывших. И даже злился, когда сказала, что обиделась на тебя за то, что ты не остался на утро. Я хотела тебя всего присвоить. Хотела, чтобы в белом платье и обязательно с цветочным венком, потому что фата — это западная традиция. А я не хочу, как там, я хочу, как здесь. Белый цвет. Белый — как цвет сдающихся. Белый — как цвет чистоты. Белый — как на любом флаге любой страны. Белый — как твое лицо, наверное, когда ты открываешь мое письмо.

На этом же балконе произошел наш первый поцелуй. «Вернуться в Россию — стихами». Я вернулась заметками и аналитическими статьями. Хотела прилететь к тебе, выйти из самолета и кинуться в объятия. Ты выше меня сантиметров на тридцать или сорок — сегодня уже не помню. Наши объятия всегда были неловкими и смешными, но не менее теплыми. «Привыкай ко всему хорошему», — сказал ты, когда привез обед мне на работу. Я тогда еще сидела в редакции и не сказала тебе о своем скором отъезде. Но мне пришлось привыкнуть к запаху печеных плодов, висящих на обугленной яблоне возле руин дома, в котором уже никто и никогда не будет жить.

Знаешь, в библиотеке Достоевского такие высокие окна, что когда их выносит взрывной волной, мы потом ходим по стеклам еще очень долго, никакие швабры не помогают. У меня руки в царапинах от стекла.

Вернемся к сюжету: я слышу чеканный шаг вражеской армии во сне. Просыпаюсь, а никто не идет. Просыпаюсь и не слышу самолетов. Просыпаюсь, а мой коллега — нет. Вообще-то, я собиралась говорить независимо и беспристрастно, но у меня никогда не получалось оставаться холодной к тому, что я люблю. Я не знаю, как не бросилась под пули, потому что никогда не отличалась желанием жить. Наверное, ты заставлял меня бороться, доказать тебе, что я не просто девчонка с дурацкой работой, что я стою чего-то. И мне пришлось! Слышишь, пришлось! Теперь я та, кто знает запаха спиртово-гангренозной вони санбатов, окровавленных бинтов, которые не пригодились тому смешному рыжему пареньку из вчерашнего пополнения. Я знаю, как пахнет дешевый одеколон взводного, который целовал меня в благодарность за то, что я жива. В ту ночь я возвращалась от него.

Иду вдоль полок библиотеки в темноте, нас просят не включать фонарики даже ночью, не включать свет. В городе почти никто не живет. Когда вижу впереди силуэт, кладу руку на кобуру пистолета. Вот вам и сюжет, товарищ полковник. Вот вам и Юрьев день.

Фигура поворачивается ко мне и прикладывает палец к губам.

Мы стоим в темноте, полуобнаженные, открытые друг другу, на границе рухнувшего мира, в немыслимой дали, в огромной-огромной стране, в огромной-огромной зиме. На мне нет больших букв, которые бы дали понять, что я не опасна. Что я просто наблюдатель, я фиксирую и рассказываю.

Он стреляет.

Я пишу чисто, без исправлений, но сейчас вынуждена немного замарать бумагу.

Помнишь, я говорила, что они не станут тратить на нас самолетов? Они и танков решили не тратить.

«Хорошо, что меня не убили десять лет назад», — снова думаю я. Плохо, что ты выстрелил в себя.

* * *

Женя смотрел на нее долго и задумчиво. Ну что ты скажешь мне, та, кого я искал десятки зим, та, которую рисовал сотни раз, та, что подарила мне миллион по-

целуев за наш недолгий срок. Девушка напротив — ее звали Алисой, как из той сказки с кроликами, гусеницами и шляпами, — умела улыбаться даже перед лицом катарстрофы. Поэтому сейчас ее губы растянулись в уязвленной для сердца Жени улыбке, а из левого глаза выскользнула слеза и поспешила спрятаться за воротником футболки. Обычной такой футболки, заляпанной после похода в лес, где они собирали грибы. Алиса не умела отличать, какие съедобные, а какие — нет, поэтому весь подоконник их скромной кухни был забит самыми разными ножками с красивыми и не очень шляпками.

— Вот этот хороший, смотри, — сказал Женя и поднес к яркому ночному свету белый маленький гриб. — Это шампиньон, мне в детстве мама стихотворение про него читала.

Алиса опустила голову, утерла слезу грязной ладонью и попросила:

— Расскажи мне тоже.

— Шампиньон в луга влюблен, лес — его родимый дом. Словно искры в черноте, я дарю его тебе!

Алиса натужно рассмеялась, но остановилась, когда повисло молчание со стороны Жени.

— Извини, сегодня все как-то странно, — произнес мужчина. — Даже хорошие детские стишки звучат как предвестники беды. Не могу ничего с собой поделывать, Алиса. Я все вспоминаю наше путешествие на Кандалакшскую губу. Там тоже росли шампиньоны, помнишь? Все это было совсем неважно. Мы видели Белое море. А представь, если все моря станут ржавыми. Получится мир без возможности наступить голй пяткой на гальку, тронуть мизинцем воду, раскинуть руки и поплыть. Много шампиньонов — к суровой зиме. Будет ли зима, будут ли моря или только оранжевые снимки из космоса, дымка кислотного тумана над планетой...

— Остановись, я прошу тебя, — прошептала Алиса и нежно положила руку на плечо Жени. — Лучше посмотри сюда, это лисичка, верно ведь?

Женя взял за основание ножки рыжий гриб и посмотрел на него сквозь призму своих очков.

— Ты права, лисичка. Названа так в честь рыжих хитрюг, что охотятся за мышками в снегу, — улыбнулся Женя и указательным пальцем дотронулся до носа девушки, как бы намекая на схожесть двух земных существ.

— Это неправда! — воскликнула Алиса, но в глубине души сравнение ей очень понравилось. Мама все детство говорила ей о лисьем разрезе глаз и природной хитрости. Маленькая девочка всегда получала то, что хотела. Но она выросла, и все встало с ног на голову. Оказывается, мир играет по правилам тех, в чьих рукавицах спрятано чуть больше власти.

— Я знаю легенду о лисичках. Посмотри внимательно на их шапки, что они тебе напоминают?

— Ракушки, вуаль платья, вены на руках мертвеца... — отозвался мужчина.

— Слишком сложно, — покачала головой девушка. — Это уши ведьм, которые спали на земле. Днем они устраивали шабаши и танцевали босиком на лугах, чтобы год был урожайным, а ночью припадали к земле и приносили в жертву самих себя, точнее, то, с чем готовы были попрощаться. Так появились лисички — единственные грибы, которые не поражают личинки. Ведьмы постарались.

— Иногда мне кажется, что ты оттуда, из времени, в котором сжигали колдунов, — улыбнулся мужчина. — Что ты сама земля, природа, ветер, тайфун. Если бы давали имена волнам тепла, наступающим наш мир, я бы назвал их твоим именем.

Алиса смотрела на мужчину и не могла понять, почему им отведено несколько часов, минут или секунд. Почему они обязательно должны прекратить все сегодня, почему не завтра и не послезавтра или, может, вообще через год. Лучше, конечно, вовсе в старости. Этой ночью она впиалась зубами в плечо Жени и даже не заметила, что сделала это слишком сильно. Она ждала от себя отречения от собственных нужд, она хотела крушить ночные звезды и возвращать миру все его вопросы, чтобы больше никогда не ждать ответа. Алиса лишь хотела понять.

— Это скрипица. Она очень хрупкая, смотри, — Женя силком вытащил девушку из размышлений. Двумя руками он разломил шляпку гриба пополам, и из разлома показался белый млечный сок.

Женя посмотрел на девушку и вспомнил последнюю ночь. На часах была половина третьего, а мужчине казалось, будто это нечестно, что его тело и тело Алисы существуют раздельно. Ровно в три его бактерии жили в ней, а ее — в нем, они перемещались друг по другу, как по песочному берегу, в котором вязнут ноги. Они соединялись и разъединялись, и во время кратковременных разрывов в их слитном существовании у него во рту оставался мягкий вкус ее сока, слегка кисловатый, но не жгучий.

— Этот гриб выглядит как пришелец, — рассмеялась Алиса.

— Вообще-то, они правда пришельцы. Не исключено, что когда-то очень давно споры грибов были занесены на нашу планету упавшими астероидами и метеоритами, уж больно эти творения природы отличаются от всех земных существ. Могут расти в полной темноте, лишены хлорофилла и поглощают кислород, а не производят его, — сказал мужчина.

— Может, они будут единственными, кто выживет, — шепотом отозвалась девушка.

— Может быть, моя дорогая Алиса, может быть...

Девушка потянулась к красному грибу с белыми точками на шляпке и весело произнесла:

— Это же мухомор! И как я могла не заметить.

— Ничего себе, моя Алиса отличает мухомор, я удивлен! — шутливо ответил Женя и погладил девушку по волосам. Она же в свою очередь нахмурила брови и иронично произнесла:

— Мухомор — это женщина, которая обиделась на своего мужа и ушла под землю. Жаль, что в этой истории жена такая слабохарактерная, я бы поборолась за свое место, а под землю ушел бы ты.

— А ты знаешь, что из тел невинных жертв вырастают грибы, которые ядовиты для их убийцы? — поддержал шутку мужчина.

— Ты не невинная! — воскликнула Алиса. — И вообще, я неплохо разбираюсь в грибах, как минимум, знаю лисичку и мухомор.

Один маленький грибок испускает излучение в инфракрасном диапазоне, не видимое человеческим глазом. Мухомор словно что-то хотел передать не то человеку, не то лежащим на подоконнике сородичам. Женя всерьез думал, что грибы обладают интеллектом, ведь их структура похожа на дендриты человеческих нейронов. Когда близится конец, становится неважно твое физическое воплощение, все, что остается, — это ваша тотальная схожесть и чувство, что ты не один. По всему миру поднимали одинаковые тосты. Алиса сомневалась, что они были безрадостные. Идея конца многим приносит удовольствие. Но не этим двоим. Их обоюдная энергия пестрела ионизирующим излучением, как при распаде ядер атомов. Оно проникало в их органы и вызывало взрыв сердец. Не зря говорят: много грибов — к войне.

Алиса схватила мухомор и начала отрывать от него маленькие кусочки. Гриб заменил ей ромашку, ей хотелось гадать «любит/не любит», но она точно знала, что Же-

ня любит. Поэтому она гадала «будет/не будет», имея в виду планету. Она отламывала кусочки все меньше и меньше, мечтая закончить на положительном ответе. Лишь бы создать мир, разрушив всего один, никому не нужный, ядовитый гриб.

— Это филиотина, — сказал Женя, но Алиса его не слушала. Если шапка гриба — небо, а ножка — земля, тогда почему так страшно смотреть в окно? Почему то, что она видела, и то, что отражалось в ее зрачках, казалось чудовищным и непоправимым? Гриб — это ведь про жизнь, а перед собой она видела смерть.

— Филиотина чрезвычайно ядовита и психоактивна. Думаю, она использует теми, кто не умеет наслаждаться жизнью, кто здесь лишний, кто не познал природу любви. Это не мы, Алиса, — Женя говорил быстро и сбивчиво, будто боялся не успеть. — Я периодически просыпался этой ночью, ты снилась мне беременной. Мне противно знание, что я никогда не положу руку на твой живот, в котором будет расти наш сын или дочь. Мне невыносимо знать, что я никогда не смогу почувствовать, каково это — быть отцом. За нашим с тобой окном рушатся города, страны воюют, доходят до крайности, не видя человека перед собой. Но в мире, где ты и я... Алиса, в этом мире я бы хотел на повторе крутить наши последние месяцы, я бы хотел снова танцевать с тобой под дождем, целовать тебя на крыше, с которой виден адмиралтейский шпиль. Я хочу, как сумасшедший, писать на твоём запястье одно и то же слово «мы». И чтобы никакого дыма, никакого вихря поднятой пыли и частиц грунта. Прощаться с миром следует без свидетелей, любовь моя. Поэтому сегодня существуем только мы с тобой.

Женя и Алиса оторвали взгляд друг от друга и обратили внимание на то, что происходило за окном. Мужчина крепко обнял хрупкие плечи девушки и в последний раз поцеловал ее в макушку. За окном в мире, еще несколько секунд назад жившем своей обычной жизнью, поднималось грибовидное облако, продолжающее расти в высоту и в диаметре. Черная ножка и ярко-алая шапочка — приметы самого ядовитого в мире гриба. Еще через несколько секунд он превратится в темное облако и выпадет осадками на землю, которой больше не будет существовать.

КТО МЫ? ОТКУДА? КУДА ИДЕМ?

Из трех вопросов на два
есть у меня ответы.
Они всем известны —
сто раз перепеты.

Говоря не всерьез,
в свою нехитрую силу:
Из — не скажу чего —
прямым в могилу.

Расписывать не стану
ждущие нас хоромы.
А вот чего я не знаю,
это кто мы?

Кто мы?.. И даже — кто я? —
нет гипотез рабочих.
А это главный вопрос —
важнее прочих.

И как к нему подойти,
не представляю даже.
Такие драконы
у него на страже.

Об этом молчит душа,
гостя моя связанная.
Не отвечает... молчит...
Как быть, не знаю.

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике: в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Новый журнал», «Новый мир», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Номо Legens», билингве «Антология русской поэзии начала XXI века» (УМСА-Press) и многих других. Автор сборников стихов «Взгляд в темноту» (СПб., 1992), «Записки вашего современника» (СПб., 2011), «О воде и воле» (СПб., 2015), «За тайной печатью» (СПб., 2017), «Отплытие» (2022). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), лауреат международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2020). Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Когда же я плакал в последний раз?..
Я вспомнить пытался — и не смог.
Отверг я сладостность жалких фраз
И сердце запер на крепкий замок.

Да, слез не стало в глазах. Совсем.
Источник засыпал песок и прах.
Пытаюсь избежать печальных тем
В разговорах, правда... не в стихах.

Постыдно иссохнуть... пожалуй, да.
Но можно мыслить и как-то так:
Слезы — не более чем вода...
И кровью исходит сердце — пустяк.

* * *

В этом пейзаже нет его. Он исчез.
И честно сказать, хуже не стало без.
Пусть он знал, что Паскаль прозывался Блез.

И вот он вычеркнут из домовых книг,
Из базы данных. Стал просто ответ... блик.
Кто теперь вспомнит: жил здесь один старик.

Порою чувствовал он чужую боль,
Не приставал, не потреблял алкоголь.
Стал не привидение, а полный ноль.

И при жизни он не был ничей кумир.
Кто ни уходит — не оскудеет мир.
В этом пейзаже не остается дыр.

Не говорил, что все на свете фигня.
Перед концом царство сменял на коня.
Но это пока еще не про меня.

* * *

Лысый, сгорбленный, беззубый старичок —
Это я в зеркале отражаюсь, что ли?
Вешалкой никак не попадающий на крючок,
Дед двух оболтусов Пети и Коли.

А им уж за двадцать... Светила наук...
Старший — аспирант... Ноутбук на коленке.
Полвека назад скажи кто: у тебя будет внук —
Я бы плюнул в его наглые зенки.

Был я уверен, что столько не живут,
Но я-то уж точно избегну позора
Быть старикашкой. А вот я перед зеркалом тут
Стою, повторяя: вот ведь умора...

Кто этот маленький?.. Уж точно не я.
Я что — действительно уменьшился в росте?
И что они значат — жена, дочка, внуки, семья,
Когда стоишь на последнем форпосте?

* * *

Скифы боялись, что небо рухнет на землю,
А уж кому — им-то присуща была смелость.
Страх их всем сердцем, всею душою приемлю:
Может рухнуть... Это как два пальца уделать.

Это даже без ракет и ядерной бомбы.
Вижу Землю в густом ядовитом тумане.
Впрочем, может, уйдем мы в метро... катакомбы,
Будем жить там, точно первые христиане.

Но уж наверняка без любви их и веры,
Переполаясь злобой до самого края.
Будем резвиться, как юные пионеры,
Голыми задницами в темноте сверкая.

Ни электричества, ни кондиционеров...
Звезды видеть только из глубоких колодцев.
Вспомнил не зря этих гребаных «пионеров»:
Будем и мы — типа новых первопроходцев,

Тоннели роющих во все стороны света
С энергией, столь яростной, сколь бесполезной...
Дьявол прикажет, увидев в ужасе это, —
Ад отгородится от нас стеной железной.

Впрочем, и подземелья загадим мы тоже,
Так что потолки рухнут от грязи и пыли.
Больше не медли, Господь! Покарай нас, Боже,
За все то, что с миром Твоим мы сотворили.

* * *

Все тревоги и страхи, уснувшие днем,
По ночам подступают к постели.
Сон полночный, и ты, утопающий в нем.
Хоть кричи... А чего вы хотели?

Бьет реальность и слева, и справа в борта.
Утлый челн, волн безжалостных горы.
А под днищем кипит не вода — пустота,
Ни надежды в ней нет, ни опоры.

Просыпаешься, чувствуя в сердце укол.
Где же те, кто во сне тебя звали?
Ты находишь припрятанный афобазол,
Но тебе он поможет едва ли.

* * *

На борьбу с дьяволом в помощники не бери сатану.
При посредстве бомбометания не победишь войну.

Пройдя по пути Нечаева, упрешься в тот же тупик.
Ни сил не хватает, ни злости — тянет сорваться на крик.

Заливая огонь бензином, не набирай «01».
Это все было... было... И чего тут и скажешь, блин?

Не желай никому кончины: у смерти свои пути.
И кого, придя на зов, она выберет... Ты уж прости.

Поймешь ты все это, конечно, вступая в последний бой...
Родных и родину в бездну утягивая за собой.

* * *

Я знаю несколько больше, чем говорю.	О многом нам стоит совсем умолчать —
И что это знание мне принесло?	Так целее останется голова.
Я приносил тайны свои к алтарю,	Да минует нас гербовая печать...
И они использовались во зло.	...Пусть тайна вступает в свои права.

* * *

Тому, кто тебя обидит,
я перегрыз бы горло.
Все, что до тебя было,
одним движением стерла.

А после тебя... После?..
Ничего не будет «после».
Увидев тебя впервые,
в землю разве не врос ли?

Пройдя этот путь до конца
с тобою одной рядом,
Хотел бы уйти под твоим
проводящим взглядом.

ИЗ ЦИКЛА «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»

* * *

У меня есть такой масонский, думаю я, брелок
Со смешною надписью: миссия выполняма.
Но вот воспользоваться все равно им пока не смог:
Рядом нету масонов, так что вся польза мимо.

А то я б его показывал и продвигался вверх,
Стал бы руководитель... даже и академик.
Славен бы стал на весь мир,
 точно тот пресловутый стерх,
Тот... президентский. Но нету ни славы, ни денег.

А ведь, казалось бы, заговор этот всемирный их
Должен предполагать какой-то для связи метод...
Вот и хожу с побрякушкой, точно законченный псих, —
Некому сунуть брелочек таинственный этот.

* * *

Если сразу не вспомнить свой ускользающий сон,
Он забудется просто напрочь и безвозвратно.
Вот в последнем — я был высочайшего ранга масон.
Только я вас прошу: не поймите меня превратно.

Я такие интриги в нем закрутил... о-го-го!
И такие в нем я проворачивал делишки!
Но какие именно?.. Не припомнится ничего.
А ведь все мавроди по сравнению со мной — детишки.

Если б вспомнить... и в жизни реально бы я закрутил,
Паутину сплел... за такие ниточки дергал.
Деньги греб бы лопатой, был кутилою из кутил.
А какие мадам... прикушу язык от восторга.

На побегушках были б НАТО, ИГИЛ¹ и Совбез.
Мне служили б все Ложи Запада и Востока.
Достигало бы мое могущество самых небес,
Хоть, наверно, дергать за ниточки — одна морока.

Но забыл... Не заплачу. Проснулся, отжался, встал.
После этого сна мне океан по колено.
План дальнейших действий сияет предо мной,
 как кристалл:
Снова лечь, заснуть, утянуть сон сбежавший из плена.
И, проснувшись, конечно, вспомнить все непременно.

¹ Признана Верховным судом РФ террористической организацией, деятельность в России запрещена.

ВЕРКА ГАМИЛЬТОН

Повесть

1

Известковая пыль висела в воздухе, оседала на волосах, лезла в рот и в уши, забивала ноздри, но Игорь Семенович, новый владелец части старого дома с несколькими бывшими коммунальными квартирами, испачкав изящные замшевые туфли и рукав серого с отливом пиджака, водил за собою по комнатам своего приятеля архитектора Константина Бардина. В глубине комнат переругивались рабочие, время от времени доносился оттуда треск выламываемых деревянных конструкций, здесь под ногами хрустели куски упавшей штукатурки и битое стекло, а Игорь Семенович счастливо улыбался. Все сложилось удачно! Дом в центре, но при этом многие окна выходят во двор.

— Двор я максимально задействую в будущем, — объяснял Игорь Семенович. — У меня ведь не просто кафе будет. Кафе — это, так сказать, приложение и источник дополнительных средств. Главное — арт-пространство. Хочу сделать две зоны, а то и больше. Но одна — непременно ретрокинозал. Мне родители рассказывали, что были в кинотеатрах залы повторного фильма. Старые фильмы в них показывали. Вот и я хочу такой зал со старым-старым кино. Ты знаешь, какие фильмы были популярны после войны?

— Откуда мне знать?

— Во-о-от, а я знаю. Бабушка мне рассказывала. Из зарубежных любили «Сестру его дворецкого», «Серенаду Солнечной долины». Но особенно бабушке нравилась «Леди Гамильтон». Тысячу раз мне содержание рассказывала. Она тогда долго болела, и ей нужен был собеседник. Я чуть ли не наизусть запомнил. Представляешь? Жена английского посла, лорда Гамильтона, на каком-то приеме познакомилась со знаменитым адмиралом Нельсоном. Влюбились друг в друга. От мужа она ушла. Неофициально, конечно. Послу скандал был ни к чему. Но адмирал погиб. Что делать бабе? К мужу не вернуться, денег нет. Спилась понемногу, вино из лавок кра-ла. Но любовь свою вспоминала как самое счастливое время. Мелодрама, конечно. Но думаю, что и нынешним женщинам эта черно-белая история будет по душе. Конечно, кино мы оцифруем, но атмосферу тех лет сохранить надо. Потому и дворик задействуем. Возьмешься?

Александр Борисович Жданов — поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза писателей России и Творческого союза художников России. Родился в Баку. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1989 года живет и работает в Калининградской области. Публиковался в журналах «Нева», «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Берега», «Литературная Армения», «День и ночь», «Великоросс», «Метаморфозы», «Новый Свет» (Канада), «Дружба народов». Автор трех сборников стихов, восьми книг прозы, альбома живописи и графики и трех учебных пособий по истории изобразительного искусства. Призер ряда международных литературных конкурсов.

— Увлёк, увлёк. Возьмусь, пожалуй.

Мимо прошёл рабочий с монтировкой в руке и направился на лестничную площадку. С подозрением посмотрев на него, Игорь Семенович двинулся следом. И почти сразу Бардин услышал:

— Куда?! Зачем?! Что ты делаешь, убийца?! Отойди!

Поспешив на крик, Бардин увидел, как Игорь Семенович оттолкнул рабочего от уже снятой с петель входной двери. Одна петля, слегка изогнувшись, немного отстала от места крепления. Видимо, рабочий пытался монтировкой выкорчевать ее.

— Посмотри, какая уникальная штука! — Игорь Семенович ласково поглаживал дверь. — Ей, наверное, больше ста лет. Только вот краски кучу слоев нанесли. Как думаешь, можно будет ее отреставрировать?

— Надо будет показать реставраторам, — сказал Бардин, достав телефон и сфотографировав дверь. — Думаю, заинтересуются.

В это время другой рабочий выволок и со стуком поставил на пол станину от ножной швейной машины.

— Хорошая штука, — шумно выдохнул рабочий. — Вы ее будете брать? Если что, на металл сдать можно.

— Я тебе сдам на металл! — встrepенулся Игорь Семенович. — Раритет. Тоже надо будет отреставрировать. Приспособим куда-нибудь.

...Бардин ехал домой с каким-то светлым чувством на душе и вдруг решил непременно заехать к деду. В последнее время у восьмидесятипятилетнего деда он бывал редко, только перебрасывался несколькими фразами по телефону. А тут решил заехать, рассказать о новом заказе, о коммунальных квартирах, которые ему предстоит переоборудовать. «Дед же рассказывал, что подростком жил в коммуналке. Может, вспомнит юность», — думал Бардин.

Рассказ внука Дмитрий Константинович выслушал с интересом, внимательно рассматривал фотографии в телефоне. Особенно внимательно ту самую станину швейной машинки. Смотрел и улыбался чему-то.

Прощаясь, уже в прихожей Константин внезапно спросил:

— Дед, ты же после войны юношей был. Старые фильмы помнишь?

— Насколько старые?

— Сороковых годов.

— Что-то помню. Но мы пацанами из довоенного кино больше «Чапаева» смотрели, «Александра Невского».

— А мелодрамы? Были такие — «Серенада Солнечной долины», «Сестра его дворецкого»?

— Были, конечно. Но их женщины любили. Нам неинтересно было.

— А «Леди Гамильтон»?

Дмитрий Константинович кивнул, тяжело вздохнул, наскоро попрощался с внуком, а когда за ним закрылась дверь, пробормотал еле слышно, самому себе:

— «Леди Гамильтон»... «Леди Гамильтон»... Она смотрела этот фильм раз тридцать.

2

В комнате Веры Проскуриной было всего три ценные вещи: умывальник, швейная машинка и старое резное зеркало, этакое настольное трюмо. Строго говоря, ее, Веры, была только машинка, с нею она приехала и заселилась в комнате, остальное досталось ей от прежних хозяев. Какою же неожиданностью стала эта комната! Вера сама

до конца не понимала, как такое могло случиться, почему именно ей, долго жившей вместе с другими неудачниками в деревянном бараке, который назывался общежитием, достался ордер на комнату в коммунальной квартире. Ведь могли бы просто переселить куда-нибудь в пригород, оно вон как вышло. До того чтобы оказаться в этой комнате, Вера сидела перед очень приятным, хорошо одетым человеком. Человек что-то говорил — Вера запомнила плохо. Она сидела ни жива ни мертва и радостная одновременно. Радостное чувство пыталась прогнать: боялась спугнуть удачу. Видела, как человек в темно-синем костюме в очень тонкую полоску иногда поправляет волосы, запомнила, что от него приятно пахло одеколоном, а вот слов почти не запомнила — только «бдительность», «ответственность», «священный долг». Слова как слова — кто их только не произносил!

И вот однажды из своего окна в доме на улице, название которой менялось не единожды, Евдокия Грязнова увидела, как во двор въехал грузовик с небольшой надстройкой в виде кибитки над кузовом, сразу за кабиной. Из кабины вылез и неловко соскочил на землю лысый человек в пиджаке и портфелем под мышкой. Соскочил и громко сказал:

— Ну, Проскурина, спускайся с небес на землю. Или правильнее сказать, выбирайся из подвала наверх, на землю. Здесь теперь жить будешь.

Только тогда Грязнова заметила, как в кузове из той самой кибитки показалась молодая женщина. Она стояла в кузове опираясь на юбку и пыталась перелезть через борт.

— Погодь, Проскурина, не так швыдко, — по-прежнему держа портфель под мышкой, сказал лысый, — сейчас спустим тебя с твоим добром.

Подошел водитель, откинул задний борт кузова, принял от Веры чемодан. Другой, похожий на чемодан ящик, но с полукруглым верхом, принял лысый. Портфель при этом пришлось зажать между ногами.

— Тяжелый. Что у тебя там? Артиллерийские снаряды, что ли? — проворчал он.

Водитель протянул Вере обе руки:

— Сигай, что ли.

Вера неловко взялась за его руки, но прыгнуть не решилась.

— Эх, молодежь, — проворчал водитель, — давай сюда!

Он схватил Веру за талию и опустил на землю. От неожиданности Вера ойкнула, схватилась обеими руками за плечи водителя, юбка у нее завернулась, и Вера, смущенно озираясь, опираясь на нее. Затем водитель влез в кузов, подтащил из глубины к борту металлический столик с большим колесом. «Машинка швейная, — догадалась со своего наблюдательного пункта Грязнова. — Никак портниха вселяется. Ну-ну».

Тем временем водитель прыгнул, вдвоем они сняли громоздкую железяку с колесом, и водитель, закрыв откинутый борт, направился к кабине. Лысый заторопился. Он достал из портфеля документ и протянул Вере:

— Держи, Проскурина, твой ордер, твое полноправное право на занятие жилой площади. Жди. Зараз управдом подойдет. Погодь трошки, сама одна без него не всейся. Ну, бывай.

Лысый влез в кабину, грузовик, выстрелив темным дымом из выхлопной трубы, уехал. Вера стояла посреди двора, растерянно озираясь, рядом стояли ее вещи. Вера села на чемодан.

— С приездом! Значит, новая жилища у нас? — раздалось за спиной. — Как звать-то?

Вера обернулась. Женщина в синем в горошек переднике стояла, сложив на животе руки.

— Вера. Вера Проскурина, — поднялась Вера.

— А я Евдокия Павловна. Грязнова по фамилии. Но тебе это знать необязательно. Фамилию-то. Значит, жить здесь будешь? И как это тебе удалось комнату у нас получить?

— Сама не знаю, — честно призналась Вера.

— Ладно-ладно, не знает она. Небось покровители какие есть, а? Чего же во дворе стоишь, жилплощадь не занимаешь?

— Сказали, нельзя без управдома.

— А! То верно: нельзя. А вот и Аркадий Петрович идет. Управдом наш.

Подошел средних лет мужчина в сером костюме с портфелем в руке. Синие сатиновые нарукавники он так и не снял. И еще заметила Вера складочку на воротнике рубашки. «Загладили, — успела подумать она, — видно, хозяйка такая. А может, и один человек живет». Управдом пристально посмотрел на Веру:

— Это кто же такая будет?

— Проскурина Вера Алексеевна. Жить здесь буду. Вот, — протянула она управдому ордер.

— Жить она будет, — проворчал управдом, беря из рук веры документ. — Сперва разобраться надо... Все правильно... Вера Алексеевна Проскурина имеет право на занятие одной комнаты в квартире... Ну, пойдем, если так. А вещи где? Это все?

— Да, — кивнула Вера, — нету больше ничего... Пока.

Управдом подхватил было ящик с полукруглой крышкой, но невольно охнул:

— Тяжелый.

— Это машинка швейная, Аркадий Петрович, — поспешила вставить Евдокия Грязнова.

Управдом посчитал, что отступать неловко, поднял упакованную в ящик швейную машинку и, слегка изогнувшись вбок и далеко отставив руку с портфелем, двинулся к подъезду. Вера взяла в руку чемодан, но растерянно обернулась на станину машинки.

— Ступай, ступай, — успокоила ее Грязнова. — Я присмотрю, чтобы не утащили.

У двери комнаты, в которой предстояло жить Вере, управдом потоптался, еще раз посмотрел в ордер, затем достал из кармана пиджака перочинный ножик и, аккуратно поддев лезвием бумажную полоску, которой была опечатана дверь, снял ее, сложил ножик и убрал его в карман. Вера заметила, что управдом и бумажку не скомкал, а, аккуратно сложив, отправил за ножиком. Потом он достал из портфеля большую связку ключей, отцепил от нее один и протянул Вере:

— Можете заселяться.

От волнения Вера не сразу попала ключом в щель замка. Управдом не уходил. Наконец дверь открылась.

— Убедитесь, пока я здесь, что все окна-двери целы, стекла не разбиты. А то завалите потом заявлениями на остекление. А где я стекла возьму? Да! Если решите выбрасывать что из старых вещей, мебель, там, или что, обратитесь сперва в ЖЭК. А то любят у нас дворы захламлять. Ну, с новосельем, красавица, — сказал он и впервые улыбнулся.

Не успела Вера после ухода управдома перевести дух и оглядеться, как за дверью послышались тяжелые шаги, глухой стук об пол и стену и голос Грязновой:

— Да осторожней ты, Димка, гляди, стены не обобей. Петрович потом задаст чертей. Вот в эту комнату давай.

Дверь открылась — и Вера увидела сначала металлические ножки станины своей швейной машинки, а потом раскрасневшееся лицо семнадцатилетнего парня. Форменная фуражка ремесленного училища едва держалась на затылке. Парень со стуком поставил станину на пол.

— Ой, зачем же одному было? — засуетилась Вера.

— Ничего-ничего, — заговорила, вваливаясь в комнату, Грязнова. — Он сильный. Недаром в ремеслухе учится. Это Димка Бардин. Он у тетки своей живет. В соседней квартире.

Евдокия говорила так, словно Димы рядом не было. Сам же он молча смотрел на Веру.

— И чего встал? — вновь встрепенулась Евдокия. — Не на пороге же оставлять. Говори, Вера, куды ставить.

— Не надо одному! — бросилась к станине Вера. — Вдвоем легче.

Не рассчитала она своей прыти, и руки их столкнулись. Пальцы Веры были холодные, а у Димы они разогрелись от работы. Вера приветливо улыбнулась, а Дима мгновенно покраснел. Все же они перенесли станину к окну. Только тогда Дима поправил фуражку и одернул форменную гимнастерку. Вера снова улыбнулась ему. Евдокия этого не видела. Она оглядывала комнату.

— Да-а-а, загадил все Прохор, царство ему небесное, — протянула она и тут же обернулась к Диме: — А ты ступай. Ступай. Неча слушать, что две женщины говорят. Ступай. Тетка небось заждалась.

Сама Евдокия не уходила. Она по-прежнему оглядывала комнату, время от времени бросая взгляд на Веру. А та села на чемодан, раскрыла сумочку, порылась в ней, снова закрыла, скрестила руки на коленях и в который уже раз обвела взглядом свое новое жилище. Грязнова опять было завела разговор о том, как досталась Вере эта комната, но не выведав всего, чего хотела, Евдокия решительно поднялась:

— Ладно, не буду мешать. Обживайся. Будет еще время покалякать.

Легко сказать: «обживайся». Вера и сама хотела навести порядок, но не было в комнате ничего: ни веника, ни совка, ни ведра, ни швабры, ни даже тряпки. А были лишь грязные полы, грубо сколоченная деревянная кушетка, больше похожая на топчан, и умывальник.

Умывальнику Вера обрадовалась. Он был красив: высокий, на прочных дубовых ножках, с мраморной передней плитой и медным краном. Правда, плита была не белой, а грязно-серой, кран тусклым, но умывальник мог значительно облегчить Вере жизнь. С умывальником в комнате не было необходимости занимать по утрам очередь в ванную, чтобы почистить зубы и умыться. Залила воду — пользуйся себе. К тому же вода в умывальнике, приняв комнатную температуру, стала бы теплее той, что из крана. Но для того, чтобы вычистить умывальник и прибрать в комнате, нужны были хотя бы ведро и тряпка. Вера уже готова попросить их у Грязновой, но вспомнила, что так и не узнала, где именно живет Евдокия. Да и будет ли она дома? Вера слышала ее шаркающие шаги в коридоре и вышла из комнаты, надеясь или увидеть саму Евдокию Павловну, или уж стучаться во все двери, чтобы найти ее. Но тут она услышала... Из комнаты в конце коридора доносилась нежная негромкая мелодия. Это не радио, по радио музыка звучит иначе. И Вера пошла на звуки, остановилась перед дверью — в комнате играли на пианино. Заслушавшись, Вера невольно опустила ладонь на ручку неплотно закрытой двери, дверь приоткрылась — и Вера увидела часть комнаты и женщину за пианино с накиннутым на плечи платком. Мелодия оборвалась. Женщина обернулась.

3

— Здравсьте, — только и смогла выдавить Вера.

— Здравствуйте, голубушка. Не стойте в дверях, заходите, — женщина поднялась навстречу Вере. — Вас Верой зовут. Это я уже знаю. Наша Евдокия Павловна, сдает-ся мне, оповестила всех. А я Елизавета Аристарховна.

Вера вошла в комнату и немного оробела. Такое она видела только в кино и сама уж точно никогда не жила в такой обстановке. Ей сразу понравилась накрахмаленная льняная скатерть на круглом столе, лампа под оранжевым абажуром над столом, а вокруг стола — гнутые стулья. В углу комнаты пианино. Это на нем играла хозяйка. Рядом шкаф с книгами. Много книг. «Когда же все это прочитать успеть?» — подумала Вера. Но больше всего ей понравился буфет с двумя узкими стеклянными боковыми створками и широкой поперечной. Широкий просторный низ под поперечной створкой украшала фарфоровая супница с объемной розой на крышке. Взгляд Веры так и перебегал с одного предмета на другой и задержался на двух статуэтках на пианино. Эти статуэтки особенно подчеркивали в глазах Веры уют. В комнате было так уютно, тихо и спокойно, что Вера и свой быт решила устроить так, чтобы и у нее было уютно, чтобы были стол под скатертью и лампа под абажуром, стулья вокруг стола и статуэтки. Статуэтки непременно.

— Что же вы стоите, голубушка? Проходите, садитесь, — Елизавета Аристарховна подошла к столу, отодвинула стул, приглашая Веру сесть.

Смущаясь, Вера села за стол на краешек стула и сложила руки на коленях. Хозяйка села напротив.

— Рассказывайте, с чем пожаловали, — мягко спросила она.

Вера принялась сбивчиво объяснять, что только вот вселилась, в комнате страшный беспорядок, надо бы прибраться, но у нее, как назло, ни веника, ни ведра, ни тряпки. Хотела было у Евдокии Павловны попросить, да не знает, в какой комнате она живет.

— Евдокии Павловны, детка, вы ни в одной из этих комнат не найдете. Она живет в другой квартире, в той, что напротив. Но всегда все обо всем знает и всюду успевает. Такой уж она человек, не обессудьте, — улыбнулась Елизавета Аристарховна.

Она достала из узкого углового шкафчика, который Вера поначалу и не заметила, веник и совок, сняла с гвоздика на внутренней стороне дверцы ключ и протянула его Вере:

— Держите, Вера, и подойдите к окну.

Стоя у окна, она указала на ряд сараев во дворе:

— Все это наши сараи. Вон тот, что с косой перекладиной на двери, мой. Вы сейчас сходите туда, отоприте и возьмите ведро и тряпку. Наведете у себя порядок — снесите все назад, а ключик верните мне. К слову, сарай рядом — ваш.

— Ой, вы так отдаете мне ключ? — искренне удивилась Вера. — Вы же меня еще не знаете.

— И что же? Разве можно, не зная человека, сразу подозревать его в нечестности? Берите ключ. И помните: у вас тоже есть сарай.

— А для чего они, сараи эти?

— В них дрова. Видно, вы еще не были в ванной, не видели колонки. Газ у нас проведен только на кухню, а в колонке вода подогревается дровами. Поэтому и дрова у каждого свои. А их доставать приходится. Будет и у вас такая забота.

— Ох, и трудно это все. Я ведь никого не знаю. Если что, я лучше в баню схожу.

— Всему свое время. Сейчас наводите у себя порядок, а потом приходите. Поговорим.

Трудилась Вера долго, яростно, но весело и с удовольствием. Мела, скребла, мыла, дольше всего провозилась с умывальником. Но когда мраморная плита тускло сверкнула, а начищенный медный кран заблестел, она отошла в угол и оглядела оттуда всю комнату, улыбнулась и... смахнула со щеки слезу.

Однако начинало смеркаться, а ей еще надо было вернуть взятые вещи в сарай, а ключ хозяйке. В сарае Вера поставила ведро на место, мокрую еще тряпку растянула и повесила для просушки на дровах, закрыла дверь, повесила замок и остановилась. Она стояла перед соседним сараем, который, по словам Елизаветы Аристарховны, принадлежал ей, Вере, но в который она попасть не могла: черный амбарный замок на двери злобно улыбался ей узкой поперечной скважиной.

— Здравствуйте. А это опять я, — юношеский срывающийся голос за спиной заставил ее оглянуться.

Дима стоял, переминаясь с ноги на ногу, и смущенно молчал. Он и хотел бы сказать что-нибудь остроумное, но слов не находил и от этого смущался еще больше. Вера пришла юноше на помощь.

— Вот, — со вздохом указывая на замок, сказала она, — сарай вроде бы мой, а попасть в него я не могу.

Дима, сдвинув для солидности брови, потрогал замок, словно взвешивал его на руке, и важно ответил:

— Ну, это не беда. Выход найти можно. Вам сейчас нужно туда или не к спеху?

— Нет-нет, могу подождать.

— Тогда завтра я придумаю что-нибудь. А сейчас у меня важные дела. Мне надо идти.

Дима старался идти медленно, размеренно, солидно, а в душе у него весело прыгал зайчик. Он рад был помочь Вере, такой приветливой и красивой. А Вера шла к Елизавете Аристарховне, чтобы вернуть ключ, и думала: «Какой славный мальчик».

Елизавета Аристарховна прямо с порога потащила Веру к столу, заявив:

— Никуда я вас не отпущу, пока чаю не попьем. У вас, наверное, как приехали, и маковой росинки во рту не было.

— Да, — созналась Вера, — как-то забыла, что поесть надо.

— Вот и славно. Пейте чай, ешьте печенье и, если хотите, рассказывайте о себе.

— Да нечего особенно рассказывать, — замылась Вера, — неинтересная у меня жизнь.

— Такого не бывает, моя милая, каждый человек интересен.

Тут послышался короткий стук в дверь, и та сразу распахнулась. На пороге встала Евдокия Павловна, обеими руками держа перед собою большой тюк.

— Вот она где! У вас, Елизавета Аристарховна, — отдуваясь и ставя тюк на пол, сказала она. — А я сунулась к ней — дверь не заперта, в комнате никого. Ты что же, деваха, вещи свои оставляешь без присмотра? Я ведь что тебя искала? Видела твой пустой топчан. Ни тюфяка, ни подушки — ничего нет. Подыскала тут тебе перину и подушку старые. На первое время подойдет. А вот простыни да наволочки, не обесудь, нет. Возьмешь, что ли?

— Ой, спасибо! Спасибо, Евдокия Павловна. Я и не подумала пока...

— То-то: не подумала. Заберу я ее у вас, Елизавета Аристарховна. Пусть готовится к ночлегу.

Елизавета Аристарховна едва не вскочила со стула.

— Ох! Я-то должна была подумать. Будет вам, Верочка, и наволочка, и две простынки.

Она достала из шкафа белье, протянула Вере, но Грязнова перехватила.

— Давайте я возьму. А ты хватай перину, подушку — и вперед, — обратилась она к Вере.

Вера растерянно переводила взгляд с одной женщины на другую. Приличия требовали, чтобы она посидела за столом с пригласившей ее Головиной, но и по отно-

шению к Грязновой быть неблагодарной не хотелось. На выручку пришла Елизавета Аристарховна:

— Куда же нам спешить? И вы, Евдокия Павловна, садитесь за стол, вместе чаю попьем. А потом Верочка сама все и отнесет.

От заманчивого предложения Грязнова не стала отказываться.

— Разве что чашечку, — согласилась она.

За столом все трое пытались завязать беседу, но она, прерванная неожиданным и шумным появлением Грязновой, обрывалась, и в комнате повисала напряженная тишина. Грязнова шумно выдохнула, положила на блюде перевернутую вверх дном чашку, отодвинула от себя и откинулась на спинку стула.

— Ну, пора мне и честь знать, — сказала она с легкой обидой в голосе. — Пойду я.

Вера тоже вскочила:

— И я пойду. И мне пора. Спасибо. Спасибо и вам, и вам. Не знаю, что я делала бы одна.

Распрощались. Вера потащила полученные белье, перину и подушку к себе в комнату. Грязнова двинулась было с ней, уж очень хотелось ей попасть сейчас к Вере в комнату, расспросить ее подробнее, выведать еще что-нибудь. Но решила Евдокия Павловна проявить характер, развернулась и вышла из квартиры.

Вера же у себя в комнате первым делом разложила на кушетке перину, застелила ее простыней, натянула на подушку наволочку, взбила и уложила подушку, сверху расстелила вторую простыню, но тут вспомнила, что нет у нее одеяла, а спать под одной простыней, несмотря на лето, может быть холодно. И тут ее осенило: плащ! У нее в чемодане аккуратно сложен плащ. Им-то она и укроется.

Вера бросилась к чемодану, раскрыла его, достала плащ, а под ним обнаружила афишу — небольшую, не больше газетного листа афишу, отпечатанную в типографии, из тех, что вывешивают в фойе кинотеатров. Вера достала афишу, разложила ее на крышке чемодана, разгладила обеими ладонями и тут же едва не покраснела, вспомнив, как эта афиша досталась ей.

Она была в кино. Уже прозвенел звонок, зрители ринулись из фойе в зал, а Вера все стояла перед небольшой афишей фильма, который ей очень нравился и который она пришла смотреть уж и не сказать в который раз. На афише молодая красивая женщина в нарядном платье, а напротив красивый мужчина в морской форме прошлых веков с черной повязкой на одном глазу. Через всю афишу шла наискосок надпись: «Леди Гамильтон». Тут Вера заметила, что афиша колыхнется даже от легкого дуновения, потому что еле держится на двух верхних уголках. Вера посмотрела по сторонам: никого, все спешат попасть в зал. До сих пор не могла Вера объяснить себе, как все произошло, только она подсунула под уголок указательный палец — и уголок легко отклеился, со вторым справилась еще легче. Теперь оставалось скрутить афишу в трубку и незаметно пронести с собой. В зал она вошла под ворчание женщины-контролера, когда свет уже погас, а зрители смотрели киножурнал.

И вот афиша любимого фильма с любимыми артистами лежит на крышке чемодана. Решив повесить афишу на стену завтра, Вера разделась и юркнула в постель. Все события, втиснутые в один день, пронеслись перед ней — и Вера разрыдалась. Она плакала оттого, что не видела в прежней своей жизни такого участия и доброго расположения к ней незнакомых прежде людей, оттого, что многое не могла объяснить. Мысли мелькали в ее голове, и вдруг Вера вскочила и села в постели. Последняя мысль обожгла ее: «Ведь надо будет новоселье отпраздновать. А как?»

4

Говоря о том, что он что-нибудь придумает, Дима лукавил. Придумывать ему ничего не надо было, потому что у него в сарае среди его инструментов был такой же замок и с ключом, новый, еще промасленный и завернутый в плотную серую упаковочную бумагу. И Дима знал, что завтра он срежет ножовкой по металлу старый замок, повесит новый. Он решил, что утром встанет на полчаса раньше, чем обычно. Этого времени должно хватить, чтобы управиться с замком до ухода в училище.

С недавнего времени Дима научился просыпаться в назначенное себе время. Получилось это случайно. Раз засыпая, он представил себе циферблат, стрелки на котором показывали семь часов. В полудреме он видел, как циферблат уходит в дымку, появляется вновь, но неизменным оставалось положение стрелок: семь часов. Утром, проснувшись, он первым делом взглянул на часы: семь утра. Стало интересно, и вечером он решил провести эксперимент: засыпая, представлял себе циферблат. На этот раз не сработало, и он проснулся на полчаса раньше намеченного времени. С переменным успехом он продолжал экспериментировать и в конце концов добился успеха: просыпался он теперь, как сам говорил, «по заказу». Проснулся он, как по сигналу. Старался не шуметь и двигаться почти бесшумно, даже решил не завтракать, чтобы тетку не разбудить. Нина Семеновна стала бы допытываться, что это встал он в такую рань. Дима же не хотел ничего объяснять, опасаясь, что словом, взглядом, интонацией выдаст то, что держал в секрете.

Тетка уже не спала и возилась на кухне. «Эх, как почувствовала!» — в сердцах пробурчал Дима. Но доносившиеся из кухни шкварчание сковороды и знакомый с детства аромат давали понять: от завтрака отказаться он не сможет. Широко улыбаясь, стоял он в дверях кухни.

— И что в такую рань? — Нина Семеновна вытирала руки о передник.

— Раньше сегодня надо. На практику на завод пойдем, — соврал Дима.

— Что же вчера не сказал? Хорошо, я раньше встала. Ушел бы так, не евши. И что детям отдохнуть не дадут? Ну, проходи, садись. Я тебя побаловать решила: оладушек напекла. Мучицей вот разжилась. Считай, премия такая, — с улыбкой сказала она и заохала: — Надо же. И в короткий день нет детям поблажки.

Коротким днем Нина Семеновна называла субботу, впрочем, не она одна, многие так говорили. Рабочий день по субботам повсеместно был на два часа короче, правда, без обеденного перерыва. Но на учебные заведения это правило не распространялось. Тетка и позволяла себе всякие кулинарные поблажки лишь по воскресеньям, а тут днем раньше расщедрилась. Но она, словно прочитав мысли племянника, объяснила:

— Сегодня тебя побалую. Завтра не смогу. Вечером в деревню к Алевтине, сестре двоюродной, поеду. Справишься один-то, без меня?

— Справлюсь, тетя, справлюсь. Не волнуйся, — успокоил ее Дима.

Наскоро проглотив обжигающие оладьи, запив их почти горячим чаем, он бросился к сараю. Работать можно было спокойно: окна их комнаты выходили на улицу, не во двор, из окна тетка ничего не увидит, да и некогда ей будет в окна глядеть, если в деревню собралась.

В сарае Дима протянул руку к ножовке, но тут же остановился. Как он не подумал?! Начни он так рано работать ею, скрежет металлический разнесется по пустому двору, соседи к окнам прильнут. Конспирация опять насмарку. «Что ж, будем действовать проще», — решил он. Взяв в руку увесистый молоток, он подошел

к сараю Веры. Удар был коротким, но сильным и точным — замок сорвался с дужки и повис на ней. Быстро оглянувшись, он поглядел на окна дома: все в порядке. Никто не обратил внимания на короткий однократный стук. Оставалось занести старый замок в свой сарай, а на двери сарая Веры навесить новый. Дима торопился и не заметил, как Вера подошла и встала у него за спиной. Держа старый замок в одной руке, Дима сумел навесить и защелкнуть новый, но тут прежний замок выскользнул из рук и упал на утрамбованную землю, едва не стукнув Диму по ноге. Тот отскочил и обернулся. Он увидел только глаза Веры, ее добрую улыбку — и его сердце опять как-то странно подпрыгнуло.

— Вот, — стараясь смотреть мимо, Дима протянул ей ключ, — все готово.

— Какой ты молодец! — Вера взяла ключ из его руки, на мгновение коснувшись ладонью пальцев Димы. И опять сердце юноши подпрыгнуло, и опять по его щекам разлилась горячая волна.

Борясь со смущением, он пытался говорить непринужденно, даже развязно. Получалось плохо.

— Если нужно, ну, там, оттащить из сарая на мусорку хлам какой или еще что, обращайся, — срываясь на фальцет, сказал он, осекся, от этого смутился еще больше и добавил еле слышно: — Обращайтесь.

Вера приятно похлопала его по руке:

— Спасибо, спасибо! Я уж сама. А ты и так много для меня сделал.

Убрав ключ в сумочку, Вера легкой походкой пошла по двору. Дима смотрел ей вслед, видел ее прямую спину с узкими плечами, и Вера казалась ему юной и стройной. Он не замечал, что ладонью накрыл руку, по которой только что похлопала Вера. Сама же Вера думала о предстоящем вечере. Сегодня суббота, дома она окажется раньше обычного и займется сараем. Она все сделает сегодня, а завтра... Завтра она пойдет в кино.

Ох, сколько раз потом в течение вечера вспоминала Вера присказку своей бабушки: «Человек полагает, а Бог располагает». И ведь казалось поначалу, что управится она быстро. Хлама в сарае оказалось немного: ведро без дна, старое дырявое жестяное корыто, пустые бутылки, а еще много всего деревянного. Ведро и корыто Вера сразу сложила у самой двери, чтобы позже выбросить, с бутылками же спешить не стала. Бутылки, если их вымыть и соскоблить с них этикетки, можно будет сдать — пункт приема рядом: здесь же за углом. Небольшие, но все же деньги. Это радовало. Особенно же порадовали разбитые деревянные рамы и обрезки досок: они пригодятся для растопки колонки в ванной. Надо будет только попросить кого-нибудь, того же Диму, развалить рамы окончательно и напилить чурочки нужного размера. Дима — славный мальчик, пожалуй, не откажет. Но сваленные грудой деревянные конструкции раздражали, и Вера не без труда перетащила их к боковой стене и по возможности аккуратно сложила там. Оставалась еще одна конструкция, напоминающая стеллаж. Этот стеллаж прочно стоял у торцевой стены и мог использоваться по назначению.

И позже не могла объяснить себе Вера, что заставило ее подойти к стеллажу и проверить его прочность. Но едва взялась она за конструкцию и слегка покачала, стеллаж повело, и он медленно повалился на бок. Вера присела на корточки, чтобы приподнять подкосившуюся ножку, и тут заметила небольшое углубление в земляном полу — как раз под тем местом, куда эта ножка опиралась. В углубление, как в ямку, медленно сыпалась земля, словно внизу была пустота. Вера тронула ямку рукой — земля посыпалась быстрее. Вера руками стала разгребать в этом месте землю. Вскоре оказалась доска. С одного бока она прогнила, в это прогнившее место земля и уходила.

Это было похоже на тайник. Схватив совок, Вера стала слой за слоем убирать утоптанную землю, и вскоре обнажились доски — деревянный настил. Сомнений не оставалось: под настилом тайник. Доски Вера убрала — под ними открылась аккуратная четырехугольная яма, вроде миниатюрного неглубокого погребка. На дне погребка лежал завернутый в рогожу плоский, но широкий предмет неясной формы.

Непроизвольно Вера огляделась по сторонам: нет, никто ничего не видел. Теперь предстояло извлечь этот предмет. Однако сделать это оказалось нелегко: не находила Вера удобного выступа, за который можно было бы ухватиться. Все же она смогла приподнять то, что лежало в тайнике, за один бок, подтащить к себе и опереть о край углубления. Внутри погребка освободилось место, куда Вера и спустилась. Неглубоким оказался погребок — ниже колена, но стоять в тесном пространстве было неудобно. Она смогла ухватиться за лежащий на земле бок и вытолкать все это сооружение на пол сарая. Переведя дух, Вера выбралась из погребка и попыталась поднять этот непонятный, завернутый в рогожу предмет. Он оказался не очень тяжелым, но за него неудобно было ухватиться, размах рук Веры едва хватало, чтобы удержать его. Тем не менее она смогла перетащить его к свободной боковой стене и опереть о нее. Оставалось освободить находку от рогожи.

Рогожа, хоть и полуистлела местами, сначала поддавалась с трудом, и ее приходилось разрывать, иногда и зубами. Но вот остатки рогожи свалились на пол, обнажив то, что когда-то было белыми простынями. Любопытство Веры разгоралось, и она нетерпеливо отматывала ткань. Когда же наконец сняла Вера последний лоскут, увидела то, чего прежде видеть ей не доводилось. То было трехстворчатое зеркало, похожее на трельяж с тремя ящичками внизу: маленькими боковыми и большим посередине, но трельяж слишком низкий, чтобы стоять на полу. Вера решила, что перетащит зеркало к себе в комнату и в крайнем случае поставит на стол. Не без труда вытащила она зеркало во двор. При дневном свете стало видно, что зеркало потускнело, в нижнем углу правой створки появился зеленый налет, местами пострадала и рама. Но все же его надо было перенести в комнату. Самой не удастся, это ясно, и Вера остановилась в раздумье. Внезапно ее осенило: зеркало определенно раньше принадлежало кому-то из «бывших», как бы неприятностей не было. Но уж больно красивым было оно, отказаться от находки Вера не могла, вот и стояла в раздумье.

Дима, как всегда, появился неожиданно и кстати. Он сам бросился к Вере:

— Что же это вы сама и одна?! Дайте-ка помогу.

Они взялись вдвоем, и снова пальцы их соприкоснулись, и вновь горячая волна обдала Диму.

— Не, вдвоем неудобно, — сказал он, стараясь смотреть мимо Веры. — Я сам.

Дима сделал то, до чего Вера не додумалась: взвалил зеркало на спину. Он сделал несколько шагов, и ящики выползли наполовину, грозя рухнуть на землю и, чего доброго, расколоться.

— Э, нет, так не получится, — Дима остановился. — Давайте-ка вы эти ящики понесете. А я уж зеркало дотащу.

Вера согласилась. Она вложила маленькие ящики в большой, уперла этот большой в живот, как лоток, и готова была идти. Дима сделал еще несколько шагов — и вдруг из освободившегося от ящика углубления выкатился и запрыгал по брусчатке двора пятак.

— Погоди-погоди, Димочка, — Вера поспешно поставила свою ношу на брусчатку, присела и подняла монетку.

Пятак оказался медальоном, о чем говорило отверстие у ребра. Вера вертела медальон в руках — и ничего не могла понять. Вместо какой-либо надписи медальон наискосок пересекали пять линий, на которых сидели ноты. Несколько нот. «Ладно, соседке Елизавете Аристарховне покажу. Она точно поймет, что это такое», — подумала Вера, отправляя находку в карман платья.

Дима тем временем снова взял трельяж на спину и пошел к дому. Не останавливаясь и не оборачиваясь на Веру, он сказал:

— Рама кое-где попортилась. Подремонтировать надо. Хорошо бы лаком или политурой пройтись. Мой друг в училище на краснодеревщика учится. Если хотите, я спрошу у него — вдруг поможет.

— Нет-нет, не надо, я сама. Я лучше воском, — очень уверенно ответила Вера.

Совсем недавно купила она интересную книгу — «Полезные советы». О чем только не рассказывала эта книга, даже о фотографии и рыбалке! И о том, как привести в порядок зеркало и мебель, тоже узнала Вера из книги. Так и шли они: впереди Дима, слегка согнувшись и с зеркалом на спине, за ним Вера с ящиками, как с лотком.

В комнате Дима остановился и спросил, озираясь:

— Куда поставить?

— Да вот на стол, Димочка, на стол. Дальше я сама.

Дима встал спиной к столу и осторожно распрямился — зеркало съехало на стол и встало. Дима снял форменную фуражку училища и тыльной стороны ладони провел по лбу, хотя совсем не вспотел. Вера отступила от стола на несколько шагов и, любуясь обновой, сказала:

— Да, красоту какую вот нашла.

И добавила мечтательно:

— Где бы еще холодильник найти.

Иначе как шутку воспринять это нельзя было, но Дима оставался серьезным:

— Холодильник не достать. Редкость. Только у шишек в доме холодильники есть. Да и дорого... А я знаю, чем холодильник заменить можно. Я сделаю, но только завтра, хорошо? Тетка в деревню укатила, завтра ее не будет, значит, и у меня никакой работы по дому не предвидится. Я и сделаю. Ну, до завтра?

— До завтра, Димочка, до завтра, — Вера отвечала почти скороговоркой, думая о предстоящей работе с зеркалом.

Закрыв за Димой дверь, она первым делом достала книгу «Полезные советы» и стала листать. Ага! Вот о зеркалах! «Одну столовую ложку нашатырного спирта смешайте с мелом или с зубным порошком до образования кашицы, — читала она. — Кашицей смажьте поверхность зеркала, затем смойте и протрите мягкой тряпкой, лучше фланелевой. Следите, чтобы воды было немного. Чистое зеркало хорошо смочить разведенной в воде бельевой синькой. После всего насухо протрите бумагой... Протертое разрезанной пополам луковицей зеркало мухи не засиживают...» От последнего совета Вера поморщилась: «Нет уж, лучше чаще протирать буду, чем луковый дух повиснет в комнате». Перевернув несколько страниц, Вера снова погрузилась в чтение: «Дубовую мебель чистят теплым пивом. На один стакан пива надо взять одну чайную ложку сахарного песка, добавить воска. Смесь прокипятить. Полученной жидкостью протереть мебель. После высыхания отполировать мягкой тряпкой». Количество воска не указывалось. Но это не имело значения: воска у Веры не было. И вообще из всего перечисленного в доме обнаружили только зубной порошок и лук, даже синьку не успела купить Вера. «Ладно, — рассуждала она, — нашатырь в аптеке возьму, синьку и так собиралась купить, с пи-

вом тоже ясно, но воск! Воск где достать? Да и не получится, наверное, самой такую раму в порядок привести — вон сколько проплешин».

Однако откладывать работу на воскресенье не хотелось, и Вера поспешила в аптеку, надеясь заскочить по дороге и в хозяйственный магазин за синькой. Обернулась быстро. Дома переоделась в халат, а платье перекинула через спинку стула. Совет из книги помог: зеркало вскоре сверкало, лишь позеленевший уголок не удалось ей отчистить. Раму же Вера решила пока не трогать, что-то говорило ей, что пиво с воском здесь не помогут. «Может, и правда лаком покрыть лучше? — думала она. — Только никакого краснодеревщика не нужно. Попытаюсь сама».

Платье оставалось на спинке стула. Решив перевесить его, Вера взяла платье в руки и по привычке встряхнула. Из кармана на пол, звеня и подпрыгивая, упал обнаруженный днем медальон. Вера подняла его и еще раз осмотрела. «Какой красивый! И что же все-таки означают эти ноты? Надо, надо у Елизаветы Аристарховны спросить», — решила она.

Не без смущения постучалась Вера к соседке. Взяв в руки медальон, Елизавете Аристарховна, долго смотрела на него, затем медленно подняла на Веру взгляд.

— Верочка, голубушка, откуда он у вас? Я, конечно, знаю, что означают эти ноты, но откуда у вас медальон? — спросила она очень тихо.

— Ой, это целая история! Приключенческое кино!

Вера сбивчиво принялась рассказывать о сарае, об обнаруженном тайнике и зеркале, о выпавшем медальоне.

— Зеркало, говорите? — все так же тихо продолжала Елизавета Аристарховна. — Где же оно? У вас? Нельзя ли взглянуть?

— Конечно-конечно! Пошлите!

— Пойдемте, — мягко и ненавязчиво поправила Веру соседка. — А пошлить мы не станем.

В комнате Веры она встала перед зеркалом, едва касаясь пальцами, прошлась по раме, и Вере показалось, что это зеркало знакомо соседке.

— Так вот куда спрятал его Мустафа, — прошептала Елизавета Аристарховна. Прошептала для себя, но Вера расслышала и догадалась:

— Это что же, ваше зеркало? Почему его в сарае закопали?.. Если ваше, я его вам верну... Честное слово!

Но Елизавета Аристарховна жестом остановила Веру:

— Вот что мы сделаем, голубушка. Зеркало мне знакомо, но пусть оно останется у вас. Вам, молодой, оно нужнее. К тому же вы изрядно над ним потрудились, — улыбнулась она. — Зеркало вы оставите себе, а медальон уж отдайте мне. Вам он не нужен, вам он ничего не говорит, а мне... Словом, вам зеркало, а мне — медальон.

— Да-да, конечно, — закивала Вера, — забирайте... А что там написано?

— Там — слова, — только и сказала Елизавета Аристарховна и ушла к себе.

«Там слова, — повторила она уже у себя в комнате. — Слова». Со всей ясностью видела она сейчас того смешного долговязого студента университета, который вдруг решил в пятнадцатом году уйти на германскую войну вольноопределяющимся. Расставание было коротким: он неуклюже сунул ей в руки медальон и убежал. У себя в комнате Лиза Головина рассмотрела подарок — и улыбнулась и покраснела одновременно. Она узнала в этих нотах на медальоне мелодию, услышала ее. А с нею и слова арии князя Елецкого из «Пиковой дамы». Это было трогательное и наивное объяснение в любви. Шла война — вести о студенте больше не приходили.

* * *

Ко второму году революции Лизанька Головина осталась в огромной квартире вдвоем с бабушкой — графиней Марией Андреевной. Строго говоря, вдвоем они остались много раньше, после того, как летом девятьсот шестого года родители не вернулись из усадьбы в тверском имении: их просто не стало. Не стало и самой усадьбы: ее спалили взбунтовавшиеся мужики. Спалили, как передавали, вместе с господами. Следствие было скорым: кого-то казнили, кого-то пустили этапом; скорыми были и похороны. Старая графиня перенесла потерю сына и невестки стойко, сказав лишь: «Это за все добро, что Софи делала им». После чего замкнулась в себе, проводя все вечера за пасьянсами. Лизаньку же определили в недавно открывшийся для девиц институт имени императора Александра III Миротворца и в память императрицы Екатерины Великой. Определили как сироту на казенный кошт — дальняя родственница княгиня Вера Юрьевна споспешествовала.

Лизет помнила все — как вошла вместе с княгиней в огромное белое здание бывшего Запасного дворца, как княгиня уехала, а Лиза больше всего удивилась тому, что ночевать отныне ей придется не в своей отдельной комнате, а в общем дортуаре вместе с такими же испуганными девочками. Помнила тот холодный дортуар, температура воздуха в котором не поднималась выше десяти градусов по Цельсию, а спать приходилось на жестких кроватях с тонкими тюфяками и легкими белыми байковыми одеялами с едва заметным ворсом. Помнила, что умывались воспитанницы холодной водой, помнила строгий режим, установленный в институте. И все же именно там среди таких же несчастных подруг замкнувшаяся было в себе молодая графиня Лизет Головина оттаяла. Она полюбила институт, который называли Патриотическим, и гордились тем, что в форменной одежде воспитанниц — единственных в империи — были цвета государственного флага. Полюбила уроки со строгими учителями, полюбили и начальницу института Ольгу Анатольевну. А как любили они обязательные посещения музея изящных искусств!

Воспитанницы быстро подружились, по вечерам в дортуаре делились секретами и шептались о том, что из Запасного дворца — это доподлинно известно! — ведет подземный ход в Кремль. А став старше, они старались, как бы ненароком, пересечься в коридорах с инспектором музыки в дни его посещения института. Инспектором был композитор Сергей Рахманинов. Мадмуазель Головину как успешно окончившую институт воспитанницу оставили пепиньеркой, готовили к педагогической службе. Все рухнуло в одночасье. И Лиза сидела теперь с бабушкой в большой, плохо отапливаемой квартире в холодной и темной осенней Москве, где давно не зажигали фонарей.

К суровым условиям жизни воспитанница института Лиза Головина привыкла, не была неженкой и старая графиня, но сейчас, как и в первые дни после тверского несчастья, пребывала в удрученном состоянии, большей частью молчала и, как прежде, все раскладывала пасьянсы. Знала графиня, что недолго ей с внучкой быть хозяйками в своей квартире. Потому что видела, что происходило в двух соседних. Из одной вместе с семьей исчез адвокат Кац, милейший Абрам Соломонович, в другой одинокого профессора философии Алексея Ивановича Пульхритудова переселили в одну комнату, ту, где была библиотека профессора, остальные же комнаты, как и комнаты в квартире Каца, заняли новые жильцы. Они поднимались в квартиру через черный ход, громко разговаривали и смеялись, громко хлопали дверями и постоянно лузгали семена подсолнечника, устилая все вокруг шелухой.

— К Булыгиным новых жильцов подселили. Это у них уплотнением зовется, — проворчала как-то Мария Андреевна. — Жди, Лизанька, и к нам поделят.

Но не только уплотнения ждала старая графиня. Ждала она и другой беды — реквизиторов. Она уже знала, что ходят по домам и квартирам организованные группы и конфискует у владельцев все, что посчитают лишним. Кто-то в каких-то кабинетах определил, сколько каждому из жильцов необходимо белья (нижнего и постельного), сколько платьев, рубашек, брюк, башмаков, сколько посуды. Были составлены инструкции, их раздали реквизиционным командам, и те приступили к делу. Необходимый минимум оставляли, остальное же забирали. Но бумага с печатью часто была лишь прикрытием, и реквизиторы сами определяли, что и сколько им забирать, кто-то находил особенное удовольствие в глумлении над жертвой. У профессора Семиреченского, очевидно прельстившись черепаховым футляром, забрали пенсне, оставив профессору только монокль.

— Декреты Советской власти и одним глазом читать сможешь, профессор. А больше и не надо. Книжки эти, поди, уж прочитал? — указал на полки человек в куртке с чужого плеча и захохотал.

Таких-то гостей и ждала Мария Андреевна со дня на день. Она, по обыкновению, сидела за пасьянсом, как вдруг резко выпрямилась и громко произнесла:

— Зеркала не отдам!

Помолчав немного, добавила уже тише:

— Надо будет спрятать.

Лиза поняла, о каком зеркале идет речь. Его она знала с младенчества: трехстворчатое, в резной деревянной раме и с тремя ящичками внизу: маленькими боковыми и большим посередине. Что-то вроде настольного трюмо. Лиза знала, что Мария Андреевна очень дорожит им, но все же спросила почти весело:

— Изю всех вещей, изю всей мебели вы, бабушка, отчего-то дорожите именно этим старым зеркалом. Отчего? Неужто романтическая история какаю?

— Не смей смеяться и шутить! — резко ответила графиня. — Оно мне дороже всего.

— Чем же?

— Деда твоего в нем я увидела. Дважды.

Сказала резко, так, чтобы отстала внучка, но видя в ее взгляде смущение, раскаяние и сожаление, рассказала.

Баловство было, конечно, девичьи шалости: гадали барышни в крещенский вечер. А Мари вдруг и впрямь увидела в зеркале молодого офицера. Барышни похихикали, Мари слегка зарделась, но не прошло и полугода, как на балу ее пригласил на мазурку кавалерийский поручик. Мари подняла взгляд — и сердце ее упало: он! Как дагеротип, похож на того, в зеркале. «Это судьба», — решила Мари.

В туркестанскую кампанию от мужа долго не было известий, позже доходили слухи и о гибели подполковника Головина. Графиня не верила. Однажды ночью в свете свечи она увидела его в зеркале, вскрикнула, едва не лишившись чувств. На следующий день пополудни в прихожей зазвякал колокольчик. Мария Андреевна догадалась раньше, чем услышала вскрик служанки: «Ахти! Барин пожаловали!»

— Не отдам зеркала! — решительно повторила Мария Андреевна, так же решительно поднялась, вынула все три ящика, выгрузила их содержимое прямо на стол, задвинула ящики обратно и встала. Что станет она делать дальше, графиня не представляла. Ясно, что зеркало надо спрятать. Но как? Куда? Кто поможет снести тяжелое зеркало вниз?

Из подъезда донесся голос дворника. Мария Андреевна бросилась к двери и, едва приоткрыв ее, закричала наружу:

— Мустафа! Мустафа! Зайди сюда!

В скором времени в прихожей смущенно перетаптывался дворник. Но не так прост был пожилой татарин Мустафа Ильгизов, прослуживший в этом дворе и в этом доме с отрочества и перенявший ремесло от отца. Он понял, что «старый барынь» хочет поручить ему важное дело, может быть даже тайное, и, пряча хитрую улыбку, уже думал, что сможет получить от хозяйки и как бы при этом не продешевить. Но хозяйка молчала. Строгая, властная, умевшая давать распоряжения и приказания, графиня Головина сейчас, казалось, не знает, как приказать Мустафе снести зеркало вниз к сараям и не вызвать у него при этом подозрений. На помощь пришла Лиза.

— Мустафа, бабушка хочет сохранить это зеркало. Скоро совсем холодно станет, и бабушка опасается, что не удержится и прикажет разрубить эту красивую раму. Спусти зеркало в сарай и спрячь там за дровами.

Мустафа поднял взгляд на Лизавету. Одиноким пожилой татарин, еще в молодости потерявший жену и дочь, питал к молодой барышне чувства, близкие к отцовским. Он кивнул, поняв все, как надо.

— Защим? Защим боишься, барынь? — скороговоркой посыпался его тонкий голос. — Тряпка найди, зиркал закрыть нада. Мустафа рогож принесет.

С тем он ушел, а Мария Андреевна бросилась к комоду, достала несколько простыней и пододеяльников и принялась обматывать ими зеркало.

— Как ловко у вас получается, бабушка, — восхищенно сказала Лиза. — Дайте-ка и я.

Когда пришел с рогожей Мустафа, дело было сделано — и весьма аккуратно и добротнo. Дворник осмотрел получившуюся конструкцию со всех сторон, удовлетворенно крикнул и принялся обворачивать поверх простыней рогожей.

— Прятать нада, барынь, — сказал он, завершив работу. — Сарай нельзя. Защим сарай? Мустафа будет прятать.

Взвалив упакованное таким образом зеркало на спину, он обернулся, то ли подмигнув, то ли улыбнувшись Лизе, осторожно пошел вниз по лестнице.

— Как думаешь, Лиза, он не выдаст? — спросила Мария Андреевна.

— Почему-то я верю ему.

На следующий день в квартиру к Головиным пришли реквизиторы и ушли, унося с собой конфискованные вещи, вечером в комнатах квартиры появились новые жильцы, Мария Андреевна с внучкой переместились в одну комнату, где оставалось пианино. Через день пронеслась весть: в уличной перестрелке убит Мустафа. Ни Мария Андреевна, ни Лиза так и не спросили у дворника, куда именно он спрятал зеркало. А медальон Лиза еще раньше спрятала от глаз бабушки за задней стенкой ящичка. Бабушка ведь тоже умела читать ноты с листа.

5

Проснувшись, Вера поняла, что мысль о новоселье не покидала. Как ни верти, а отметить его придется. Что с того, что денег недостаточно?! Традиции надо чтить, это любой скажет. Денег нет... Впрочем, как с деньгами решить, Вера, пожалуй, придумала: возьмет в кассе взаимопомощи. Потом выплатит. Скоро зарплата подоспеет, а там, глядишь, и шить на заказ получится. Грязнова намекнула, что могла бы заказчиц подыскать. А пока надо было вжиться в мир этой коммунальной квартиры и ужиться с соседями, а она познакомилась пока только с Елизаветой Аристарховной. Грязнова и Дима с его теткой не в счет — те живут в квартире напротив, тоже коммунальной.

В соседней комнате громко работал репродуктор. С одиноким пожилым соседом Вера еще не познакомилась, но от Грязновой знала, что Владимир Никифорович всю жизнь проработал на заводе клепальщиком, потому глуховат, вот и «орет у него радио день и ночь». У Веры в комнате тоже висел репродуктор, но сколько ни крутила она ручку, черная тарелка молчала.

Вера прислушалась: репродуктор соседа передавал утренние последние известия. «В какую же рань поднялась! — с досадой подумала Вера. — Выходной же сегодня. Могла бы выспаться». Вера, как и многие по привычке, называла воскресенье выходным днем. Московское время семь часов пятнадцать минут, — сообщил репродуктор. А Вера подумала: «Нет худа без добра. Хоть время буду узнавать от этого орущего радио. Пока часы не купила».

Однако надо было и позавтракать. Вчера после работы она так спешила домой, так надеялась быстро разделаться с уборкой в сарае, что пробежала мимо гастронома. А потом, взясь с зеркалом, вовсе закрутилась. Когда же спохватилась, идти в магазин было поздно.

С надеждой посмотрела Вера на картонную коробку в углу, в которую после вселения в комнату Вера сложила оставшиеся продукты. Взглянула внутрь — не густо: немного перловой крупы и четвертинка хлеба. Неожиданно наткнулась на куриное яйцо. Ну конечно! Еще в пятницу в обеденный перерыв взяла она в буфете два вареных яйца; одно съела, а другое оставила «на потом», оставила — и забыла. Задумавшись, Вера крутанула яйцо — оно быстро завертелось. Точно: вареное! В детстве научил отец маленькую Веру: если крутануть яйцо и оно завертится, значит, вареное; сырые яйца так вращаться не могут. Вера улыбнулась этому детскому воспоминанию. Итак, есть яйцо, есть хлеб, соли, правда, нет, но это не беда — выбирать ведь не приходится. Запить же все можно кипятком без сахара. И — за дела!

Планы на воскресенье пришлось перекроить. Прежде всего отказаться от похода в кино. Надо сходить в магазин, надо познакомиться с соседями по квартире! Пять комнат в ней, а она знакома только с Елизаветой Аристарховной, да о Владимире Никифоровиче ей Грязнова рассказала. Одна комната опечатана, следовательно, никто пока в ней не живет; другая хоть и без печатей, не слышно в ней никого. Значит, обход начинать надо с глуховатого соседа.

Вера подошла к его двери. Репродуктор в комнате по-прежнему надрывался. Вера постучалась — никто не отозвался. Она постучалась во второй раз, спросила, как ей показалось, громко:

— Владимир Никифорович, к вам можно?

И снова тишина в ответ. Нерешительно Вера потянула на себя ручку двери. Дверь открылась — сосед в полосатой пижаме сидел на диване и, не мигая, смотрел на дверь, в которой стояла Вера.

— Доброе утро, Владимир Никифорович, — попыталась она перекричать репродуктор. Сосед, все так же, не мигая, глядя на гостью, что-то сказал. Вера не расслышала и поздоровалась снова.

Досадливо махнув рукой, Владимир Никифорович встал, выдернул шнур репродуктора из розетки и крикнул, сурово глядя на Веру:

— Глухая, что ли? Молодая, а не слышит! Спрашиваю: ты кто?

Подчиняясь этой заданной громкости, Вера тоже крикнула:

— Соседка ваша. Позавчера вселилась, познакомиться зашла.

— Ты что кричишь? Здесь глухих нет! Кричит она. Соседка она. И что? Что надо? — Владимир Никифорович по-прежнему смотрел и спрашивал сурово.

— Я в магазин сейчас, — немного тушуясь, ответила Вера. — Может, вам чего надо? Я могу купить. Купить и принести.

— Может она... Ничего не надо... Штобы ты купила, нужно карточки свои тебе отдать. И деньги. А я тебя знаю? Вдруг с ними — с карточками и деньгами — сможешься. Ищи потом!

— Да карточки ведь отменили уже. — растерялась Вера. — И куда я скроюсь, когда здесь прописана?! Вот и Елизавета Аристарховна меня знает. Можете у нее спросить.

— Аристарховна... Это с пианином которая? Буду я еще со всякими бывшими разговаривать! Сказал, ничего мне от тебя не надо, стало не надо. Ступай давай.

Ничего не оставалось Вере другого, как быстрее уйти.

На лестничной площадке она столкнулась с Евдокией Павловной. Та посмотрела на Веру, словно знала что-то, и спросила напрямик:

— Что, прогнал тебя Никифорыч? Он у нас такой. Да не удивляйся ты, что знаю: уж больно громок твой сосед. Только ты не серчай на него. Не злой он вовсе, жизнь его потрепала. Ты не тушуйся: он поорет, поорет — да и отойдет. Сама за покупками, что ли?

— Да, в магазин мне надо.

— И я туда. Потопали вместе. За разговором и путь короче.

Некоторое время шли молча. Вера чувствовала, что разговорчивая соседка терпит через силу, что надо ей говорить: что-то сообщить, о чем-то разузнать. Заметила Вера и то, что идет Грязнова, словно насупившись, что тяготит ее молчание, но при этом начинать разговор первой не хочет, чтобы не возомнила молодая, мол, навязывается старуха. И Вера начала первой:

— Евдокия Павловна, а кто у нас в четвертой комнате живет? Дверь не опечатана, но за ней ничего не слышно.

— И не услышишь, — облегченно, словно обрадовавшись тому, что разговор продолжается, выдохнула Грязнова. — Пока не услышишь. Уехали они на неделю. Военный там живет, жена у него и две дочки. И комната у них не одна, а две: одна через другую.

Не переставая говорить о чем-то, тут же по ходу спрашивая что-то у Веры и не дождавшись ответа, продолжая свой рассказ, Грязнова довела Веру до магазина.

— Ладно, пришли вроде, — внезапно остановилась она. — Здесь, как говорится, тебе налево, мне направо. Ты молодая, управись быстро — вот и список в руках готовый, а мне походить надо, а после заглянуть кое-куда. Бывай.

Вера стояла ошеломленная. Она не могла так быстро переварить все новости, какие высыпала на нее соседка. А еще удивила Веру способность Грязновой заметить мимоходом детали. Ведь не только заметила в руках листок бумаги, но и поняла, что это список покупок, хоть и тархтела при этом без умолку.

Накупила Вера много — не только продукты. Наверное, впервые за последние дни осознала она, что общежитское существование позади и что теперь надо самой обустраивать свой быт. От этого на сердце стало радостно и беспокойно одновременно. По дороге домой зашла зачем-то в канцелярский магазин. Ничего покупать она не собиралась, потому и топталась нерешительно. Но подумала, что некрасиво будет уйти без покупок, потому и купила тонкую школьную тетрадь и бутылочку клея. А потом всю дорогу до дома корила себя: «И зачем мне клей?»

Перед дверью квартиры остановилась, впервые внимательно осмотрела ее: пять почтовых ящиков. На ящиках наклеены полоски бумаги с фамилиями владельцев. «Е. А. Головина», — читала Вера. Это ясно, это Елизавета Аристарховна, так, даль-

ше — «В. Н. Карпов», это глуховатый сосед. На следующем ящике значилось: «Краюк Иван Васильевич», именно так — с полными именем и отчеством. «Надо же, какой важный, — подумала Вера. — наверное, тот военный и есть».

А на дверном наличнике одна под другой выстроились пять кнопок звонка. И над каждой бирка: «Головина», «Краюк». Две кнопки никак обозначены. «И звонок у каждого свой, — догадалась Вера. — Один ящик и одна кнопка из той, опечатанной квартиры. Стало быть, один из оставшихся мой. Надо бирочки наклеить».

Откладывать не стала. В своей комнате, даже не выгрузив на стол покупки, вырвала из середины купленной тетради лист, отрезала от него одну широкую на всю длину полоску и другую, небольшую. Взяла химический карандаш, послынула его и стала выводить: «Проскурина Вера Алексеевна». Это на большой полоске, на маленькой же убористо написала «Проскурина».

Справившись с этим и прихватив бутылочку с клеем, Вера вышла на лестничную площадку и остановилась в растерянности. Она так решительно нацелилась на работу, так стремительно приготовила бирки, а теперь стояла и думала: как узнать, где чей ящик. Так и стояла, держа в одной руке бутылочку с клеем, в другой — бумажные полоски.

— Смотри-ка, не наврала! Действительно соседка, — громко и гулко разнеслось по подъезду.

Вера обернулась. Сосед Владимир Никифорович стоял, опираясь на толстую трость, и изо всех сил пытался скрыть улыбку:

— Над чем задумалась?

— Да вот не знаю, куда приклеить. Который из них мой?

Карпов хмыкнул:

— С ящиком и думать нечего — выбирай любой. Все одно другая квартира опечатана. Звать-то тебя как?

— Вера. Проскурина Вера.

— Ну, наклеивай, Проскурина Вера. Мажь свою бирку и лепи. Клей я подержу.

Не без усилий вынула Вера из горлышка бутылки плотную каучуковую пробку, бутылку наклонила слегка, чтобы клей не выплеснулся огромной кляксой, торцом пробки аккуратно размазала клей по всей бумажной полоске, приложила ее к ящику, прищурилась, размещая полоску ровно, без перекоса, и принялась разглаживать обеими руками от центра к краям, успев при этом подумать: «Вот и пригодились и клей, и тетрадка».

— А ты умеешь работать, Вера... Вера Алексеевна, — прочитал на бирке отчество Владимир Никифорович. — Еще что есть?

— Со звонками бы разобраться.

— И это сделаем. Дуй сейчас в свою комнату и слушай.

Вера кинулась в комнату и для верности эксперимента прикрыла дверь. Звонок залился трелью сразу.

— Попали! Сразу попали, Владимир Никифорович! — радостная Вера выскочила на лестничную площадку.

— Попал? Тогда прямо сверху этой и наклеивай свою, — указал Карпов на кнопку. Вера с довольной улыбкой наклеила бирку над кнопкой звонка.

— Спасибо, Владимир Никифорович, теперь уж точно можно считать, что я здесь живу.

— Ладно уж, «спасибо»... Может, еще чего не сделано у тебя?

— Вроде все сделано... Ах, да! Радио не работает. Уж я крутила, крутила ручку — ничего. А откуда мастеров вызывать, не знаю.

— Веди, показывай, — шагнул в прихожую Владимир Никифорович.

В комнате он, к удивлению Веры, не прикоснулся ни к висящей тарелке репродуктора, ни к ручке громкости, а первым делом выдернул шнур из розетки и стал этот шнур ощупывать. Кивнув своим мыслям, достал из кармана перочинный нож. Необычный нож — с двумя лезвиями, шилом, ножницами, отверткой и многими другими приспособлениями. Вера моргнуть не успела, как Карпов полоснул ножом по проводу и отрезал вилку.

— Ой! — Вера даже вскрикнула.

— Чего ойкаешь? Не дрейфь. Женщина и провода — природные враги. И что это вы так электричества боитесь? Обрыв здесь у тебя. Щас вилочку подправим — и полный порядок будет.

Орудовал своим диковинным ножом Владимир Никифорович ловко. Вера внимательно смотрела, как он сначала открутил штырьки вилки и вытряхнул остатки проводов себе на ладонь.

— Не на пол же бросать, — пояснил он.

Вера понимающе кивнула и протянула ему обе ладони, сложенные лодочкой. В них и перекочевал мусор с ладони Карпова. Затем он сделал короткий надрез вдоль провода, раздвинул образовавшиеся концы, зачистил их, свернул кольцом каждый и присоединил к штырям вилки. Вера смотрела, как завороженная.

— Проверяй, Вера Алексеевна, — протянул ей провод Карпов.

Вера вставила вилку в розетку — из репродуктора полилась песня.

— Вот спасибо, Владимир Никифорович! — всплеснула руками Вера. Остатки провода высыпались при этом на пол. — Спасибо. Теперь я и время знать буду, и последние известия, и вообще...

— Да что уж там. Будь здорова, Вера Алексеевна.

Держа в руке трость, но не опираясь на нее, Карпов прошел в свою комнату.

Вера села на стул и обвела взглядом свое новое жилище. Оно ей все больше нравилось, она чувствовала, что ей хочется обживать свою комнату, обустраивать свое, Веры Проскуриной, жилье. Раздался звонок. От неожиданности Вера вздрогнула. Ну да! Конечно! Она же наклеила бирку. Теперь всегда так будет. Теперь каждый, кто придет к ней, будет нажимать именно на эту кнопку. И это будет звонок в ее комнату. Только в ее.

Вера поспешила к входной двери и открыла ее. На пороге стоял Дима с фанерным посылочным ящиком под мышкой и молотком в руке.

— Дима? Что это? Что ты собираешься здесь приколачивать? — весело спросила Вера.

— Я же обещал, что с холодильником что-то придумаю, — Дима топтался на пороге, не решаясь переступить его.

— Ну, пойдем. Только что это за странный такой холодильник? — спросила Вера, проводя Диму в комнату.

И Дима растерялся, расстроился. Он готовился к этой встрече, в его воображении сложилась картинка, как именно он приспособит посылочный ящик, но простой и бесхитростный вопрос Веры вернул к действительности. И правда: что за чушь пытаться сделать холодильник из фанерного ящика! Дима стал сбивчиво объяснять, говорил, словно оправдывался:

— Ну да... Это, конечно, не совсем... Это я... Я в общаге у друзей видел. Они приколотили ящик за окном. Когда на улице прохладно, продукты хорошо сохраняются. А зимой вообще здорово. Хотя...

И Вера поняла. Поняла, что надо поддержать мальчишку, что осмеять его нельзя никак.

— А что? И впрямь холодильник, — сказала она убежденно. — Осенью и зимой лучше не придумаешь. Зимой и вовсе пельмени морозить можно. А пока тепло, продукты я буду в тазике с холодной водой хранить. Приколачивай.

Из репродуктора лилась песня. Работу Дима закончил давно и теперь стоял, держа молоток в опущенной руке, и слушал.

— Тебе нравится? — спросила вдруг Вера. — Я тоже эту песню люблю. Спасибо Владимиру Никифоровичу — радио починил. И делов-то оказалось — тьфу!

— А что, радио не работало? Что же раньше не сказали? Я бы починил, — Дима явно расстроился. Очень не хотелось ему расставаться с придуманной ролью главного и единственного технического покровителя Веры.

— Да все хорошо, Дима, все замечательно. Спасибо тебе за помощь. Что-то ты сделал, что-то другие. Это не страшно.

Что-то говорило Вере: этого мальчика надо отправлять домой. Она проводила его до входной двери и осталась стоять в проеме до тех пор, пока парень не вошел в квартиру. Но в это время оттуда вышла Грязнова. Она окинула взглядом шмыгнувшего внутрь Диму и пристально посмотрела на Веру. Так они и стояли на лестничной площадке, молча глядя друг на друга. Молчание затянулось. Надо было что-то сказать. И Вера сказала:

— День у меня сегодня ремонтный какой-то. Сперва Владимир Никифорович радио починил, теперь Димка с ящиком этим...

Грязнова сначала не ответила, но, спускаясь по лестнице, тихо — то ли себе, то ли все-таки Вере — пробурчала:

— Ох, не к добру что-то зачастил к тебе пацан этот. Не к добру.

И покачала головой. Как показалось Вере, покачала неодобрительно.

6

Новоселье! Кто придумал этот праздник?! Какой дикарь первым обнаружил пустую пещеру и, найдя ее пригодной для проживания, не рассказал о находке всему племени, а притащил туда ничего не понимающую, а потому упирающуюся подругу? Правда, упиралась она наверняка недолго, а быстро поняла все преимущества собственного жилища и принялась его обустраивать. Не она ли, распираемая неодолимым желанием похвастаться перед соплеменниками обретенным комфортом, надоумила мужа пойти к сородичам и пригласить их поглазеть на новое жилье? А тот пришел в племя и с порога заявил, мол, у него с подругой отныне новое жилье, и они будут жить там. Сами по себе. И, горделиво выпятив грудь, трижды стукнул в нее кулаком. Как знать: может, оскорбленные вероломством сородича и снедаемые завистью люди забросали бы наглеца камнями и обглоданными костями, если бы не старый и мудрый колдун племени. Отвел он хвостуна в сторону и сказал: «Не будь дураком и не буди лиха, пока оно тихо. А лучше пойдешь и добудешь козла пожирнее. Уж постарайся, постарайся. Пусть твоя женщина наготовит побольше мяса, а ты пригласишь всех в гости. И посмотри, что будет». История не сохранила подробностей разговора человека со своей женой, как неизвестно, долго ли она переваривала это предложение, прежде чем согласиться. Но раскопки показали, что мясо было съедено, а в пещере сохранились в большом количестве красивые раковины, молотки и рубила, принесенные в качестве подарков.

Вера, конечно, в такие исторические экскурсии не погружалась, но мысль о новоселье по-прежнему не давала ей покоя. Нужно было наконец решиться и перво-наперво составить список приглашенных. Хотя что его составлять, когда он давно в го-

лове! С работы пригласить подругу Риту и председателя месткома. Без нее и без профсоюза вообще не видеть бы ей комнаты. Хорошо бы и начальницу цеха пригласить, да не пойдет она. Теперь соседи. Из квартиры напротив — Евдокию Грязнову, тетку Димкину, Нину Семеновну, ну и сам парень пусть приходит. Из своей квартиры, конечно же, всех. Потому как все комнаты, кроме опечатанной, были уже обитаемы: недавно и Краюк Иван Васильевич с семьей вернулся.

О возвращении соседей Вера узнала утром. Она проснулась от странного стука в дверь — словно ударили плотным резиновым молотком, причем в нижнюю часть двери. Удары редкие с промежутком в одну-две минуты.

Вера встала, набросила поверх ночной сорочки халатик и подошла к двери. Он еще не успела достаточно широко раскрыть ее, как последовал новый удар. Дверь слегка сотряслась. Раскрыв дверь настежь, Вера увидела девочку лет трех. Та каталась на трехколесном велосипеде. Ездил девочка еще неуверенно, руль плохо слушался слабых ручек, вот и врзалась велосипедистка то в стены, то в двери соседей. А из кухни доносились голоса — мужской и женский. Встретившись взглядом с Верой и поняв, что делает она что-то неладное, девочка слезла с седла, оставив раму между ногами. Неуклюже топчась, развернула велосипед и поехала по направлению к кухне. Там, в очередной раз стукнувшись о косяк, скрылась за кухонной дверью. И тут же оттуда детский голос донес: «Тетя... Дверь». Почти сразу же на пороге кухни встала женщина. Невысокая, с короткой стрижкой темных волос, она, словно извиняясь, смотрела на Веру, вытирала руки о передник и тараторила:

— Вы, наверное, наша новая соседка? Неудобно как получилось... Недавно только на велосипед она села... Учится ездить... Валюша, выйди, поздоровайся с тетей.

Последнюю фразу она выкрикнула, повернувшись лицом в кухню. Оттуда вышла недавняя велосипедистка, встала за матерью и, выглядывая из-за ее бедра, молчала. Вера первой шагнула навстречу. Подошла, присела на корточки, погладила девочку по голове, сказала с улыбкой:

— Значит, ты Валя? А я тетя Вера. Вот мы и познакомились. Правда?

Девочка молча кивнула, а Вера, поднявшись, протянула соседке руку:

— Вера. Вера Проскурина.

— А это мы уже знаем. Прочитали на ящике, — донесся из кухни мужской голос, и в прихожую вышел человек, одетый, на взгляд Веры, странно: синяя армейская майка, заправленные в носки галифе на подтяжках, а на голове — тубетейка. Ее он время от времени поправлял, стараясь опустить ниже, как прикрывал что-то.

— А вы, наверное, Краюк. Иван Васильевич Краюк, — догадалась Вера.

— Точно так. Военнослужащий. А это моя жена Диана, — ответил сосед и приобнял жену за плечи.

— Иван Васильевич у нас сверхсрочник. Старшина, — ни с того ни с сего уточнила Диана.

Немного поморщившись, старшина посмотрел на жену сверху вниз и снова обратился к Вере:

— Вы заглядывайте к нам, если что. По-соседски, не стесняйтесь.

— Да-да, обращайтесь, если что нужно. Иван Васильевич и с дровами помочь сможет, и солдатиков, если что, организовать. Да, Иван Васильевич?

Краюк снова поморщился и кивнул неохотно.

— Ну и вы ко мне, — поспешила ответить Вера. — Правда, я еще не совсем обжилась. Ну, не буду вам мешать... До свидания, Валюша, — помахала она рукой девочке.

Валя пока еще по-прежнему робко помахала в ответ, когда Вера развернулась и пошла в свою комнату, крикнула ей вслед:

— А у меня еще сестренка есть. Таня. Только она старшая.

Вера оглянулась, улыбнулась и снова помахала. Когда она входила в комнату, до нее долетел недовольный шепот соседа:

— Что ты сразу: сверхсрочник... старшина? Помолчать не могла?

— А что такого? Ты ведь на самом деле старшина, — оправдывалась Диана. И, ласково посмотрев на мужа, погладила его по щеке. — Старшина. Самый настоящий, боевой.

Но тот лишь с досадой махнул рукой. Правда, Вера этого уже не видела.

В комнате она подошла к окну, посмотрела на прибитый Димой ящик, подумала, что какие-то продукты можно положить в него уже сейчас. И тут ее осенило: у них, у этих симпатичных людей возьмет она то, что ей надо. А нужно было то, без чего не отпраздновать ни новоселье, ни день рождения, ни свадьбу, ни, увы, устроить поминки. Вере нужны были стол, за которым расселись бы гости, и стулья, на которых гости сидели бы. Стол ведь нужен большой, раздвижной, ее, Веры, небольшой, почти квадратный стол для этого не годится. «Договориться нужно заранее, лучше сразу, сейчас, — решила Вера, — мало ли что потом? Вдруг самим соседям для чего-то понадобятся». Но идти тотчас после разговора на пороге кухни было неловко, и причиной этой неловкости был хозяин комнаты, старшина Краюк. С первой минуты сосед вселил в Веру странное чувство: то был не страх, не оцепенение, а, скорее, опасение. Опасалась Вера, что не сможет она при нем внятно и при этом спокойно и непринужденно выразить свою просьбу. Она была почти уверена, что сосед с минуты на минуту уйдет на службу, ведь у военных вечно то дежурство, то караул, то еще что. И действительно очень скоро услышала она в прихожей уверенную поступь человека в сапогах. Щелкнул замок входной двери — Вера, выждав еще минут пять, отправилась к соседке.

Та встретила ее приветливо и даже, как показалось Вере, радостно. Говорила Диана почти без умолку, то садясь в кресло, то вставая из него. Диана говорила, а Вера не могла понять, что же в словах соседки настораживает ее, что звучит не так.

— Можно будет для новоселья взять у вас стол и стулья? — спросила Вера.

Диана охотно кивала:

— В коем случае! В коем случае!

Вера знала, что, когда хотят резко отказать, говорят: «Ни в коем случае». Вера сама так говорила. Но то, что услышала она от Дианы... Нет! Никто из ее знакомых так не говорил. Не говорили так ни в одном из виденных ею фильмов, а Вера привыкла именно по кино сверять свою жизнь. Диана, невысокая, даже миниатюрная, с ненакрашенными губами и неподведенными глазами, с папилотками в волосах, казалась невзрачной, суетливо порхала по комнате, взмахивала руками и кивала. «Моль!» — неожиданно для себя определила Вера, а Диана все порхала и твердила: «В коем случае! В коем случае!» Впрочем, на все это можно было не обращать внимания: мало ли кто как говорит. Главное, что получено согласие и гостям будет где разместиться. Но это все же полдела. Как справить само новоселье?! Столько наготовить нужно! Одной, без помощников не справиться. К Диане за помощью обращаться уже неловко, с теткой Димы она недостаточно коротко знакома... Елизавета Аристарховна? Вера немного робела перед ней, такой непохожей на других. Фабричная подруга Рита, конечно, не откажет, но надежда на нее слабая. Заполошная Ритка какая-то, может вдруг в ответственный момент сорваться и убежать по своим делам, ничего не объяснив и даже не предупредив, может и вовсе забыть. Вот и получается: как ни верти, а без Евдокии Грязновой никуда.

Успела Вера заметить: стоит только подумать о соседке — та тут как тут. Поэтому не удивилась, когда на лестничной площадке столкнулась с Грязновой нос к носу.

— Ты что такая суматошная? Куда намылилась? — остановила Грязнова Веру.

— Ой, а я к вам как раз, — спохватилась Вера. — О помощи хочу вас просить.

Просить Грязнову помочь ей Вера решила минуту назад, но прозвучала просьба так, будто обдумана была заранее. И Вера заметила, что это Грязновой понравилось. Евдокия Павловна легко согласилась, правда, поинтересовалась, не обращалась ли Вера к Краюкам.

— Обращалась, — ответила Вера. — Дина мне стол и стулья дает. Неудобно как-то еще что просить.

— Уж и Дина! Уж по имени, — Грязнова смотрела испытующе. — Видно, и впрямь познакомились. Как тебе соседи?

— По-моему, очень добрые и хорошие... Только хозяин вот... Станный он. Он же военный? Сам так себя назвал. А когда Дина его старшиной назвала, чуть не рассердился. Я, конечно, плохо слышала, но ему не понравилось это. И тюбетейку свою не снимает. Мне показалось...

— Показалось ей... Знаешь, как старики говорят? «Когда кажется, перекреститься надо». А старшиной и ты его не называй. Не любит этого Василич.

— Но он ведь на самом деле старшина.

— Старшина. Только не любит он. Уж не знаю, как там на самом деле было, но больно хотел он младшего лейтенанта получить. Только не дали, обошли. То ли курсы какие-то не прошел, то ли экзамены не выдержал — не знаю, не разбираюсь. Но ты, если хочешь мирно по-соседски жить, не проболтайся, что знаешь об этом.

* * *

Гостей Вера созвала на субботу. Рассудила просто: суббота — день короткий, значит, будет у людей время не только в себя прийти после работы, но и принарядиться, да и на работу сразу после застолья топать не придется, еще выходной день останется. Все опасения Веры оказались напрасными: никто от приглашения не отказался, пришла даже председатель месткома Уланова — дама строгая и властная. Ее, Галину Петровну Уланову, некоторые, самые отчаянные острословы на фабрике за спиной называли ГПУ, именно так: ГэПэУ. Но не часто и не громко, только, что называется, в своем узком кругу, ибо понимали, куда могут привести такие шутки. Уланова пришла не с пустыми руками.

— Подарок тебе, Проскурина. От месткома, от трудового коллектива, — торжественно объявила она и вручила Вере большую, красиво упакованную коробку.

Вера с трудом скрывала смущение. Она не знала, как поступить с подарком. С одной стороны, очень хотелось узнать, что там в коробке, но, с другой, ведь бог знает, что подумать могут другие: некультурная Верка, скажут, сразу глазеть принялась. Она поблагодарила Уланову и поставила подарок на станину швейной машинки. Но Уланова не отходила.

— Ты, погляди, погляди, что коллектив тебе дарит, — сказала она. — Подарки надо смотреть сразу. А то вдруг не понравится. Возвращать придется.

Коротко хохотнув, Уланова обвела всех взглядом, приглашая посмеяться шутке, а Вера от этих слов еще больше смутилась и покраснела. Торопливо и неумело Вера распаковала коробку, а когда заглянула внутрь, снова вспыхнула. О таком она и не мечтала: в коробке тускло поблескивал фаянсовыми боками большой чайный сервиз.

— Галина Петровна, это же... это же самое, это очень нужно, — восхищенно бормотала Вера.

И ведь подарок впрямь оказался как нельзя кстати: почти всю посуду для застолья Вера одолжила у Елизаветы Аристарховны. Головина же и стол сервировала. Вера смотрела, как расставляет соседка тарелки, у каждой кладет нож и вилку, как «по росту» выстраивает рюмки, и любовалась работой. «Как в ресторане, честное слово, — думала Вера, — мне так никогда не сделать». Радовалась Вера не только красоте праздничного стола. Эта умелая и изящная сервировка отчасти скрашивала скромное, соответствующее времени и возможностям Веры угощение. Помогли и Грязнова, и Рита, которая решительно отставила все свои срочные и не очень срочные дела. Даже Владимир Никифорович не остался в стороне. Давно уже Вера купила абажур на свисающую над столом лампу, но не знала, как абажур этот подвесить. Владимир Никифорович пришел на помощь, и теперь по комнате Веры разливался приятный голубоватый свет.

Застолье только началось, и Грязнова, окинув взглядом сидящих, спросила у Нины Семеновны:

— А где твой племянник, Семеновна? Димку куда услала?

— И куда я его не усылала, — с плохо скрываемым недовольством ответила тетка. — Мало ли какие дела у парня могут быть. Да и что ему делать здесь с нами?!

Но в эту минуту дверь в комнату распахнулась, и на пороге встал улыбающийся Дима.

— Извините, задержался немного. Комсомольское собрание у нас было, — сказал он. — А это вам. С новосельем!

Он протянул Вере коробку, упакованную в серую бумагу, но с наклеенным на нее цветком. Цветок Дима вырезал из поздравительной открытки. Наученная недавним опытом Вера тут же коробку распаковала и заглянула внутрь.

— Ой, а что это? — подняла она на Диму недоуменный взгляд.

— Часы. Ходики.

— Здесь какие-то винтики, шестеренки...

— Ага, — Дима довольно улыбался. — Часы. Их собрать надо.

Вера по-прежнему переводила взгляд с одного гостя на другого.

— Ну-ка я гляну, — Краюк взял коробку из рук Веры. — И правда шестеренки. Ты что, парень, кружок «Умелые руки» организовать решил? Путьнее что-нибудь подарил бы.

— Я же говорю: это часы. Только их собрать надо, — голос Димы начинал дрожать.

— Вот я и говорю: путьнее надо было что-то дарить, настоящие часы хотя бы... А это что? Она сама, что ли, с отверткой сидеть будет?

Дима почувствовал, что руки у него начинают дрожать. Не мог же мальчик сказать этим взрослым, уже немного выпившим и ничего не понимавшим людям, что когда покупал этот набор, нес его Вере, в своих видениях собирал эти ходики вместе с Верой! Он едва не выхватил свой подарок из рук Краюка.

— Да я сам, сам соберу! Прямо сейчас! — выкрикнул он и выбежал вместе со своим подарком из комнаты.

Владимир Никифорович повернулся к Краюку:

— Что ты, старшина, на парня набросился? Откуда у него деньги на готовые часы?

Краюк ничего не ответил, но желваки его ходили красноречивее слов. Незнакомно, чем закончилась бы возникшая неловкость, если бы Елизавета Аристарховна не спросила вдруг:

— А что, друзья мои, нынче нового в кино? Что-нибудь интересное показывают в кинотеатрах? Я ведь почти не выхожу, вот и не знаю.

Расчет был точен. Тема оказалось близкой каждому, кто сидел за столом. Кино, как выяснилось, любили все. Они вмиг забыли о Диме, о недавней неловкости и стали наперебой рассказывать о новых фильмах, говорили увлеченно. И тут во время короткой паузы Вера встала:

— А ведь у меня жизнь — хоть кино снимай. Был у меня муж, в главке работал, да ушла я от него. Потому что адмирала встретила. Мы так любили, так любили! А муж развод не давал. Все боялся, вражина, что на его службе отразится. С мужем-то у меня детей не было, а с адмиралом... Потом адмирал погиб. Как в кино. Видели это кино? Прямо про мою жизнь. И ничего у меня от адмирала не осталось. Только сыночек Митенька. В Нахимовском он, моряком будет. Как отец.

— И что же мы нахимовца не видим? — недоверчиво спросил Краюк.

— А в походе он, в учебном...

— Странно... Если подсчитать... По возрасту не выходит, — бормотал Краюк, поднимаясь из-за стола.

Явно растроганная историей Диана спросила:

— А муж-то, с мужем что? Развелись?

— Да турнули его из главка. Приходил, юлил, просил вернуться, чтобы его восстановили. Не согласилась я. Не знаю, правильно или неправильно. На Север потом он уехал. Оттуда бумагу прислали: умер.

— Судьба-а-а, — сочувственно протянула Диана.

Краюк на минуту задержался, слушая эту историю, хмыкнул и вышел из комнаты, столкнувшись в дверях с Димой. Тот бережно нес собранные ходики. В одной руке он держал корпус часов, в другой — гирьку на цепи.

— Вот, готово! — заявил он с порога. — Куда вешать?

По голосу чувствовалось, что обида его еще не прошла.

— Да после повесишь, Дима, ты за стол садись, — примирительно сказала Вера.

— Нет, — упрямо буркнул Дима, — сперва закончить надо. Куда вешать?

— Куда? — Вера посмотрела на стены. — Вон на гвоздик повесь, — указала она на гвоздь, торчавший из стены с незапамятных времен.

Дима приподнялся на цыпочки. Повесил часы, поправил их так, чтобы маятник свисал перпендикулярно, и легко качнул его. Тихое тиканье разлилось по комнате, наполняя ее уютом.

— А ведь он Вере нашей новое ее время запустил, новую жизнь здесь запустил, — философски заметил Владимир Никифорович.

— И то правда! — откликнулась молчавшая до сих пор Уланова.

— А теперь точно все за стол! — Вера взяла Диму за руку и подвела к столу. — Садись здесь, рядом с тетей.

Гости ели, беседовали, только Диана время от времени беспокойно поглядывала на дверь. Ее муж не появлялся, а Диана заметила, что за столом нет и Риты.

— Ой, — спохватилась вдруг Вера, — Ритка ведь там на кухне с пирогом воет.

Она вышла из-за стола и, направляясь к двери, пояснила:

— Поздно поставили. Я ее попросила проследить. Схожу, помогу.

— И я с тобой! — вскочила Диана.

Но до кухни Диана не дошла. В прихожей она увидела мужа, выходящего из их комнаты. В руках Краюк держал вырванный из блокнота исписанный листок.

— Что же ты, Иван Васильевич, исчез из-за стола, ничего не сказавши? — едва не кинулась к нему Диана.

Краюк привычно приобнял жену за плечи и сказал довольно ласково:

— А ты, Диночка, почему забеспокоилась? Не все же можно вслух говорить, — и добавил шепотом: — В уборную мне надо было.

— Так долго? А это что? — Диана увидела в руках мужа листок бумаги и протянула к нему руку.

— Это так... Нужно, — Краюк торопливо спрятал листок в карман. — Пойдем-ка лучше за стол.

— Да-да, — подхватила Вера. — Диночка, вы с Иваном Васильевичем поразвлеките гостей. А мы с Ритой скоро. Пирог почти готов.

Супруги вошли в комнату и с порога объявили, что обещанный пирог поспеет с минуты на минуту, а хозяйка просила гостей не скучать.

— Вот и славно, — поднялась с места Уланова, — время для перекура есть.

Она подошла к окну, по-хозяйски отворила форточку, достала из сумочки пачку папирос, вынула одну, привычно, по-мужски заломила мундштук в двух местах и, держа папиросу между пальцами, выразительно посмотрела на мужчин. Первым спохватился Краюк. Он достал из кармана коробок спичек, потряс его у уха и подошел к Галине Петровне. Уланова снова раскрыла коробку:

— Угощайтесь

— Благодарствую, — Краюк достал папиросу, постучал концом мундштука по подоконнику, дунул в мундштук, закусил его, одновременно сжав у зубов пальцами, чиркнул спичкой и, дав прикурить Улановой, закурил сам и после этого поднес руку к голове, словно хотел тюбетейку поправить. Уланова затянулась, выпустила дым, разгоняя его перед лицом ладонью, спросила:

— Что вы там бормотали про возраст? Мол, не сходится у вас...

— Странное что-то эта Вера рассказала. Не сходится у меня по возрасту. Либо она не такая молодая, либо с мальчишкой что-то не так. Слишком мал получается. Вот я даже на бумаге подсчитал, — Краюк вынул из кармана спрятанный туда листок.

— Не поверили ей?

— Не люблю я сказки. Мне надо, чтобы все прямо, параллельно, перпендикулярно и ясно. Как в армии.

— Дайте-ка мне вашу бумажку, — Уланова едва не вырвала листок из рук старшины, поглядела в него. — Действительно странно. Надо будет ее личное дело поднять. Листок я заберу. Не возражаете?

— Да берите, если нужно.

— Нужно. Проверим.

— Что там проверять? — резко развернувшись, сказала громко Грязнова. — Что проверять? Нет у нее мужа. И не было никогда. Адмирала тоже не было. Придумала Верка все. Кино насмотрелась. А ребеночек правда был. Только помер он. От скарлатины ли, от кори — не знаю.

— И как это вы, Евдокия Павловна все обо всех знаете? Кажется, дальше двора и магазина никуда не ходите, — Елизавета Аристарховна спросила тихо, но достаточно жестко.

— Если вы неделями сидите в своей комнате за пианином, не выходите никуда и ничем не интересуетесь, это ваше дело, — огрызнулась Грязнова, — а я новости люблю. Да они сами ко мне липнут, новости эти.

Грязнова коротко засмеялась, окидывая всех взглядом. Дима слушал все с широко раскрытыми глазами. Если бы Нина Семеновна посмотрела на племянника внимательно, то заметила бы, как он побледнел. Но она смотрела на споривших,

опасаясь, что может разразиться новый скандал. Только Владимир Никифорович, не обращая ни на кого внимания, поедал содержимое своей тарелки. Ни слова из всех разговоров он не слышал.

Скандала не случилось. Потому что в это время вошли Вера с Ритой. Они несли поднос с пирогом. По комнате растекся дразнящий аромат. Все задвигались, принялись передвигать на столе приборы, освобождая место для подноса.

— Хороший у нас вечер, да жаль, музыки нет, веселее было бы, — Уланова, похоже, выразила общее настроение.

— Хорошо бы музыку, — согласилась Вера, — но кто будет играть? И на чем? А у меня ни патефона, ни пластинок.

— Ну, на чем сыграть, мы найдем, — пробасил Краюк. — у меня акардиен есть. Хороший, трофейный. Из Австрии вез. Но я ни в зуб ногой.

— Несите, Иван Васильевич, свой аккордеон. Будет вам и музыкант, — неожидан-но для всех сказала Елизавета Аристарховна.

— А вы и на нем умеете? — восхищенно спросила Вера.

— Пришлось, детка, научиться. Несите, Иван Васильевич.

Краюк пошел за инструментом, а Нина Семеновна, улучшив момент, повернулась к племяннику:

— И откуда у тебя, Димка, деньги на такой подарок?

— А я из тех, что на фотоаппарат коплю, взял.

— Ох, не нравится мне все это, — вздохнула Нина Семеновна.

7

Осень. Какою разной бывает она! Порою природа подолгу расстается с августовским теплом; погожие дни тянутся подобно нитям паутины, которые в избытке летают по паркам и бульварам. В полете паутинки цепляются за одежду, за поля шляп, повисают на них. А то и за лица цепляются, повисают на губах и ресницах. Неприятно, но приходится терпеть. Зато тепло.

В тот год осень ворвалась внезапно. Первая сентябрьская неделя еще казалась продолжением августа, но позже все переменялось. Похолодало настолько, что Вере пришлось растопить сохранившуюся в комнате голландскую печь. Паровое отопление провели в дом еще до войны, но печи в комнатах почему-то оставили, разбирать не стали. И жильцы с удовольствием пользовались результатами забывчивости коммунальных служб. Кстати оказался и умывальник в комнате: умываться слегка теплой водой было куда приятнее.

Вера шла, прикрываясь зонтом от дождя, который ветер, словно пригоршнями, резко швырял в прохожих. Она так и не купила себе резиновые ботинки, что так красиво поблескивают гляncем, и теперь приходилось идти, глядя себе под ноги и обходя лужи. Как много дождевых червей выползло на асфальт! Прежде Вера не замечала этого, как эти черви с трудом ползут по асфальту, как вытягиваются в безжизненные полоски в лужах, как гибнут под подошвами прохожих. На трамвайной остановке услышала разговор двух молодых людей, видимо студентов:

— Выползли бедолаги, — сказал один. — А что поделаешь? Видно, затопило их подземные ходы, забились все проходы.

— Наверное, так. И что? — ответил другой.

— Нет, ты только подумай: жили они себе, жили в своем подземелье, двигались подземными ходами, ничего не знали, о небе, солнце, тепле, даже о дожде, снеге и ве-

тре не знали. И наверное, им было удобно. Но их привычный мир вдруг рухнул, вот и выбрались они наверх, где солнце, дождь, ветер, возможность ползти куда угодно, но и опасность погибнуть. Подумай: спастись от потопа, чтобы погибнуть под каблук. И жить опасно, и вернуться назад нельзя. Судьба.

— Ну, ты философ, — сказал второй. — Трамвай подошел. Забирайся, на лекцию опоздаем.

И друзья сели в подошедший трамвай.

А Вера опешила. До сих пор не слышала она таких рассуждений, никто из ее окружения не делал такие обобщающие выводы из совершенно незначительного явления, никто не рассуждал о червях! И в голову никому не пришло бы рассуждать! Ну, выползли черви наружу, ну, раздавили каких-нибудь, а если не раздавили, так птицы склевали — что тут болтать зря?! Но Вера чувствовала, что за рассуждениями студентов стоит нечто большее, чем просто наблюдение. Чувствовала, но понять не могла. И позже в течение рабочего дня ползавшие по асфальту существа нет-нет да вставали перед глазами. И понять она не могла, почему она мысленно возвращается к ним. А потом вспомнила: вчера вечером она слышала, как из комнаты Елизаветы Аристарховны доносился голос соседки. Она читала вслух стихи. Вера подошла ближе к дверям и прислушалась. Елизавета Аристарховна читала:

Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят.
Мы ткем тебе саван¹.

Вера отошла от двери. Что-то напугало ее. Она не знала ни самих стихов, ни автора, но от услышанного было беспокойно на душе. И беспокойство это не отпускало Веру. Впрочем, беспокоили не только злополучные черви. Гораздо больше тревожило другое.

Поначалу, когда Дима пригласил ее в кино, она не придавала этому серьезного значения. Даже забавным показалось: юноша, почти подросток пригласил в кино ее, взрослую женщину. Согласилась легко, тем более Дима купил билеты на ее любимый фильм. Немного забавляло, как этот мальчик старательно исполнял роль кавалера. А Дима не играл и не шутил.

Еще накануне он долго рылся в платяном шкафу в поисках галстука. Он помнил, что у дяди Поликарпа, покойного теткиного мужа, были галстуки, три, кажется. Один повязали ему, когда укладывали дядю в гроб, значит, оставалось два. Рылся Дима долго, пока не нашел, но тут же расстроился: прекрасный синий в искорку галстук надо было еще повязать, а этого Дима не умел. Пришлось продолжить поиски. Удача улыбнулась на этот раз. Найденный галстук повязывать было не нужно: он был с готовым узлом и застежкой на резинках. Правда, не очень нравилась серо-коричневая в косую полоску расцветка, но выбирать не приходилось. За два часа до начала сеанса Дима сходил в парикмахерскую, и теперь его окружал стойкий запах одеколона «Шипр», которым парикмахер, узнав, что парень идет в кино с дамой, обильно sprysнул его голову. Встретиться договорились у кинотеатра.

— Ну, води, кавалер, — сказала Вера, беря Диму под руку, и сама повела к контролеру.

¹ Г. Гейне. «Силезские ткачи» (пер. В. Левики).

Публики в фойе было немного, а те, что пришли, группировались кто у стойки буфета, кто перед оркестром. Такие оркестры в кинотеатрах исполняли перед началом сеанса популярные песни и очень нравились Диме. Нередко он и сам представлял себя музыкантом, хотя музыке никогда не учился. Но сейчас с ним была дама, а даму — он знал это — надо отвести в буфет. Деньги на буфет он давно сэкономил, но Вера отказалась. То ли понимая, что вводить парня в траты не следует, то ли продолжая забавляться, она предложила:

— Давай лучше потанцуем, кавалер. Вон какая музыка замечательная!

Дима опешил: танцевать он не умел. Он стал озиаться по сторонам: одна, другая, третья пары начинали вальсировать.

— Не тушуйся, — услышал он шепот Веры и тут же почувствовал на своем плече ее руку, — не тушуйся: все просто. Только считай про себя: «Раз-два-три, раз-два-три». И все получится.

Первый раз в жизни Дима танцевал, первый раз держал женщину за талию, первый раз видел так близко ее глаза и губы, которые обдавали его горячим дыханием. «Раз-два-три», — шептала Вера. Ничего не видел Дима, кроме лица Веры, ничего не слышал, кроме бешеного стука своего сердца и этого «раз-два-три». Музыканты отыграли — и тут же прозвенел звонок. Зрители двинулись в зал.

— Я смотрю этот фильм уже в тридцатый раз, — шепнула Вера в темноте зала. — Смотри и ты. Тебе понравится.

Там, на экране, английский адмирал сидел за столом с красивой молодой женщиной. Но Дима больше смотрел не на экран, а на Веру. Он видел смутно проступавшие в темноте очертания ее профиля, видел, как Вера вся подалась вперед, как ловила каждую фразу. Порой ее губы шевелились в такт словам героев фильма: Вера знала фильм наизусть.

«Влюбленный Нельсон», — произнес экранный адмирал, и Дима повернулся к Вере. Ее рука лежала на подлокотнике, Дима накрыл ее своей ладонью. Свою руку Вера не убрала, Диме показалось даже, что она легонько сжала его пальцы. Осмелев, он обнял Веру за плечи — она не отстранилась, так и просидели до конца сеанса.

Домой шли молча. Только перед самым подъездом Вера сказала тихо:

— Не хватало еще, чтобы нас застучали вместе.

— Ну и пусть! Что тут особенного! — вскинулся Дима. — Пусть. Мы просто в кино были! Да и некому застучать. Тетка снова в деревню укатила, а у Грязновой вон свет не горит.

Они поднялись на этаж. Вера вошла в прихожую, Дима шмыгнул за ней.

— Ты что это? — спросила Вера, отпирая замок своей двери. — Тебе не сюда.

Дима молча обнял ее. Он не сразу нашел ее губы, но Вера не вырвалась, она спиной открыла дверь и шагнула в комнату. Дима тоже переступил порог. Он еще чувствовал ее руки на своей шее, когда Вера шепнула:

— А теперь иди. Правда, иди. Так будет лучше.

Уснуть Дима не мог долго, спал беспокойно и проснулся, пока еще не рассвело. Он вскочил, словно кто-то ткнул его в бок. Сердце гулко стучало. Он вспомнил, что вечером, когда Вера выпроводила его, он не слышал, чтобы она заперлась в комнате. Он натянул сатиновые финки, клетчатую домашнюю рубашку и вышел в прихожую. За дверями соседей было тихо — все мирно спали. Осторожно, стараясь не щелкнуть замком, он отпер его, вышел на лестничную клетку и так же осторожно закрыл дверь за собой. Подошел к квартире напротив и взялся за ручку — дверь открылась с легким щелчком, который показался Диме громом. «Значит, она не вышла вчера из комнаты, забыла запереть эту дверь», — подумал он. Крадучись, добрался до две-

ри к Вере — дверь легко поддалась. Дима тихо навесил на дверь крючок и посмотрел на спящую Веру. Луна освещала ее лицо, и Диме показалось, что веки Веры подрагивают. Он скинул с себя одежду и юркнул под одеяло. Вера не шевелилась. Он не помнил, сколько времени пролежал рядом с ней, вытянувшись и держа руки по швам. Потом осторожно повернулся на бок и положил руку Вере на грудь.

Ничего толком не запомнил Дима. Помнил только объятия Веры, аромат ее волос, ее горячее дыхание и шепот: «Не спеши». Помнил, что после того, как он откинулся на спину, Вера склонилась над ним.

— Ты меня ждала? — спросил он.

— Тс-с-с-с, — Вера прижала свой палец к его губам. — Никогда не спрашивай женщину об этом. А теперь уходи. Уже рассвело, скоро соседи ходить начнут. Иди и постарайся забыть обо всем.

Он вышел от Веры, едва не шатаясь. У дверей квартиры столкнулся с выходившей Грязновой.

— Ты откуда такой заполошный с утра пораньше? — с подозрением оглядывая Диму, спросила она.

— Я... это... Я на улице бегал. Спортом решил заняться, — не сразу нашелся он. — Осенью мы нормы ГТО сдавать будем.

В это время щелкнул замок в квартире напротив. Грязнова посмотрела на дверь, на Диму.

— Ну, значит, спортом, — покачав головой, ответила она и стала спускаться по лестнице.

А Дима в своей комнате бросился ничком на уже остывшую постель и зарылся лицом в подушку. Он еще ощущал запах волос Веры и не хотел растерять это.

К вечеру вернулась Нина Семеновна. Вернулась, как всегда, внезапно, но ее звонок в дверь не застал Диму врасплох. Он видел из окна, как на улице тетку остановила Грязнова. Они о чем-то говорили, Грязнова все покачивала головой, а тетка в один момент всплеснула руками и посмотрела вверх на окно. Диму она не заметила: он успел спрятаться за штору. Тем не менее, когда тетка стала расставлять на столе немногие продукты, что привезла из деревни, и принялась расспрашивать, как он провел время, он старался не встречаться с ней взглядом, даже совсем не смотрел в ее сторону. И Нина Семеновна словно почувствовала это.

— Ты что взгляд прячешь? Набедокурил и скрываешь что-то? Ты и малышом таким был: напроказишь, а потом в глаза не глядишь, чтобы я или мамка твоя, покойница, не догадались. Так, что ли? Говори начистоту! — допытывалась она.

— Да будет тебе, тетя Нин. Что могу я натворить? — Дима пытался улыбаться.

— Уж не знаю, не знаю... Для Верки этой опять что-о делал? Ну? Ходил к ней?

Дима понял, что тетке что-то известно или о чем-то догадывается она. Поэтому все отрицать нельзя, а лучше сознаться в малом, чтобы большее не всплыло. Он и сознался:

— Ну, был... В кино раз сходили...

— В кино?! С ней?! С Веркой?! — всплеснула руками Нина Семеновна. — Она же не пара тебе вовсе.

— Да один раз всего сходили... И не понравилось мне. Она все рассказывала: «Адмирал... адмирал», а про адмирала почти и не было. Про тетку какую-то, сначала вроде молодая и красивая была, а потом с бутылкой больше... Не понравилось.

— Ох, Митенька, боюсь я... Боюсь, как бы беды не было, — вздохнула Нина Семеновна и погладила племянника по стриженной голове. Потом присмотрелась и спросила:

- Для нее, что ли, постригся?
- Не лохматым же в кино идти, тетя.
- Смотри, не доведи до беды. Не пара она...

Это было летом. С того времени Вера старательно избегала встреч с Димой, а его попытки завязать при случае разговор пресекала, порою резко. Да и правду сказать: не стало у нее времени ни для встреч, ни для разговоров.

Больше месяца швейная машинка Веры стрекотала без устали. Словно застоялась она без работы, а теперь вырвалась на волю и наверстывает упущенное. Шила Вера отменно. Но особенно удавалась ей переделка старого. Из двух-трех, казалось бы, безнадежно старых платьев она могла создать новую, неповторимую модель. Грязнова, которая выполнила обещание и привела к Вере нескольких заказчиц, поинтересовалась как-то:

— Что ты все время мучаешься, с этой переделкой возишься? Новое-то шить проще и быстрее.

— Да кто сейчас, после войны, с новым заказом придет? — ответила Вера. — У людей ни ткани, ни денег. Старое переделать — и то хорошо.

— Не скажи, не скажи. Вон какие фифы к тебе приходиться стали. Таким только новье подавай.

— Да, приходят. И шью для них. Но мне нравится переделывать. Новое — что? Взял выкройку, вырезал, сшил — все. А по городу потом все в одинаковом ходят. А как составишь из двух-трех одно, так окажется, что второго такого платья или костюмчика не найти.

— Что правда, то правда, — сказала Грязнова, обеими руками оглаживая борта своего перелицованного и переделанного костюмчика. — Ты тут у нас вроде художника. Ты не только мальчишкам головы кружить умеешь.

Грязнова с хитрым прищуром посмотрела на Веру. Та поспешила сменить тему разговора...

— Проскурина, тебя в местком вызывают! — донеслось до Веры. Она потрясла головой, прогоняя нахлынувшие воспоминания. Поглядела на цеховые часы. Ух ты! Уже минут двадцать, как начался рабочий день, а она еще к делу не приступила. Так и влететь может.

— Проскурина! Ты что, не слышишь? В местком иди. Говорят, срочно!

Поспешно поднявшись, Вера вышла из цеха и быстро пошла по коридору, увешанному плакатами и графиками. У плотно закрытой двери кабинета огладила руками полы синего рабочего халата и постучалась.

Уланова стояла у окна спиной к двери и смотрела вдаль. Дождь прекратился. Только капельки, стекавшие по стеклу, напоминали о нем. Не оборачиваясь, Уланова указала Вере на место за длинным столом. Потом подошла к ней сзади, положила руки на плечи и спросила пока еще тихим и спокойным голосом:

— Как живешь, Проскурина? Как работается? Не устаешь ли?

Вера насторожилась. Обычно Уланова сразу начинала разговор о производственных показателях, а тут про усталость завела.

— Не устаю, Галина Петровна, — развернувшись к Улановой, ответила Вера. — И с чего бы мне устать?

— Ну как же? По вечерам не отдыхаешь, время, отпущенное государством для отдыха трудящихся и восстановления сил, используешь для частнособственнических занятий.

— Я не понимаю, о чем вы.

— Вот-вот, и с политпросвещением у тебя плохо. Не понимаешь. Шьешь по вечерам на заказ?

— Шью, Галина Петровна. А как же? Хоть какой приработок.

— Вот. Сознаешься, что шьешь. А знаешь ли ты, что это почти частное производство? А оно, частное производство, рождает капитализм в массовом масштабе. Так товарищ Ленин писал. Да и кто шьет у тебя? Несознательные и безыдейные вертихвостки. Для них новое платье — самое важное в жизни, — Уланова перешла к своему столу и села в председательское кресло.

Вера опешила.

— Так ведь я и вам, Галина Петровна, шила. Вот это платье, — растерянно сказала она. Промолчав о том, что денег за работу не взяла.

— Что-то ты путаешь, Проскурина, — голос Улановой стал стальным. — Никогда и ничего я у тебя не шила. Всю свою одежду я покупаю в государственных магазинах. Поддерживаю, так сказать, нашу легкую промышленность. И продукцию нашей фабрики покупаю, а ты, Проскурина, своим мелкобуржуазным промыслом подрываешь доверие к советской промышленности. Да ладно. Пока партия и правительство допускают такое производство, трогать тебя не станем. По другому поводу вызвала я тебя. О твоём моральном облике поговорить надо.

Вера молчала.

— Отмалчиваешься? Делаешь вид, что не понимаешь? Тогда скажу прямо: ты почему дискредитируешь краснофлотских адмиралов?

— Никого я не дискредитова... не дискредитовала, — запинаясь Вера.

— Как же?! Что за историю рассказала ты про адмирала, от которого у тебя якобы ребенок?! Снова молчишь? Тогда я снова скажу: не было и нет никакого адмирала! И сына-нахимовца у тебя нет! Просто быть не могло. Люди тут все подсчитали, — Ульянова взяла со стола исписанный цифрами листок бумаги и показала Вере. Та потянулась к листку, но Уланова резко отдернула руку и убрала его в ящик стола.

— И ведь сказку какую придумала! — продолжала она. — Не нашу сказку, заграничную, как в заграничном кино. Надо же... Как леди Гамильтон... Верка Гамильтон какая-то. Низкопоклонство перед Западом это, Проскурина.

— Так это же так давно было. Раз только и рассказывала. Что же сейчас вспоминать? — пыталась оправдываться Вера.

— Во-первых, Проскурина, еще неизвестно, сколько раз и кому ты рассказывала эту дурацкую историю. А во-вторых, тогда, может, и не стоило разговор затевать, а теперь самое время. Сигнал на тебя, Проскурина Вера Алексеевна.

— Сигнал? Какой сигнал?

— Очень серьезный сигнал. Молодежь ты нашу с пути сбиваешь, с несовершеннолетними под ручку гуляешь, чтобы не сказать большего.

— Это вы про Димку соседского? — догадалась Вера. — Так всего один разок в кино сходили.

— Эх, Проскурина, Проскурина... С этого, с одного разочка все и начинается. Хоть какое кино-то было?

— «Леди Гамильтон».

— Так я и думала! — Уланова даже пристукнула ладонью по столу. — Опять эта Гамильтон. Повторяю: низкопоклонство перед Западом у тебя получается, Проскурина. И только ли в кино ты была? Уж не было ли чего большего? Иди и подумай над своим поведением. Скажи еще спасибо, что пока я с тобой разговариваю, в местном, а не в парткоме ты стоишь.

— Так я же беспартийная.

— Надо будет, там и беспартийными займутся. Иди.

Закрывая за собой дверь, Вера расслышала, как Уланова проворчала:

— И эта туда же, глупая девчонка! Верка Гамильтон... на мою голову.

Она шла в цех по узкому коридору, по которому пронеслась полчаса назад, шла мимо плакатов, к которым давно привыкла, и почти не замечала лиц улыбававшихся швей, серьезных механиков, строгих воинов. Теперь она бросала на них взгляд и не хотела видеть лица уверенных в себе и во всем на свете людей. И думала она о том, кто мог наябедничать Ульяновой на нее. Кто? Грязнова? Неужели сам Димка?! А что? Он же почти такие же слова бросил тогда ей в лицо, подкараулив в парке неподалеку от дома. Подкараулил и стал допытываться, почему она избегает его. Вера попыталась урезонить парня:

— Оставь, Дима. Я тебе уже объяснила. Забудем все.

— Но почему?!

И позже не могла объяснить себе Вера, почему тогда ответила именно так:

— Не ходи больше за мной. У меня есть человек. И он любит меня.

— Но ведь и я люблю тебя! — чуть не фальцетом крикнул Дима.

Вера решила не сдаваться:

— У меня с ним все очень серьезно.

И тут Дима сорвался:

— Врешь! Врешь ты все! Нет у тебя никого! Никакого человека нет! И адмирала не было! И сына в Нахимовском нет!

Внезапно слезы выступили у него на глазах, Дима резко развернулся и убежал.

— Зря ты так, мальчик... Напрасно, — только и смогла проговорить Вера. Уже себе одной.

«Неужели Дима?» — снова подумала она. До конца рабочего дня Вера еще делала что-то, выполняла привычные операции, но механически, не задумываясь. А вечерний фабричный гудок, к удивлению, не обрадовал ее. Идти домой не хотелось.

За воротами фабрики ее поджидала Рита.

— Что там было? Зачем ГПУ тебя вызывала? — бросилась она к подруге.

— Да так, ерунда всякая. Гадко у меня на душе, Ритка, аж выть хочется. Хоть домой не иди.

— А ты и не ходи. У меня заночуешь. У меня патефон с пластинками есть. Послушаем.

— Правда? К тебе? Не прогонишь?

— Не прогону, коли сама пригласила. Только сперва в больницу зайдем. Бабулю проводить надо.

— Ой, а что с тетей Машей?

— Как всегда. Печенка ее разыгралась.

Тут Вера спохватилась:

— Рит, а как я с пустыми руками приду? Гостинец какой купить надо.

— Не надо. Видишь: и я безо всего. Не разрешают передачи ей носить. Диета строжайшая.

На обратном пути женщины спешили. Вдруг Вера остановилась.

— Мы в магазин не зашли, — вспомнила она. — К ужину чего-нибудь купить хочу.

— Пойдем-пойдем. Незачем тебе тратиться. Я же пригласила. Что-нибудь найдется. На яичницу согласна?

— Да на все, что предложишь. Хотя бы и яичницу.

— Вот и славно. А то, честно говоря, не очень хочется долго у плиты стоять.

Рита жила вдвоем с бабушкой в крохотной комнатке коммунальной квартиры. Узкая и длинная комната располагалась в эркере, поэтому вместо четвертой стены полукругом располагались окна. Там, в этом полукруге, притулился диванчик, он оставался с той поры, когда Рита была подростком. Бабушке же отвели металлическую, тоже узкую кровать. И хоть невысокая, даже миниатюрная Рита вполне помещалась на нем, в отсутствие бабушки перебралась она на кровать.

— Как спать будем? — спросила Рита, пропуская Веру вперед. — Тебе что больше глянется — диван или кровать?

— Да что я капризничать-то буду. Куда положишь, там и хорошо. Могу и на диван.

— Нет, лучше разыграем, пятачок подбросим. Орел — кровать, решка — диван.

Рита подбросила пятак, ловко поймала его, положила на ладонь и прикрыла другой рукой. Выпала решка.

— Вот видишь: мне диван выпал, — Вера, кажется, была довольна.

Пужинали на скорую руку. Рита собрала посуду, чтобы отнести на кухню, но Вера быстро поднялась:

— Давай я вымою. А ты тут похозяйничай.

Вернувшись из кухни с чистой посудой, Вера увидела, что Рита уже поставила на столик патефон и два фужера.

— Это по какому поводу? — поинтересовалась Вера.

Рита не ответила, а стала крутить ручку патефона, потом щелкнула тумблером — диск с пластинкой завертелся. Рита осторожно опустила на пластинку иглу. Бодрый фокстрот запрыгал по комнате.

С Ритой Вере было легко. Обоим нравились одни и те же песни, обе смотрели одни фильмы, часто вдвоем. Тот мир, который создала себе в воображении Вера, был понятен Рите и нравился ей. Рита и сама была не прочь пометить о своем адмирале. И теперь Рита забралась с ногами на диванчик, обхватила руками колени и мечтательно сказала:

— Ох, Верка, бывает же у людей любовь. Красивая. Такая, что или любовь, или смерть. Как в кино. Давай устроим красивый вечер. Выпьем давай.

— А что пить будем?

— Честно говоря, не знаю, у нас только водка одна. И то для компрессов бабушке. А в кино заграничном все виски пьют.

— Что такое виски?

— Я не знаю. Только они там часто говорят: «виски с содовой».

— С содовой? Это что же? Как мы шипучку делаем — вода, лимонная кислота и сода? Шипит, кусается, на газировку похожа. Водку с газировкой мешать? Что-то не хочется.

— Тогда вот что. У меня немного яблочного сока осталось. Смешаем с водкой, посмотрим, что получится.

— Давай.

Рита решительно достала из буфета пузатый графин с прозрачной жидкостью, поднесла его к фужерам и остановилась.

— А по сколько наливать? — спросила она. — В кино они наливают чуть на доньшке.

— Я не знаю. Может, вот так, — Вера ногтем отметила предполагаемую границу.

Рита разлила по фужерам содержимое графина и снова спросила:

— А сока сколько?

— Поровну давай! — махнула рукой Вера.

— А, давай!

Держа фужеры в руках, женщины с ногами забрались на диванчик. Отхлебнули из фужеров. Вера поморщилась, а Рите, похоже, понравилось. Она отхлебнула еще два глотка и вздохнула мечтательно:

— Эх, чтобы и у нас появились свои адмиралы. Настоящие.

А Вера обеими руками прижала фужер к груди и заговорила, торопясь, почти скороговоркой:

— Кому я помешала?! Кому помешало то, что я рассказала?! Ну, дура я, дура, придумала себе сказку. Им-то что?! Что Гэпэушка эта ко мне привязалась?!

— Да что случилось-то?

— А! — Вера залпом осушила свой фужер и разрыдалась. Последние такты фокстрота давно отзвучали, и пластинка крутилась с легким шуршанием вхолостую. Она выложила подруге все: и сегодняшний разговор с Улановой, и то, что ему предшествовало.

Рита слушала, не перебивая, и лишь спросила, как получилось, что парня несовершеннолетнего подруга приняла.

— Не знаю, — ответила Вера, — но я уже и забыла, как мужик обнимает. А Димка... он был такой... как ласковый теленок.

— Да, посидели, — вздохнула Рита. — Будем укладываться. Хочешь, я еще тебе плесну? Выпей — и спи. Ни о чем не думая, спи.

Уснула Вера не сразу, а уснув, то и дело всхлипывала во сне.

8

Встав однажды после непродолжительной, но измотавшей силы болезни, человек подходит к окну, раскрывает его и вдыхает наружный воздух. Голова человека еще немного кружится, но он счастливо улыбается, глядя вдаль. И вовсе не важно, весна ли за окном, падает ли снег, или дождь стоит стеной. Важен свежий воздух, важно, что все, окружающее человека, кажется сейчас иным, новым. Вот лежал человек в нагретой болезненным жаром постели, затылком чувствовал, что подушка стала неудобной, жесткой, комковатой, как и сама постель; человек часто проваливался в полудрему и будто качался на волнах. А теперь стоит у раскрытого окна и вдыхает свежий воздух.

Приблизительно так чувствовала себя Вера после череды событий, следовавших одно за другим. Началось с того, что брошенное в сердцах Улановой предсказание вскоре неожиданным образом сбылось. Несколько раз в течение трех дней то здесь, то там слышала Вера за спиной, как бы случайно оброненное «Верка Гамильтон». Это было невыносимо, досада переполняла Веру, хотелось развернуться, броситься к остроловам, накричать, наговорить грубостей. Но что-то говорило ей: так поступать нельзя, выглядеть будет смешно, а прозвище уж точно приклеится прочно и навсегда. Вера подходила к дверям подъезда, два незнакомых человека стояли во дворе. Среди их негромкого разговора с особенной силой прозвучало: «Мерка на бидон». Болезненное, доведенное до отчаяния воображение Веры переделало безобидную фразу в ненавистное «Верка Гамильтон». Она влетела к себе на этаж, ввалилась в комнату, сорвала со стены афишу любимого фильма. С ожесточением разорвала Вера афишу пополам, потом еще твердя сквозь слезы: «Ну и пусть! Вот так! Вот так!» Обрывки афиши плавно опустились на пол, а Вера бросилась ничком на кровать и разрыдалась.

Продолжалось это недолго. Немного успокоившись, Вера села на кровати, подняла с пола разорванные листы и несколько раз пыталась стыковать их. Получалось

плохо. Тогда, повернувшись спиной к двери, она встала на четвереньки и продолжила составление бумажной мозаики.

Внезапно она почувствовала, как чья-то рука легла на ее отставленный зад. Вера вскочила — маслено улыбаясь, за ней стоял Краюк. Вера почти не видела его лица — в глаза лезли только галифе, заправленные в носки, и тюбетейка на голове.

— Иду, гляжу — дверь не заперта, заглянул — соседка плачет. Дай, думаю, помогу, успокою, — хихикая, сказал он, одной рукой при этом обхватив Веру за талию, другой взялся за край подола.

Вера уперлась руками ему в грудь и попыталась отстраниться.

— Как вам не стыдно, Иван Васильевич! — Вера тщетно пыталась высвободиться из объятий. — Я уже говорила вам: мы только соседи.

— Да будет тебе недотрогу корчить. Мужик тебе ох как нужен. А я, конечно, не такой молодой, как некоторые, но опыта побольше будет, — наседали Краюк, крепче сжимая объятия.

— Пусти! — сопротивлялась Вера.

— Смотри-ка! Как дров достать, солдатику, чтобы нарубил, организовать, так «Иван Васильевич, миленький», а как Иван Васильевич подошел, так «пусти»?

— Пусти! — не сдавалась Вера. — Я Дине скажу.

— Ха! Что Динка? Динка у меня селедка, кукла ватная. А ты, похоже...

— Иван Васильевич, что это такое?! Что ей от тебя надо? — громко прозвучал в комнате голос Дианы.

Краюк мгновенно опустил руки, повернулся к жене, а Вера отскочила от него.

— Ничего, Диночка, ничего... Ничего особенного, — проговорил он, неуклюже погладив жену по голове, но Диана подошла вплотную к Вере. Невысокая, миниатюрная, на самом деле напоминавшая моль, она вынужденно задрала голову и пропищала:

— Что ты хочешь от него?

— Чего я хочу?! — опешила Вера. — Это он ко мне ввалился, а не я к нему!

— Значит, сама допустила! Ко мне что-то никто не вваливался.

— Брось, Диночка, брось, не связывайся со всякими. Пойдем домой. Правду, видать, говорят, — Краюк не договорил, а обнял жену за плечи и повел к двери, но Диана вырвалась, подлетела к Вере и чуть не закричала:

— Что?! Что говорят?! Ах ты, тихоня... В тихом омуте, понятно... То-то Валюша говорила: «А я видела, как тетя Вера с Димой вместе домой шли». А я ей еще стол и стулья давала! Пойдем, Иван Васильевич.

И уже из самих дверей, обернувшись к Вере, прошипела:

— И не смей больше к нашим девочкам подходить! И конфетами своими дурачками не угощай их!

А потом из прихожей в незакрытую дверь Веры долетело: «А я ей стулья и стол давала».

Долго стояла Вера — неподвижно, сцепив пальцы с такой силой, что те побелели. Настолько оскорбленной и оплеванной Вера себя до этого не чувствовала. Пусто было на душе. Вот вынули из стола все ящики, вытряхнули из них все и вернули на место — чисто и пусто. Такой ощущала себя Вера. Не хотелось ни выходить из комнаты, ни видеть кого-либо. Она заперла дверь изнутри, подняла с пола обрывки афиши, аккуратно сложила их и убрала на полку в шкаф, надеясь в будущем как-нибудь склеить.

Вера оглядела свою комнату. Как не похожа она на ту полупустую холостяцкую времянку, в которую въехала она когда-то. Создавать уют Вера умела. В небольшой комнате не нужно много мебели, но необходимо то, что образует ее центр.

И таким образующим центр предметом стал стол — круглый стол под зеленой плюшевой скатертью с бахромой. Вера установила его не в середине комнаты, а немного сдвинув в сторону. Но над столом должна свисать люстра. Или хотя бы лампа под абажуром, а ее чудесный абажур теперь оставался в стороне. И тогда Вера придумала: она сдвинет лампу! И пусть такого нет ни у кого! Она станет первой! Пусть смеются те, которые привыкли делать «как у всех», но ни за что не создадут уюта. Вера упростила Владимира Никифоровича, и тот лампу под абажуром перенес на новое место и хмыкнул на прощание:

— Ишь ты, необычно, непривычно, а гляди как красиво.

Удивительно, но сдвинутый стол теперь первым притягивал взгляд входивших в комнату гостей и приглашал их осмотреть все вокруг. Замечательный то был стол: он раздвигался, становясь овальным, и на нем Вера чертила свои выкройки, кроила, сшивала начерно. Замечателен стол был и тем, что встречал гостей лежавший на нем альбом. Толстый альбом в коричневом кожаном переплете. Вера не прятала свои фотографии, напротив, охотно показывала их гостям. И то сказать: посмотреть было на что, на фотографиях Вера всегда выглядела прекрасно. Сейчас ей захотелось пересмотреть эти фотографии. Она села к столу и стала неторопливо переворачивать плотные картонные страницы. На очередной странице взгляд выхватил пустоту. Здесь прежде была ее фотография, Вера хорошо помнила. И фотография — то одна из самых удачных и любимых. Вера пролистала страницы назад, потом вперед, взяла альбом обеими руками за корешок и потрясла — фотография не обнаружилась. «Не на пол же она упала», — подумала Вера, но на всякий случай заглянула под стол. Фотографии не оказалось и там, но взгляд упал на бахрому скатерти. «Ну, беда с этой девчонкой! — подумала Вера. — Опять косичку сплела». Так подумала она о соседской Вале. Девочка любила бывать у Веры, но каждый раз оставляла такие косички, сплетенные из нитей бахромы. Вера подумала, что теперь косичек точно больше не будет: девочку к ней не отпустят. И тут ее осенило: Краюк! Ну конечно, он все знает! Когда она выпроваживала Диму, в уборной горел свет и пробивался сквозь щель. Наверняка Краюк там сидел. Значит, догадывается, значит, не отстанет. А то, глядишь, и шантажировать начнет. «Что ж, — решила Вера, — будем готовы».

Теперь уж ей тяжело было оставаться в комнате, очень хотелось поговорить с кем, кто отличался бы от Краюков, и от Димы, и от Грязновой, и даже от Риты. Вера знала только одного такого человека — Елизавету Аристарховну. Она решительно направилась к комнате Головиной, но у двери вдруг слегка оробела. Из комнаты снова слышались стихи.

...Von einer Palme
Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigen trauert
Auf brennender Felsenwand², —

услышала она заключительные строки. Ничего не поняла Вера, но звучали стихи так красиво, так завораживающе, что Вера осторожно постучала. Послышались шаги, и на пороге встала хозяйка комнаты. Вера нерешительно переминалась:

— Я, наверное, помешала вам, Елизавете Аристарховна.

² Заключительные строки стихотворения Г. Гейне, известного в переводе М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...».

— Проходите, Верочка, проходите. Вы такой редкий гость у меня, голубушка, что раз можно и помешать. Да и пришли, наверное, не из праздного любопытства.

Она провела Веру в комнату, усадила в кресло напротив того, в котором до этого сидела сама:

— Садитесь сюда. Будем сидеть друг напротив друга и судачить.

Молодые глаза пожилой женщины светились такой добротой и таким покоем, что робость и смущение Веры исчезли без следа, и она заговорила:

— Я слышала, вы опять стихи вслух рассказывали.

— Читала. Люблю вслух почитать. Вам понравилось?

— Понравилось, только я ничего не поняла... Ничего я не знаю.

— Думаю, что это-то вы знаете наверняка. Наверное, и в школе наизусть учили.

Помните: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна»?

— Знаю! Это ведь Лермонтов! Только кто его на немецкий перевел?

— Здесь, Верочка, как раз наоборот. Наш Лермонтов стал переводчиком стихотворения немецкого поэта Хайне.

— А я не знала. А еще я слышала, давно, правда, как вы про червей рассказ... читали.

— Про червей? Что-то не припомню.

— Да, про червей. Там еще все время говорят: «Мы ткем тебе саван».

— Вот в чем дело! Это я новый перевод читала. Так Вильгельм Левик перевел стихотворение того же Хайне на русский. А читала я, чтобы на слух оценить, как звучит. Но почему вам черви запомнились?

— Не знаю. Только я видела, как в дождь черви выползли из земли на асфальт. А люди шли и не замечали их, не обращали внимания. И давили, давили...

— Что же, детка, так тебя взволновало? — с материнским участием спросила Елизавета Аристарховна, незаметно для себя перейдя на «ты».

— Мне кажется, я как тот червяк. Выползла, думала, что на воздух, а меня чуть не раздавили.

— Вижу, что худо вам, Верочка. Допытываться не стану. Но будем-ка лучше чай пить.

Елизавета Аристарховна действительно не стала выяснять у Веры, что произошло, ни словом не обмолвились они о случившемся, говорили о совершенно посторонних вещах, но сидя в удобном кресле в уютной комнате, слушая рассказы загадочной соседки, Вера почувствовала, что Елизавета Аристарховна стала тем окном со свежим воздухом.

9

С этого вечера Вера стала бывать у Головиной, правда нечасто. Она по-прежнему нерешительно подходила к комнате соседки. Но если прежде Вера просто робела перед не совсем понятной и даже загадочной «графиней» (с первого дня знакомства Вера именно так про себя называла Елизавету Аристарховну), то сейчас не хотела беспокоить ее по пустякам. Когда же случалось бывать у соседки, Вера впитывала каждое ее слово, хотя говорили они большей частью о предметах отвлеченных. Ни словом не обмолвилась Елизавета Аристарховна о своем дворянском происхождении, тем более о графском достоинстве, но для Веры она все больше становилась графиней. А из разрозненных фраз и рассказов смогла Вера нарисовать себе картину жизни своей соседки.

После смерти бабушки Лиза Головина осталась совсем одна, и ей нужно было думать, как жить дальше. Средств к существованию практически не осталось, бабушкины украшения как-то нелепо утекли куда-то. Да что бы делала Лиза с ними? Менять, продавать, торговаться она не умела. К тому же небезопасно это было: за спекуляцию могли не только арестовать, но и расстрелять. Лиза могла только преподавать — французский, немецкий языки, русскую словесность. Она и преподавала, правда, не детям, а взрослым: красноармейцам, рабочим заводов. Позже выяснилось, что она и музыке учить может. Тогда-то и пришлось овладеть, кроме фортепиано, еще и аккордеоном, что сыграло свою роль впоследствии: во время войны несколько раз выступала Елизавета Аристарховна в госпиталях. Словом, выстроила Вера для себя картинку.

Сама же она старалась не возвращаться в воспоминаниях в прошлое. «Что прошло, то прошло, — рассуждала она. — Буду жить с нового листа». Однако разорванную когда-то афишу выбросить не спешила, больше того, ей вдруг захотелось восстановить ее. За дело взялась основательно. Плюшевую скатерть со стола сняла, столешницу застелила газетами и разложила поверх них, как лоскуты, разорванные куски афиши. Передвигая и сдвигая их, восстановила вид бывшей афиши, но решила перестраховаться. Осторожно отгибая угол каждого куска, писала карандашом порядковый номер, чтобы не перепутать, когда афиша ляжет «лицом вниз». Аккуратно перевернула все бумажные лоскутки, соединила их, теперь оставалось лишь наклеить поверх стыков полоски бумаги. Вера уже готова была промазать их клеем, но остановилась. «Нельзя! Канцелярским клеем клеить нельзя! Со временем он разъест, разрушит бумагу», — вспомнила она. Пришлось бежать на кухню и заваривать клейстер из картофельной муки.

Еще горячим клейстером смазывала она полоски бумаги, наклеивала на швы, а когда все было закончено, накрыла раскрытой газетой. Теперь нужно было прижать чем-нибудь, хорошо бы книгами. Но книг у Веры почти не было, и она устала стол пустыми кастрюлями, в ход пошел и знаменитый альбом. Как же ей не терпелось поскорее увидеть результат! Но она терпеливо выждала, а когда наконец смогла, убрав все лишнее, перевернуть афишу, очень расстроилась. Кое-где лоскуты съехали, где-то не получилось точно состыковать, и теперь казалось, что афишу избородили шрамы. «Вот так всегда бывает и в жизни! — сокрушалась Вера. — Как ни стараться склеить разорванные отношения, шрамы всегда останутся». Вешать такую афишу на стену не хотелось, но и выбросить рука не поднималась. Вера скрутила афишу в трубку, перевязала ленточкой, которая осталась от коробки с конфетами, принесенной кем-то на новоселье, и убрала в шкаф. Потом подошла к окну, а там...

Снег. Он идет с утра. Метет, играет легкая метель. В детстве Вера любила подолгу смотреть на такое мельтешение снежинок, и тогда начинало казаться, что они, снежинки, не сыплются сверху, а поднимаются в небо с земли. Вот и сейчас они взлетают и кружатся. Как в детстве. А еще Вера подумала, что зимнее окно похоже на экран в кинотеатре: вокруг белым-бело, и на этой белизне темнеют дома, ходят люди, останавливаются друг перед другом, очевидно, разговаривают. Все, как в кино. Правда, кино это немое. Но ведь не беда! Разговоры можно и самой придумать. Так даже лучше!

Тем временем ветер утих, прекратили свой задорный танец снежинки. Теперь они не взлетали в небо, а опускались медленно и отвесно, как будто скользили по натянутым с неба на землю нитям. Скользят снежинки, опускаются на подоконник, засыпают его, засыпают посылочный ящик, который служит Вере холодильником. А ведь

прав оказался Димка! Помогает холодильник этот продукты сберечь. Где этот парень сейчас? Куда занесла его солдатская служба? Осенью постучался к ней в дверь. Стоит на пороге, а стриженная голова на шар похожа, и уши торчат сильнее прежнего.

— Ты что, на зиму глядя, наголо постригся? — спросила его тогда.

А он стоит, переминается с ноги на ногу:

— Да я, того... В армию ухожу... Вы на проводы придете?

— Приду, если приглашаешь. И если тетка не прогонит.

— Не прогонит, не прогонит! Она тоже приглашает. Так и сказала передать...

Вот и Димка уже в армии, и снег за окном. Сколько же времени пролежала ее афиша разорванной?! И еще пролежит. Теперь уж свернутой в трубку.

Вера снова посмотрела за окно. Там, опасаясь упасть, семенила и смешно, как крылышками, взмахивала коротковатыми ручками Диана. «Моль. Как есть моль», — подумала Вера. С Дианой она после памятной стычки старалась не пересекаться. Если слышала из кухни ее голос, выжидала, когда Диана уйдет, и только после этого подходила к плите. Не хотела ни выяснения отношений, ни какого-либо общения. Особого зла на нее не держала, даже после того, как услышала разговор Дианы с Грязновой.

— От мужа я не уйду, — долетело из-за закрытой двери. — Знаю, знаю, что гуляка он, но не уйду. Две девочки у нас и обе любят отца. Знаю, что гулена. Но ведь как пустить все на самотек?! Виновный всегда бывает.

— Поэтому ты на Верку все перевела? — в голосе Грязновой уловила Вера нотки презрения. Слушать дальше она не стала и отошла от двери, а Диану просто вычеркнула из своей жизни.

Снег, снег за окном. Вера еще не утратила детского восторга перед снегом, еще радовалась ему. Но сейчас что-то грызло, что-то угнетало. «Неужели разговор с Улановой?» — подумала Вера, не заметив, что мысленно назвала ее по фамилии, а не ГПУ...

Уланова поджидала Веру после обеденного перерыва у фабричной столовой, оглядевшись по сторонам, сказала тихо:

— Пройдем-ка, Проскурина, ко мне. Разговор есть.

Вера послушно пошла следом. В кабинете Уланова молча указала Вере на стул, молча подошла к столу, достала из ящика почтовый конверт, так же без слов положила перед Верой и постучала по конверту пальцем.

— Что это? — повернулась к ней Вера.

— Ты ознакомься, ознакомься. Занимательное чтение.

— Странное письмо какое-то. Печатными буквами. И без подписи.

— Анонимка это, Проскурина, анонимка. Потому и подписи нет. И печатными буквами. Почерк свой кто-то показывать не хотел. Но ты в суть смотри. Пишет, что несовершеннолетнего ты у себя принимала. Было?

Вера замолчала, сжалась и сидела, глядя в одну точку. Уланова встала сзади:

— Вы вот меня Гэпзушкой называете...

— Да, Галина Петровна...

— Будет, будет тебе юлить, — перебила Веру Уланова. — Называете. Я знаю.

Уланова села на стул рядом и накрыла своей ладонью руку Веры.

— Но я не ГПУ, я с тобой, Проскурина, как баба с бабой говорю. Не как председатель месткома. Говори, как на духу: было?

Опустив голову, Вера несколько раз кивнула.

— Ох, горе мне с тобой, Верка. Как же ты умудрилась с малолетним-то? — спросила Уланова, как когда-то Рита. И как тогда Рите, Вера ответила:

— Не знаю, как поучилось. Я уже и забыла, как мужик обнимает. А он был как ласковый теленок.

— Теленок... Я что же, не понимаю, что ли? Я же сама одна-одинешенька. Огрубела. Папиросы вон мужские курю, — оттолкнула он пальцами коробку «Казбека». — Вечерами хожу, хожу по комнате, заставить себя улечься не могу. А как влезешь одна в холодную постель, лежишь, как камень на берегу. Потом закусишь подушку и думаешь: только бы не завывать в голос. Да разве мы с тобой одни?! Мало ли нас, бобылок таких, после войны осталось?! А может, и правильно все... Теленка твоего рано или поздно просветили бы. Уж лучше так, дома, в чистой постели, чем незнамо с кем в кустах. А, черт! — махнула рукой Уланова. Она достала из коробки папиросу, закурила, выпустила дым.

— Есть мысли, кто такой добрый? Кто цидульку эту состряпал?

— Догадываюсь. Похоже, сосед. Краюк.

— А, понятно. Ему не досталось. Отказала?

Вера только тяжело вздохнула. А потом добавила:

— Да и год почти прошел. Думала: все, пролетели. А он...

— А он выжидал. Ты вот что. Держись одного: в кино один разок сходили, да; до дома вместе шли, врать не буду, а больше ни-ни. Стой на своем. Теленок-то твой не проболтается? Мужики, они любят о победах трындеть.

— Вроде не проболтается. Да и в армии он.

— Это хорошо... Ты вот что... Запри-ка на ключ эту дверь.

Вера подошла к массивной дубовой двери кабинета, повернула ключ. Уланова тем временем извлекла из глубины стола бутылку, два стакана и два маленьких кусочка черного хлеба с такими же маленькими ломтиками сала, разлила водку.

— Давай осушим. За долю нашу бабью.

Уланова привычно опрокинула стакан, Вера пила неумело. Медленно, но почувствовала, как по телу разлилось тепло. А Уланова, словно опасаясь, что Вера примет ее откровенность за слабость, продолжала:

— Ты небось думаешь: с чего бы это Гэпэушка мне помогает? А я скажу: не такая уж добрая я, о себе тоже думаю. Незачем мне лишний скандал. Не хочу, чтобы сказали: бдительность утратила Уланова, воспитательную работу на начальном уровне провалила. Улавливаешь? То-то.

Вера не отвечала, а сидела, уставившись в одну точку.

— Не опьянела? — поинтересовалась Уланова. — Смотри не раскисни. Ты сегодня меньше разговаривай с другими, чтобы запах не почувствовали. И вообще о нашем разговоре забудь. Но стой на своем. Этого не забывай. И еще. Тобой парторг что-то интересовался. Но я тебе этого не говорила.

Снег. Снег за окном. Красота. И рада бы Вера по-детски отдаться восторгу перед снегом, но не получается никак. И разговор с Улановой из ума не идет, и эти тяжеловесные шаги и кашель в прихожей тревожат. Кашель и шаги нового жильца. Не могла понять Вера, почему, едва слышит она эти шаги и этот кашель, тревожно становится ей, неудобно. Да, появился в квартире новый жилец, и все комнаты теперь заняты.

10

А ведь опечатанная комната давно не давала покоя Ивану Краюку, особенно после того, как у него на стене лопнули обои. Случайно вышло. Стоял у стены диван — массивный, с высокой неоткидывающейся спинкой. Спинку венчали две короткие

полочки по бокам. Предполагалось, что на полочках будут стоять книги. Но те книги, что были в доме Краюка, вполне умещались на одной, на второй же поселились статуэтки. Они очень нравились младшей дочери Краюка Вале, особенно олененок с печальной мордочкой. Олененок казался таким грустным, что Вале хотелось взять его на руки, прижать к груди и баюкать. Но мама не разрешала брать олененка. А он стоял и грустил, смотрел сверху на Валу и просился на ручки. И Валя решилась.

Родители уже долго разговаривали в соседней комнате. Валя прислушалась и по тону разговора поняла, что он надолго. Она вскарабкалась на диван, попыталась дотянуться. Руки уже доставали до статуэтки, но взять ее Валя не могла: мешала оградка из изящных деревянных балясин. Тогда девочка подложила под ноги пухлую и жесткую диванную подушку, встала на нее. Теперь только подняться на цыпочки. Вот он, олененок, уже почти в руках. Подушка выскользнула из-под ног, Валя сорвалась, больно ударилась лбом о деревянную раму спинки и ладонью о стену. Заревела она больше от испуга, чем от боли. Вбежали родители. Диана схватила дочь, подула на ушибленный лоб, а Иван Васильевич недовольно прикрикнул:

— Беда с тобой, Валуха! Вечно что-нибудь устроишь! Вот и обои порвала!

Но приглядевшись к разрыву, он пощелкал ногтем по обоям. Глуховатым стуком, как от мембраны барабана, отозвалась стена.

— Э, да обои натянуты на чем-то. пустота за ними, догадался Краюк. — Дай-ка, Диночка, карандашик.

Валя давно перестала плакать. Она быстро догадалась, что теперь ее не накажут, и смотрела на то, что делает отец. А Краюк вставил карандаш в прореху — тот уперся во что-то твердое. Краюк легонько постучал, стук говорил: под обоями деревянная конструкция.

— А ведь, похоже, там дверь, Диночка, — внезапная радость прорвалась в голосе Краюка. — Ну-ка проверим.

Он еще больше надорвал прореху и просунул в нее палец. Под пальцем он почувствовал деревянную поверхность с рельефом.

— Так и есть! Дверь! Точно дверь между комнатами! — теперь Краюк уже не скрывал радости.

— А чему ты радуешься? — Диана пока не понимала мужа.

— Как ты не понимаешь, Диночка! — Краюк обнял жену за плечи. — Комната непосредственно связана с нашей, получается, что это не новая комната, а продолжение нашей. И если что, поняла?.. Ну, если вдруг ты подаришь нам...

Краюк провел ладонью по животу жены, и та наконец догадалась.

— Да будет тебе! — отмахнулась она от мужа. — Какие тебе еще подарки? Не будет пока подарков.

Диана помолчала и добавила уже серьезно:

— Да и не дадут нам ничего.

— А это мы еще посмотрим, — Краюк поплевал на ладони, уперся ими в диван, сдвинул его немного, чтобы закрыть прореху на обоях. — Так-то лучше. Меньше глаз пусть видит.

С этого времени старшина Краюк стал осаждать командование полка, выпрашивая ходатайство на занятие дополнительной жилплощади.

— У нас две девочки, — убеждал он. — Мы люди молодые, того гляди, пацан появится. Очень нужна нам эта комната.

— Когда появится мальчик, тогда и поговорим, — отмахивались от него, но Краюк не отступал.

И вот в этой вожденной комнате поселился новый жилец. Появился он так же неожиданно, как когда-то появилась Вера. И сразу удивил жильцов, а Веру в особенности. Удивил и видом своим, и поведением. Тщательно выбритый и аккуратно подстриженный, в темных, по-матросски выглаженных брюках и так же тщательно выглаженной рубашке, он отличался от большинства мужчин, окружавших Веру. Новый жилец казался замкнутым и сухим. На приветствия и вопросы отвечал коротко и отрывисто, в долгие разговоры и вовсе не вступал, мог посреди такого разговора, ничего не объясняя, развернуться и уйти. Даже имя нового жильца — Тихон Токарев — соседи узнали не сразу. Поражал и взгляд Токарева — тяжелый и непроницаемый. Этот взгляд сразу обрывал все попытки соседей поговорить с Токаревым по душам. Очень не понравился этот Тихон Токарев словоохотливой Евдокии Грязновой.

Невзлюбил нового соседа и Краюк. Но рассудив, что начинать соседское сосуществование с глухого противостояния будет политически неверным шагом, решил для начала прощупать почву. Пошел Краюк проторенным путем: однажды, прихватив бутылку водки, он постучался в дверь Токарева. Тихон встал на пороге — и Краюк невольно отступил на шаг, оглядывая соседа. Тот и дома ходил не в тапочках, а в туфлях, на нем, как и днем, были тщательно выглаженные брюки и рубашка. Токарев, не сдвигаясь с места и молча, стоял в дверях. «Еще один интеллигент, — внутренне поморщился Краюк, приняв молчаливость соседа за нерешительность и робость. — Тем лучше. Быстрее сковырнем». Не говоря ни слова, он шагнул к Токареву, пытаясь отодвинуть его и пройти в комнату. Тихон стоял, как скала. Тут стушевался и сам Краюк:

— Я, того... Я пришел вот... Чтобы со знакомством...

— Я не пью. — отрезал Токарев. — Впрочем, чаем угостить могу. Чайник как раз закипел. У меня электрический.

Он отодвинулся, но ненамного, и Краюку пришлось боком протискиваться между соседом и косяком двери. Протиснувшись, Краюк первым делом огляделся. Размеры комнаты не впечатлили старшину. «Маловата, — подумал он, — но пацану на первое время хватит». Краюк уже рассуждал так, словно в это время наследник его уже гулил в колыбельке в соседней комнате, а на руках у него, Краюка, был ордер на занятие «сопредельной жилой площади».

Комната и впрямь была невелика размерами, пожалуй, самая маленькая во всей квартире. Небольшая комната в одно окно, на котором удивительным образом сохранились ставни, тогда как в других комнатах жильцы избавились от них. В одном углу комнаты возвышалась голландская печь, в другом стояла ротанговая этажерка с книгами. Рассматривать корешки книг Краюк и не подумал, зато отметил кремовый абажур над столом в центре комнаты. «И у этого абажура, — усмехнулся он про себя. — Других вещей раз-два и обчелся, а абажур повесил. Интеллигенция». Краюк стоял, не зная, как начать разговор, и абажур мог стать хорошей зацепкой для его начала. Он указал на него рукой и то ли спросил, то ли сообщил:

— По последней моде.

— Дело не в моде. Так безопаснее в пожарном отношении. Устраивать подобие абажура из газеты не годится, — объяснил хозяин и пригласил наконец гостя за стол. Но тот стоял.

— Краюк Иван Васильевич, — представился он, протянув руку.

Токарев сдержанно пожал ее и ответил:

— Я уже прочитал. На почтовом ящике.

— А ваше имя какое? — Краюк продолжал стоять, прижимая к себе одной рукой бутылку.

— Токарев. Тихон Михайлович Токарев. Садитесь, наконец.

Краюк опустил на стул и поставил бутылку в центр стола.

— Стаканчики найдутся, хозяин? — спросил он, доставая из кармана перочинный нож, чтобы отбить сургуч с головки бутылки. Но Токарев остановил его:

— Я же сказал, что не пью. Думаю, что и вы в одиночку пить не станете. А чай сейчас будет готов. Вот уже и настоялся, — сказал он, приподнимая крышечку заварного чайника, и еле заметно вдохнул поднявшийся оттуда аромат. — Правда, угощать особенно нечем. Разве что сухариками.

Токарев достал из узкого шкафчика приземистую, но глубокую вазочку, из которой горкой выглядывали сухарики. Краюк искренне удивился: каждый сухарик был кубической формы с гранью не больше сантиметра. Хозяин разлил чай по чашкам и сел напротив гостя. Беседа не клеилась.

Несколько раз заводил Краюк разговор о войне, пытался выяснить, где и кем служил новый сосед, но Токарев от ответа уходил, два раза даже оборвал Краюка довольно резко. Краюк заметно нервничал, он беспрестанно брал из вазочки сухарики и отправлял их в рот, рассыпая по груди и столу крошки. В какой-то момент Токареву пришлось как бы невзначай отодвинуть вазочку от прожорливого соседа. Краюк догадывался, что сейчас ему лучше уйти, но как сделать это, не знал. Наконец спросил напрямик:

— Что ты все молчишь, сосед? Либо молчишь, либо юлишь! Рассказывать не о чем, капитан? Может, и не воевал ты вовсе? Может, ты и не ...

Токарев поднял на Краюка тяжелый взгляд. Он знал силу своего взгляда, знал, что взгляд этот способен припечатать нежелательного собеседника, припечатать его к стулу, как когда-то останавливал немецких лагерных псов, и те, поджав хвосты, приседали на круп, тонко поскуливая. Токарев молча смотрел на Краюка. Тот сбился, поперхнулся сухарными крошками и закашлялся. Видно, глубоко вдохнул он крошки — кашель не прекращался. Токарев молча налил из почти остывшего чайника воду в чашку и протянул ее Краюку. Дождавшись, когда тот сделает несколько спасительных глотков и перестанет кашлять, Токарев заговорил тихо, но твердо, с расстановкой:

— Брудершафта мы с вами, Иван Васильевич, не пили, посему предлагаю и впредь оставаться на «вы». Это первое. Далее. По уставу Красной армии военнослужащие обращаются, особенно к старшим по званию, с прибавлением слова «товарищ». Так что я вам не капитан, а «товарищ капитан», впрочем, и вы для меня «товарищ старшина»...

Как ждал этих слов Краюк! Знал, знал старшина, что капитан не преминет поймав его на нарушении субординации. Краюк даже ответ заранее подготовил: «Так вы сейчас, как я понимаю, даже не в запасе, а в отставке, — думал сказать он, — значит, и не военный служащий. А я хоть и старшина, но в строю. Так что нет никакого нарушения, капитан. И называю вас по званию больше из уважения». Так думал ответить Краюк, но под взглядом капитана чувствовал, как язык прилип к нёбу. А Токарев продолжал:

— Что же касается моего молчания... Не хочу я говорить об этом. Не хочу. Каждый человек имеет право молчать о чем-то. вы же не рассказываете, почему не снимаете своей тубетейки. Сдается мне, что и ночью в ней остается.

Сказал — и отвернулся. А Краюк отреагировал болезненно. Он весь сжался, лицо перекосилось, правое плечо поползло вверх, как если бы он хотел полностью втянуть голову в плечи. Обими руками он схватился за тубетейку, словно опасался

ся, что она слетит. Он поспешно вскочил со стула, сделал несколько шагов к двери, потом, вспомнив, вернулся, схватил со стола так и не откупоренную бутылку.

— Не получился у нас разговор, — пробормотал он, хотел гордо выйти из комнаты, размахнуться и хлопнуть дверью, но почему-то в последний момент резко задержал руку, вытек в прихожую и прикрыл дверь за собой. Токарев же, не оборачиваясь, смотрел в окно, пока не услышал, как громко хлопнула дверь в комнате Краюка.

Увидев мужа, Диана вскочила со стула и бросилась навстречу.

— Что с тобой, Ванюша?! Что случилось? На тебе лица нет! — тараторила она.

Краюк никак не мог сладить с кривящимися губами, говорил с трудом:

— Говорить не хочет сосед... Гребует... Со старшиной говорить гребует... Как же! Офицер. Ординарца небось имел при себе, — с трудом выдавливал он слова. И вдруг сорвался. Теперь он словно выплевывал фразы одну за другой:

— Тютетейка моя ему не понравилась! Сплю я в ней!.. А она вот! Вот!

Он сорвал тютетейку и стал хлестать ею себя по голове. Диана повисла на его руках.

— Что ты делаешь, Ванечка?! Нельзя же! — приговаривала она, выхватив тютетейку из рук мужа, и несколько раз ласково провела ладонью по его голове. — Нельзя...

Голову Краюка пересекал грубый, уродливый узловатый шрам, по обеим сторонам которого белела полоса, не зараставшая волосами.

— Никто не знает, что через всю башку мою... Никто не знает. Никто, — твердил Краюк уже тише.

— Я знаю, Ванечка, я знаю, — успокаивала его жена.

А он вдруг сорвался:

— Что ты?! Что ты?! Знает она! Видеть тебя не могу, посылаю! Вот если бы Тонечка, санинструктор, — чуть ли не выт тонким голосом Краюк. И вдруг рухнул ничком на кровать. Диана опустилась рядом на корточки.

— Как же так? Как же так, Иван Васильевич? Тонечка... Зачем Тонечка?.. Как же так, Иван Васильевич? — сквозь слезы приговаривала она, поглаживая обезображенную шрамом голову мужа. Краюк продолжал поскуливать все тише и тише, пока не затих.

Нет, не знала Диана всей правды о ранении мужа. Да и откуда было ей знать, когда сам Краюк не договаривал.

...Старшину Краюка обнаружила санинструктор Антонина Потапова, Тонечка. Обнаружила случайно, просто в наступавших сумерках споткнулась о песчаный холмик. Споткнулась, чертыхнулась, а холмик застонал. Поняв, что за холмик приняла она раненого, присыпанного землей бойца, Потапова бросилась к нему. А раненый, почувствовав скорое спасение, застонал громче и попытался шевельнуться.

— Вижу, вижу, что живой, — продолжая сгребать руками и отбрасывать комья земли и не разглядев еще старшинских погон, «тыкала» Тоня. — Не дергайся. Лежи спокойно. Эко тебя ранило! Ладно, не дрейфь, сейчас перевяжем.

Рана оказалась сложной и непонятной: макушка старшины обгорела, и это место обугленной кожи и опаленных волос пересекала кровавая борозда от удара ножом или лопатой. Наскоро наложив повязку, Тоня потащила старшину дальше от опасного места. Попал старшина в медсанбат, и все бы хорошо, но у кого-то возникли вопросы. Долго не могли уяснить, как это старшина и удар по голове получил, и этой же головой в огонь попал. Расспрашивали Потапову. Та честно отвечала, что нашла старшину лежащим без сознания немного в стороне от основной позиции. Не могла санинструктор знать всего!

...Взвод удерживал высоту отчаянно. Краюк занял, как ему казалось, удобную позицию. Он, скрытый сухим кустарником и остатками деревянных строений, сам хорошо обозревал пространство перед собой, видел атакующих врагов. А тот фриц появился неожиданно. Краем глаза увидел старшина темную фигуру, появившуюся из-за пригорка. Лица Краюк не разглядел, но успел заметить металлический ранец за спиной. Мозг, научившийся за три года реагировать мгновенно, тут же определил: огнем! Все произошло одновременно. Краюк выпустил в немца едва ли не половину обоймы, немецкий огнемет успел выплюнуть порцию пламени. Но немец уже опрокидывался навзничь, поэтому струя огня рванулась вверх, успев сшибить с головы старшины пилотку и опалить темя. Сухой кустарник и остатки деревянных строений загорелись тоже. Странно порой ведет себя человек в подобных ситуациях. Первым делом Краюк поднял с земли сбитую и тоже обгоревшую пилотку и стал сбивать огонь со своих плеч. До спины дотянуться не мог, потому и принялся кататься по земле. Тут-то и возник второй немец. Поднять с земли автомат и передернуть затвор старшина не успел бы, вот и схватился в рукопашной. Не помнил старшина, как и чем зарубил он немца, как поднял свой автомат, как сделал несколько шагов, упал, скатился с возвышенности, как от очередного разрыва его засыпало землей.

Впрочем, это Диана знала, об этом муж ей рассказал. Неохотно говорил он о другом. О том, что допрашивали и его, Краюка. Он отвечал: да, с фрицами схватился, кажется, уложил двоих; кажется, упал, скатился вниз. Что было после, не помнит. Вроде бы и ясна картина, но подтвердить слова старшины было некому: он оказался единственным выжившим из взвода. Правда, нельзя было отмахнуться от других фактов: высоту взвод до подхода основных сил удержал, оружие старшина в бою не бросил и документы не растерял. Решение приняли неожиданное. Ввиду неясных обстоятельств к награде старшину Краюка не представлять, но и взыскание не накладывать, а по излечении направить в родной полк для дальнейшего прохождения службы.

Краюк понял, что ему не верят, и затаил обиду. Обида была на osobистов, не поверивших его показаниям, на командование, поверившее особистам, даже на боевых друзей, которые погибли и потому не могли подтвердить его, Краюка, слова. Особенно же болезненной была обида на санинструктора Потапову, на Тонечку, которая отвергла его ухаживания. Как он старался пересечься с санинструктором, какие только поводы ни искал, чтобы невзначай оказаться с нею в одном месте и в одно время, какие красивые слова ни выуживал из своей огрубевшей солдатской памяти! Но Тоня не реагировала никак, а однажды сказала:

— Сейчас война, товарищ старшина. Вот после победы нашей, может, и поговорим. Да и дома есть кому ждать вас.

Честно сказала, честно дала понять, что напрасны все его усилия. А Краюк усмотрел в ее словах неверие и недоверие.

— И ты?! И ты не веришь мне?! — чуть ли не выкрикнул Краюк. Обидно стало. Ведь видела Тоня его, засыпанного землей, ведь тащила на себе, а сейчас вот...

С тех пор оборвал Краюк все попытки пересечься с нею, хотя девушка еще долго снилась старшине. С тех пор все свои неприятности по службе, в том числе и неудачные попытки производства в офицеры, связывал Краюк с тем ранением. Глубоко засела обида. Обида двигала отныне его настроением и поступками. А однажды, совсем недавно, его сослуживец, прошедший с ним всю войну, а сейчас, как и Краюк, старшина-сверхсрочник, спросил в сердцах:

— Вот скажи мне, Иван Васильевич, как могло случиться, что Краюк, который честно и храбро воевал, превратился в такого вот жлоба?

Спросил и, не дождавшись ответа, махнул рукой и ушел.

Не любил вспоминать обо всем этом Краюк. И жене многого не рассказывал. Вот и сидела она на корточках перед ним, лежавшим ничком на кровати, поглаживала рукой по голове и горько вздыхала.

Весь остаток дня провел Краюк в комнате и выходил только в уборную.

11

Вера стала невольной свидетельницей того, как Краюк выскользнул из комнаты Токарева и, прижимая неловко одной рукой к груди бутылку, а другой придерживая тюбетейку, быстрым шагом прошел по коридору к себе. Окажись на ее месте кто-нибудь другой, например Грязнова, странное бегство Краюка не осталось бы незамеченным, а Евдокия Павловна, скорее всего, разузнала бы все, докопалась бы до причины. Но Вера не придавала увиденному значения. Другое беспокоило и мучило ее: не могла никак она забыть разговор в кабинете парторга.

Она сразу узнала молодого человека в хорошем костюме. Это он беседовал с ней, прежде чем получила она ордер на квартиру. Он говорил тогда о бдительности, ответственности и священном долге. Сейчас молодой человек приветливо поздоровался за руку, усадил за стол, сам сел напротив, а не в кресло парторга. Вера не могла оторвать взгляд от его красивого галстука и тонкого, как по линейке прочерченного, пробора. А он улыбнулся и сказал приветливо:

— Вот что значит в чужом кабинете беседу вести. У себя я вас чаем бы угостил.

— Что вы, что вы, не надо! — едва не замахала руками Вера.

— Конечно, не надо. Поскольку чая у вашего парторга нет, — молодой человек снова улыбнулся.

Если бы Веру спросили, о чем именно говорили они, она, наверное, не ответила бы. Вроде о пустяках разных. Интересовался, как живет она, как ладит с соседями. Не притесняют ли ее соседи, не обижают ли. Хотела было Вера пожаловаться на Краюка, да потом решила не связываться: мало ли куда жалоба эта завести может! Вера отвечала на незначущие вопросы, а сама чувствовала: вытягивает, вытягивает из нее этот молодой человек все, что на душе. Словно ухватил конец нитки и наматывает, наматывает на клубок. А она, Вера, все ему выдает. И тут он спросил:

— Говорят, вы часто стали у графини этой бывать?

— У какой графини? — Вера попыталась выразить недоумение, хотя сразу догадалась, что речь идет о Елизавете Аристарховне.

— Ну, не прикидывайтесь. Вы же прекрасно знаете, что соседка ваша, Головина, дворянского происхождения, больше того — графиня. Что вы можете сказать о ней? Чем она занимается? О чем говорила с вами?

— Да ничем особо не занимается... На пианино играет!

— На пианино?

— Да. И стихи читает. Вслух читает. Сама себе.

— Какие стихи? Вы не запомнили?

— Я ничего не поняла. Она по-немецки читает.

— Откуда вы знаете, что по-немецки, если ничего не поняли.

— В школе-то учила. А потом она сама говорила. Поэта... Как его... Хайсе? Хане?.. Я не запомнила.

— Значит, по-немецки, — протянул гость. Как изменился его голос! Как незаметно стал он ледяным и жестким.

Спохватившись, решив, что сболтнула лишнее, Вера торопливо заговорила:

— Вы не думайте. Она хорошая... Она ничего такого... Она в госпиталях перед ранеными выступала. На аккордеоне играла, стихи читала...

— Проверим и это. Проверим. Неизвестно еще, что она могла говорить раненым. Молодой человек прошелся по комнате, обошел стол, сел рядом с Верой и спросил:

— А что можете сказать о новом жильце?

— Ничего не могу. Почти не общаемся мы.

— А зря. Пообщайтесь. Присмотритесь пристальнее. Может, что и заметите.

Он встал, снова прошелся по комнате и продолжил:

— Вы должны быть благодарны Советской власти. Вам вне очереди выделили комнату. А на фабрике много достойных претендентов было. И уверен: вам не хочется потерять ее. Советская власть пришла вам на помощь, когда вы в ней нуждались. Помогите теперь и вы ей. И конечно, наш разговор должен остаться только между нами. Вы умная женщина. Вы ведь все поняли?

У Веры пересохло во рту, и она смогла только кивнуть в ответ.

— Вот и славно! — молодой человек приобнял Веру за плечи, и та догадалась, что нужно встать. Гость довел Веру до двери и снова стал приветливым:

— А теперь идите, трудитесь. И старайтесь выглядеть радостной.

Но казаться, а тем более быть радостной Вера не могла. Вера уже научилась улавливать смутные, неясные ощущения и предчувствия и даже пыталась анализировать их. Получалось не всегда. Вот и сейчас молодой человек все-таки вселил в Веру неосознанный страх. Она ощущала его, но не могла понять, чего именно стоит ей опасаться. К страху примешивалась досада. «Что же это такое?! — думала Вера. — Вызывают, беседуют. Приветливо беседуют. Не отчитывают, не указывают на недостатки, не прорабатывают, как случается на собраниях. Все по-доброму, словно по душам. А потом — бац! Никому не говори, Вера Проскурина. Тайна у нас с тобой». И чувствовала Вера, что будто отныне повязана она, как вожжой, какой-то поручкой, что не сможет теперь освободиться от нее, не сможет жить сама по себе, не избавится никогда от невидимой вожжи. Но еще угнетала мысль, что она, Вера, чем-то навредила Елизавете Аристарховне.

Поэтому придя вечером домой и едва переодевшись, Вера неслышно подошла к двери Головиной. Тонкая полоска света пробивалась сквозь щель. Вера прислушалась. Мелодия за дверью была тихой, но она говорила о том, что хозяйка дома, что сидит перед своим пианино и играет. Вера успокоилась и тут вспомнила всю обстановку в комнате соседки, ее абажур, книги, статуэтки. Статуэтки! Вера так и не купила их себе. Однажды уже готова была, но на витрине в магазине стояли только две: девушка-пловчиха в шапочке и с полотенцем в руках и какой-то бородатый русский богатырь. Перед богатырем лежала этикетка с надписью: «Александр Невский». Вера улыбнулась знакомому имени, да и фильм ей нравился, но посчитала, что нелепо будет выглядеть такая статуэтка в ее комнате. Девушка-физкультурница была хороша, но с браком: один еле заметный пальчик откололся. Так и оставалась Вера пока без желанных статуэток.

От громкого крика в комнате соседа Вера вздрогнула. И тут же этот одинокий крик подхватили сотни голосов и слились в один протяжный восторженный гул. «А, футбол передают, — догадалась Вера. — По радио сосед слушает». И тут же настроение у нее испортилось, как портилось всегда, когда случалось ей хоть каким-то

образом пересечься с Токаревым. Она не то чтобы боялась его, но чувствовала некоторую настороженность и не понимала почему. От ее немногословного соседа исходили спокойствие и надежность, но были они холодными. Так спокойна и надежна бывает холодная скала: прислониться можно, но долго не прстоишь. Но и с этим смирилась бы Вера, постаралась бы по возможности не общаться с соседом, если бы... С досадой сознавала она, что хочется ей заговорить с Токаревым, коснуться его руки, пусть даже окажется она ледяной. Хотелось и было боязно.

Подростком в пионерском лагере убежала она с тремя мальчишками во время тихого часа к полуразрушенной церкви. Ходило в лагере поверие, что из подвала церкви ведет куда-то длинный подземный ход. И слышны голоса. «Голоса мертвецов», — уверяли рассказчики, сбежавшие от дневного сна, и спустились в подвал проверить.

Сквозь маленькие оконца над самой землей пробивался вниз слабый свет. В животе похолодело — от неизвестности того, что впереди, и от понимания, что ждет их в лагере нагоняй, если обнаружится их отсутствие. И голоса донеслись. Донеслись из глубины уходящего во тьму коридора. Ребята слышали бормотание, но слов разобрать не могли, и от этого становилось еще страшнее. Вдруг Вера почувствовала чью-то руку на спине. Это было уже слишком! Девочка закричала, развернулась и побежала назад. Крик подхватили мальчишки и кинулись вдогонку.

До лаза в заборе лагеря добежали вдвое быстрее, чем шли к развалинам. Молча пролезли на территорию, молча разбежались по своим отрядам и юркнули в постели. Только позже выяснили, что один из мальчишек, желая нащупать в полутьме стену, коснулся случайно спины Веры. И никто не объяснил ребятам, что голоса в подвале были голосами рабочих, которые трудились на разборе дальнего притвора церкви. Много лет прошло, но Вера хорошо помнила сочетание того детского желания увидеть неизвестное и страха перед ним. Что-то подобное чувствовала она и сейчас. «Подойти и заговорить. Что тут такого?» — уговаривала себя Вера. Но тут же вспомнила недавнее неожиданное столкновение с соседом на кухне.

Токарев стоял у окна и курил в форточку. Вере надо было пройти между ним и столом. Она стала протискиваться и коснулась пальцами его спины. Сосед вздрогнул, резко обернулся.

— Никогда! Слышите, никогда не смейте касаться моей спины! — ледяным голосом четко произнес он. — И лучше вообще не подходите со спины.

Вера ничего не смогла ответить тогда, отступила на шаг, едва не сев на стол, глаза наполнились слезами. А Токарев, не говоря больше ни слова, закрыл форточку, отвернул кран, пустив очень тонкую струю, загасил ею окурок, только после этого бросил его в мусорное ведро и вышел из кухни. «Автомат какой! Человек-машина!» — подумала Вера и поежилась.

Впрочем, предаваться воспоминаниям было некогда: Вери ждала работа. Уже больше месяца по вечерам и в выходные дни она снимала мерки, кроила, строчила на машинке. К ней то и дело приходили заказчицы, вызывая ехидную улыбку Краюка. Увидев очередную посетительницу, он усмехался, многозначительно поджимал губы и покачивал головой. Вера замечала это и не исключала, что сосед все визиты фиксирует в своем блокноте.

Вздохнув, поплелась она в свою комнату. А дома пододвинула настольную лампу ближе к машинке, благо новое платье очередной заказчицы оставалось на ней со вчерашнего вечера, села перед машинкой, взялась рукой за маховик и уже готова была начать строчить, как внезапно опустила руки. Вспомнила Вера, что накануне к вечеру машинка стала взбрыкивать: стучала с жестким призывком, словно ме-

ханизм цеплялся за что-то, шила с трудом, а потом и вовсе встала. Как будто зажали иглу неведомые тиски и не пускали ее ни туда, ни сюда. Попыталась Вера рукой подать маховик, но только вогнала иглу глубже.

За стеной нестерпимо орал репродуктор Владимира Никифоровича, сосед тоже слушал трансляцию футбольного матча со стадиона. Зажав уши ладонями, Вера облокотилась обеими руками о столешницу машинки и готова была расплакаться. Время поджигает, заказчица придет через два дня, деньги Вера получила заранее и сполна, а платье не готово, машинка не работает, и никого, кто мог бы помочь, починить. Димка в армии, хотя надежда на него была бы слабая; Владимир Никифорович отпадает: пока докричишься до него, пока объяснишь, голос сорвешь; Краюк и вовсе не в счет. Не к новому же соседу обращаться, буке этакому! Да и откажет он.

Как часто случается такое: нелепое, казалось бы, предположение вдруг оказывается единственно разумным и верным. «А почему бы и нет? — подумала Вера. — Вот только футбол этот закончится...» Вера разжала ладони — и тут же гул трибун, доносившийся из репродуктора, смолк, радостные, бодрые ритмы марша, который Вера уже узнавала, отзвучали, и воцарилась тишина. Вера поняла, что Владимир Никифорович выключил репродуктор. Но отправляться к Токареву сразу Вере показалось неприличным, и она решила выждать несколько минут.

Через четверть часа она стояла у двери Токарева, но на стук никто не отозвался. Вера постучалась еще раз — и вновь без ответа. Тогда она взялась за ручку — дверь подалась и приоткрылась. Осторожно заглянув внутрь и не найдя никого, Вера поспешно закрыла дверь и оглянулась по сторонам. Кажется, никто не заметил ее несостоявшееся вторжение. «Видно, не судьба», — решила Вера и отправилась на кухню.

Токарев сидел за столом и пил из красивой чашки... Вера слегка опешила: в чашке был не чай, не какой-то другой напиток. Сосед пил кипяток.

— Удивлены? — спросил он, почти не поднимая головы. — А я вот привык. В госпитале научился. Перенял от хирурга. Майор на дежурствах пил именно кипяток. Вкусно.

Сказал — и снова склонился над чашкой, а Вера, не зная, что ответить, только кивнула. Наконец, подавив смущение, все же сказала:

— У меня просьба к вам. Я слышала, что вы механик, а у меня машинка испортилась, заело. А заказ нужно срочно сделать.

Второй раз говорила она с Токаревым и опять никак не называла его. Обращение к соседу по фамилии казалось ей слишком официальным и нелепым. А называть по имени и отчеству, тем более просто по имени не могла. Ей казалось, что, назвав так, она перейдет какую-то черту, вторгнется в личное пространство, куда сосед ее не приглашал.

Некоторое время Токарев смотрел то в свою пустую чашку, то на Веру. Наконец процедил:

— Я механик, но не специалист по швейным машинкам.

— Тогда извините, — вздохнула Вера и так по-детски посмотрела, что Токарев смягчился.

— Ладно, показывайте, что там у вас, — сказал он, поднимаясь и направляясь к двери. Пустая чашка оставалась на столе. Вера задержала на ней взгляд.

— А чашка? Ваша чашка...

— Пусть постоит. Думаю, за это время ее не украдут.

Вера шла впереди и не могла понять, почему у нее так гулко стучит сердце, а щеки — она чувствует! — покрываются краской. У Веры Токарев сразу подошел к машинке, потрогал маховик, попытался приподнять ножку с иглодержателем.

— Кажется, ничего серьезного, — сказал он, — и если вы потерпите минут пять, я схожу за инструментами.

Вернулся Токарев очень быстро с небольшим чемоданчиком в руке. Когда он откинул крышку чемоданчика, Вера заглянула внутрь и залюбовалась. В самом чемодане и на крышке инструменты лежали в строгом порядке — где-то в специальных гнездах, где-то прихваченные скобами. И вновь в который раз поразились Вера аккуратности соседа. Прежде таких мужчин она не встречала. Вера не заметила, как ушла в свои воспоминания, голос Токарева вернул ее в комнату.

— Принимайте работу, хозяйка, как говорят в таких случаях мастера, — сказал он и, как показалось Вере, еле заметно улыбнулся.

Вера села к машинке, подложила под лапку лоскуток и несколько раз качнула ногами педаль. Машинка работала без призывков, строчка шла идеально.

— Спасибо. Огромное спасибо. — встала Вера. — Вы просто спасли меня.

— Ладно уж, спас...

Надо было уходить, но Токарев почему-то не двигался; надо было еще что-нибудь сказать мастеру, но Вера не находила слов. Первым нашелся Токарев.

— Я тогда накричал на вас из-за своей спины, — сказал он. — Так вы уж извините. Но я и правда не терплю прикосновений к ней.

— Ничего-ничего, — поспешно и обрадованно заговорила Вера. — Я тоже не люблю, когда кто-то со спины подходит. С детства не люблю. Думаю: сейчас прыгнет, набросится.

— Да-да, — подхватил Токарев, подошел к двери и уже взялся за ручку, но вдруг обернулся.

— Скажите, Вера, вам не тяжело жить здесь? — вопрос был неожиданным, и Вера замешкалась:

— Да нет, кажется... А почему вы спросили?

— Другая вы. Не похожи ни на кого из здешних обитателей. Ни в квартире, ни на лестничной клетке.

— Я не задумывалась. Да и некогда мне. С утра до вечера за машинкой — и на работе, и здесь.

— Устаете? Однообразная ведь работа...

— Устаю. А что поделать? Но и вы не похожи ни на Владимира Никифоровича, ни на Краюка.

— Наверное, — усмехнулся Токарев. — Ну, мне пора.

— А может, чаю? — Вера не понимала, что заставляет ее говорить это.

— В следующий раз, мы и так много наговорили сегодня. Да и чашка моя ждет меня.

Ничто больше не мешало Вере завершить свою работу, и она принялась за дело. Машинка строчила, ткань двигалась под металлической лапкой, раскрытые куски ткани становились платьем, а опытная портниха Вера могла не следить неотрывно за строчкой. И тогда мысли ее уходили далеко, переплетались, терялись в тумане. Вера не могла бы вразумительно сказать, о чем именно думала она, но ясно было одно: во всех этих блуждавших и уходивших в туман мыслях присутствовал он — ее сосед. Иногда Вера даже останавливалась, переставала работать ногами и направлять ткань, чтобы мысли к работе вернуть. Но едва начинала строчить, перед глазами появлялся Токарев.

После полуночи платье было готово, и Вера почувствовала, как устала, какой тяжелой стала голова. Пора бы и в постель лечь, но воздух в комнате показался ей спертым, и Вера подошла к окну.

Она любила, выключив в комнате свет, заслонившись от комнатного света ладонями, смотреть в ночные улицы, считать светящиеся в ночи окна, представлять, как могли бы жить за ними люди. Но сейчас надо было проветрить комнату. Вера раскрыла настежь окно — ночная осенняя свежесть стала просачиваться в комнату. Осенний воздух уже дышал морозцем, но Вера вдыхала его и с удивлением видела, что ни одного светящегося окна обнаружить не может. «Неужели это я одна такая полуночница?» — подумала Вера и высунулась по пояс из окна, легла грудью на подоконник, поглядела вверх, вниз, влево — всюду тьма. И только справа на одном уровне с ее окном, как маячок, светилось еще одно. «Ого, еще кто-то бодрствует, — подумала она. — Кто бы это мог быть?» И вдруг ее обожгло: он! Токарев! Он тоже не спит. Тоже не может уснуть? Она отпрянула от окна, быстро закрыла его и даже задернула штору, чтобы сосед не застал ее ненароком за этим невинным подглядыванием.

Сердце снова колотилось, во рту Вера почувствовала сухость. Никогда не смогла бы она объяснить, что вело ее тогда, но она решительно подошла к двери, решительно вышла в прихожую, решительно подошла к двери Токарева — и остановилась. Шаги за дверью она расслышала не сразу, но сомнений не было: сосед тоже подошел к двери. Они оба стояли и чего-то ждали: он с одной стороны двери, она с другой. Прошла минута, другая, третья. Они стояли друг перед другом, разделенные дверью, и никто не решался сделать шаг первым. Наконец Вера услышала, как сосед отошел от двери, тогда и она развернулась и пошла к себе. А дома провалилась в сон, словно выпустили из нее воздух.

Токарев не спал, хотя давно выключил в комнате свет сразу после того, как погас свет в комнате Веры. И хоть давно расстелил постель на своем диване, лечь не пытался, ибо знал, что не уснет. Неужели из-за этой странной соседки? Он прекрасно слышал ее шаги, чувствовал ее через дверь, даже дыхание слышал, но дверь не открыл, не впустил. И оно появилось, это предшествующее бессоннице состояние, когда глаза становятся словно сухими, голова — почти невесомой, а мысли — ясными до звона. И воспоминания встают осязаемо, четко. Всякий раз одни и те же.

В план побега из лагеря военнопленных никого из сокамерников посвящать не стал, решив, что в одиночку будет спокойнее: нет ни груза ответственности за втянутых в операцию, ни опасности предательства. Выбраться за пределы лагеря оказалось проще, чем он предполагал. Токарев давно научился избавляться от лагерных собак. Под его взглядом они не лаяли, не бросались на него, а подползали и ложились у ног, даже не поскуливая. То, что лагерь находится на территории Литвы, определил заранее. Значит, двигаться надо на юго-запад, в Белоруссию, туда, где партизаны. В прошлом инструктор любительского туризма, Токарев хорошо ориентировался на местности. Он трезво рассудил, что безопаснее будет не пересекаться с местным населением, но как ни старался обходить деревни и хутора, наткнулся на затерянный в глуши отруб. Хозяева говорили по-русски, приняли спокойно, даже дали кусок хлеба и кружку молока, указали на сеновал, где он мог бы переночевать. А ночью услышал он конское фыркание и прильнул к щели между досками. Двор освещала луна, и было хорошо видно, как хозяин запрягает лошадь в телегу. При этом он озирался по сторонам и пытался ладонью прикрыть морду лошади, чтобы та не фыркала или не заржала. Дождавшись, когда хозяин выведет лошадь с телегой со двора, он спустился на землю, двинулся следом и скрылся в лесу.

Последующие события шли, как обычно. Поначалу недоверие партизан, проверка в отряде, проверка в деле, дерзкие операции. Партизан он, по видимости, убедил,

и те сообщили на Большую землю, и вскоре его затребовали туда. И снова недоверие, проверки и допросы, допросы, допросы. А потом все так же резко изменилось: допросы прекратились, в звании его восстановили. Видно, был у него ангел-хранитель. И теперь уже наступал Токарев вместе с остальными, двигался на запад: через Литву в Восточную Пруссию...

Токарев взглянул на часы: три часа ночи. «Однако надо и поспать, — решил он. — Хотя бы часа три-четыре. Как в дежурстве по полку». Он разделся, снял даже майку, раскрыл настежь окно и высунулся в него. Начиная пахнуть зимой воздух обволок тело. Это был проверенный способ: достоять на холоде до того, как начнешь мерзнуть, быстро нырнуть в постель и укутаться в одеяло. Способ помог, и уснул Токарев быстро.

Проснулся в назначенное себе время. Меньше всего хотелось сейчас встретиться с Верой, поэтому завтракать не стал и ушел раньше обычного.

Вера же весь день на фабрике провела в предчувствии чего-то нехорошего. Будто кто-то толкал ее, заставлял бросить все и бежать домой, но в то же время другой удерживал: «Сиди здесь. Домой сегодня вообще не ходи. Ничего хорошего не будет». Так и шла она вечером домой: то ускоряла шаг, то останавливалась и замирала в раздумье. А у самого подъезда встретила ее Грязнова, стояла, будто караулила жильцов, чтобы сообщить:

— Пианистку-то нашу, графиню эту, увезли. Как куда увезли? Куда обычно увозят.

Говорила так, что непонятно было, сочувствует она Головиной или злорадуется.

Известие оглушило Веру. «Это я! Это я навредила ей, — вполголоса твердила она. — Все же навредила». Она ходила по комнате из угла в угол, потом сорвалась, добежала до двери Елизаветы Аристарховны, подергала за ручку и, вздохнув, поплелась назад, к себе в комнату. В комнате повернула ручку репродуктора и села под ним. Просидела так часа два, не понимая, что слушает.

Из прихожей доносились громкие голоса. Вера убавила громкость радио и прислушалась. Один голос — женский, очень тонкий, почти визгливый — был незнаком. Другой она узнала: он принадлежал Токареву. Но сосед почему-то говорил то повышая голос, то тихо, растягивая слова. Так обычно говорят пьяные. Вера хотела было встать, чтобы запереть дверь на ключ, но та распахнулась, Токарев ввалился и втащил за собой высокую, очень стройную девушку.

— Нам сюда! — громко сказал он, едва ли не вбил свою спутницу в диван, сам, не снимая пальто, сел напротив, оседлав стул, достал из внутреннего кармана бутылку вина и со стуком поставил ее на стол.

— Вот! — сказал он, подняв указательный палец, — это Вера. Портниха первый сорт. Она и тебе сошьет.

Вера и девушка, не мигая, смотрели друг на друга. Вера определила сразу: шубка из дешевого меха, чулки с нарисованными химическим карандашом стрелками, ярко накрашенные губы.

— Это кто? — набросилась она на Токарева. — Кого вы привели?

— Это? — Токарев, казалось, пытался понять, что происходит. — Это... Кто это? Тебя как зовут?

— Как зовут?! — взорвалась девушка. — Ничего себе! Обещал шампанское, хорошее общество, а привел в коммуналку! К портнихе какой-то! Гадость какую-то купил, — кивнула она в сторону стоявшей на столе бутылки.

Веру было не узнать. Ее лицо пошло красными пятнами, она схватила гостью за шиворот и потащила к двери, приговаривая:

— Ах ты, прошмондовка! Портниха ей не понравилась! Вон отсюда!

Вера не только вытолкала девицу за дверь, но вывела в подъезд, подтолкнула к лестнице и крикнула вслед:

— Только сунься еще сюда!

Едва не упав, девушка схватилась за перила и, спотыкаясь, стала спускаться.

Токарев сидел на стуле в прежней позе, будто спал. Но увидев Веру, встал, пересел к столу и поднял на нее отсутствующий взгляд.

— Ты зачем? Ты почему девушку? — начал он заплетавшимся языком, но Вера оборвала:

— Не смей появляться здесь, в квартире в таком виде! И девиц своих не смей сюда приводить!

— Ты что? Ты зачем? — пытался сопротивляться Токарев. — Ты мне жена, что ли?

— Не жена! А когда буду, тем более не смей! — выпалила Вера и удивилась своим словам.

— Когда будешь? А когда будешь? — пробормотал Токарев и упал головой на стол.

С большим трудом смогла Вера поднять его со стула, вывести в прихожую. Сначала она повела Токарева в его комнату, потом развернула, втолкнула в ванную и прикрыла дверь.

Больше всего хотела сейчас Вера войти в свою комнату, запереть на ключ дверь, даже стул перед запертой дверью поставить, чтобы, как крепостной стеной, отгородиться от всего внешнего, от всего, что в последнее время так безжалостно разрушило ее привычный мир с любовью к кино, с вымышленными эпизодами своей жизни — наивными, но безобидными, не помешавшими ни одному человеку. Хотелось отгородиться, выключить верхний свет, забраться с ногами на диван, обхватить их руками и молчать, молчать, молчать.

Она уже стояла у своей двери, когда неприятный звук заставил ее поморщиться: ключ в замке входной двери провернулся слишком громко с резким неприятным хрустом. Так орудовал ключом только один жилец — Краук. Он распахнул дверь, твердым шагом встал в прихожей и крикнул возбужденно-радостно:

— А! Вот и портниха наша! Не спеши, не спеши спрятаться! От правды не уйдешь. Много наговорила и нашептала со своей барыней? И где она сейчас? Ага! Точно! Тама! И тебе теперь достанется.

Вера медленно повернулась.

— Уйди с глаз, Краук. Уйди от греха, — говорила Вера негромко, медленно, но в голосе ее было столько незнакомого ей самой холода, а в глазах такая отрешенная решимость, что Краук отступил на шаг, но ретироваться без ответа не хотел.

— Я-то уйду, но как бы тебе не уйти куда надо, — проговорил он торопливо и убедительно и скрылся за своей дверью.

Входила к себе Вера другим человеком. Что произошло сейчас в прихожей и за последние три часа?! Вера чувствовала, что многое в ней изменилось, что теперь все будет иначе. Однако дверь свою все же заперла и стул перед нею поставила. Правда, свет выключать не стала. И на диван с ногами не забралась. Она стояла у стола и вертела в руках бутылку, принесенную Токаревым. Рассматривала этикетку, прочитала название — «Кюрдамир», подумала, что название смешное, и поставила бутылку на стол.

От стука в дверь не вздрогнула, стук не стал неожиданностью. Вера уверена была, что приключения еще не кончились, и, отодвинув стул, отперла дверь. На пороге стоял Токарев — аккуратно и строго одетый, еще мокрые волосы тщательно причесаны. От былого хмеля и следа не осталось, видно, долго стоял сосед под холодным душем.

— Я ненадолго, — начал он с порога, — хочу извиниться. За отвратительное вторжение, за то, что испортил вам вечер...

— Проходите, — отодвинулась Вера, пропуская Токарева в комнату, — разговора не избежать. И лучше говорить с вами. Вы на сегодня — наименьшее зло. Чаю будете?

— Если вас не затруднит, — Токарев прошел и сел за стол. Похоже было, что он не удивился приглашению, даже ждал его. За столом он тоже потянулся к бутылке, подержал ее в руках, глянул на этикетку.

— Что? Не помните, с чем пришли? Изучаете теперь? — с необычной для себя едкостью в голосе спросила Вера.

— Почему же? Помню: «Кюрдамир», совсем неплохое вино. Азербайджанское. Десертное. Из семейства кагоров. С мясом его лучше не употреблять.

— Ха! Говорил, что не пьет, а тут чуть ли не лекцию прочитал.

— Знать толк в напитках и не пить их — тут никакого противоречия. Считайте, что я теоретик.

— Ничего себе теоретик! — искренне воскликнула Вера. — Что же тогда на бровях приползли, да еще с девицей этой крашеной?

— За это и пришел извиниться. Много ведь наговорил лишнего... Так?

— Я тоже хороша. Вы забудьте все, что я про жену говорила.

Токарев пристально посмотрел на Веру.

— Все-таки вы действительно не похожи на других женщин, — сказал он спокойно и серьезно. — И знаете, вы мне нравитесь... Вот... Думал, что уже никогда не произнесу такого, не посмотрю в сторону женщин.

— Обманула какая-нибудь? И обиделись на всех?

— Не то. Я думал, что после войны ни во что доброе и светлое поверить не смогу. Я и тогда понимал, и сейчас понимаю, что по-прежнему под статьей хожу, что в любой момент могут начаться допросы. Я в Сибирь после войны уехал, чтобы уйти от всего, от чего именно, не знал и не понимал. Там в артели мы пушнину добывали. Я стрелял, стрелял, стрелял по глазам несчастных соболей и куниц. И ничего не чувствовал — ни жалости, ни злости. А в детстве очень животных любил. А тут безразличие и пустота. И еще словно штырь стальной в сердце торчит.

Неожиданно он опустился перед Верой на колени, уткнулся лицом в ее колени и обхватил бедра руками.

— Может, расскажу когда-нибудь, — пробормотал он прямо в колени, не отрывая лица.

— А ты сейчас расскажи. Это война тебя не отпускает, Тиша. А ты расскажи. Война не отпускает, но я тебя из нее вытащу, вытащу, — нежно говорила Вера, поглаживая Токарева по голове. и вдруг взяла голову обеими руками, приподняла, посмотрела в лицо. — Ты только не бросай меня, ладно? — прошептала она и поцеловала Токарева.

Они даже не выключили свет...

...Токарев приподнялся на локте, заглянул Вере в лицо и вдруг спросил:

— Зачем я тебе? Я же не человек... Знаешь, как меня в полку называли и сейчас называют? Тэ-Тэ. Догадываешься почему?

— Потому что Тихон Токарев?

— Они тоже так думают. А на самом деле я «ТТ». Так пистолет называется. Я как механизм: «вперед-назад, вперед-назад»...

— Устал ты, Тиша.

— Нет-нет, погоди. Помолчи. Ты вот мою спину увидела и ахнула. Ну да, в осколках она, что-то еще осталось. Накрыло меня. Уже в самом конце войны, в Восточной

Пруссии. Я бы подох там, но Пашка, друг мой лучший, каким чутьем — не знаю, оттолкнул меня. Меня только осколками присыпало, а его пополам разорвало. Не убе-рег я друга. К матери его так и не поехал. Не смог. Струсил...

— Я вытащу тебя, вытащу, — шептала Вера. — Ты только не уходи от меня. А сей-час спи.

— Нет, Верочка. К себе пойду. Тебе самой выспаться надо. А у меня с утра много дел.

12

Через несколько дней, не сказав никому ни слова, Токарев исчез. В течение неде-ли не показывался он не только у Веры — вообще в квартире не появлялся. Вера рас-ценила его отсутствие по-своему и замкнулась. Зато заметно оживился Краюк. Чем дольше отсутствовал Токарев, тем веселей и оптимистичней становился старшина. Он возбужденно ходил по коридору и обращался к каждому, кто оказывался рядом.

— Пропал наш сосед. Уж не там ли он? — Краюк многозначительно показывал большим пальцем себе за спину. — Наверняка нащупали что-нибудь. А я давно по-дозревал: недоговаривает что-то капитан, так называемый. Ничего, там разберутся.

Он так досаждал соседям, что однажды не выдержала даже Грязнова:

— Да будет тебе, Иван Василич! Что ты за человек такой?! Что загодя на другом человеке-то крест ставишь? Может, образуется все.

— Как же, образуется... Образовалось уже. Барыня-то наша тю-тю. Безродный кос-мополитизм, понимаешь... Ну и квартирка! Контра одна. Еще бы с частницей этой, с портнихой разобраться.

— Тьфу ты, нечистый! — в сердцах сплюнула Грязнова и пошла вниз по лестнице.

Вера, казалось, не замечала ничего. В разговоры и споры не вступала, по вечерам, придя с работы, запиралась у себя в комнате и по-прежнему много шила, изредка слу-шала радио. Да и соседи не замечали ее. Хотя кому было замечать?! Головиной и То-карева не было, а Краюки... Словом, что там говорить! Правда, остановил ее как-то Владимир Никифорович и громко зашептал в ухо:

— Ты вот что, красавица, больно-то не казнись и не серчай. Всяко в жизни быва-ет. Может, по делам каким он уехал, а сказать не сказал. Не мог, потому как. Права не имел на то.

Старик улыбнулся, погладил Веру по щеке и скрылся у себя в комнате. Ничего не замечала Вера. Только однажды надеждой засветился ее взгляд, только раз радост-но выскочила она из комнаты — когда донесся из коридора голос Головиной. Вера вылетела, встала перед нею и залепетала:

— Елизавета Аристарховна, вас вы... вы вернулись?

— Выпустили — хотели вы сказать, Верочка? Пожалуй, что так. Выпустили. Как из клетки. Да вы заглядывайте ко мне минут через двадцать, поговорим.

— Зайду, — еле слышно проговорила Вера.

Минуты казались Вере часами. Она сидела на диване и, не отрываясь, глядела на висевшие напротив ходики. Смотрела, как ходит из стороны в сторону маятник, слышала, как отбивает он ритм, но думала о другом. Она была рада возвращению Елизаветы Аристарховны, радовалась, что не стала причиной несчастья, но с бес-покойством думала: знает ли Елизавета Аристарховна о ее, Веры, роли во всем слу-чившемся, догадывается ли, а если знает, держит ли на нее, Веру, зло. Вера выжда-ла ровно двадцать минут и решительно встала.

Елизавета Аристарховна встретила ее, будто расстались они вчера, будто не было этих дней тягостной неизвестности. Хозяйка надела свое обычное домашнее платье и волосы собрала, как обычно, на черепаховый гребешок. Вера топталась на месте, не зная, что сказать, наконец выдавила:

— Словно и не уходили вы, Елизавета Аристарховна... А я вас ждала...

— Это хорошо, голубушка, хорошо, когда кто-то кого-то ждет. Садитесь. У меня и чай готов.

Очень хотела Вера расспросить соседку обо всем, но чувствовала, что пока делать этого не стоит, что лучше дождаться, когда Елизавета Аристарховна расскажет сама. Она и рассказала:

— Их было двое в комнате: молодой следователь, что допрашивал меня, и другой, несколько старше. Я плохо разбираюсь в знаках различия, но судя по тому, что звезды на погонах второго были крупнее, решила, что и чином он выше. Молодой все называл меня космополиткой и все напирал на то, что я стихи буржуазного, как он сказал, поэта Хайне по вечерам читаю.

— А вы что ответили?

— Я ответила следующее. Насколько мне известно, стихи Хайне были под запретом в нацистской Германии. Неужели молодой советский офицер опустил до того же? Видели бы того молодого! Он вскочил, замахнулся... Будь в комнате только мы одни, наверняка ударил бы. Но старший расхохотался. Нехорошо, говорит, Сергеев (я и фамилию запомнила!), когда следователь знает меньше допрашиваемого. Выдвинул ящик своего стола, достал томик стихов, протянул этому Сергееву. Поручил за неделю прочитать. И добавил, что стихи Гейне (он так, не совсем правильно, произнес фамилию поэта) высоко ценил Маркс. Я, признаться, не знала. Словом, выпустили меня...

Вера поняла, что знает Елизавета Аристарховна о поступке Веры, но ни словом, ни жестом, ни взглядом не выдает этого. Вера готова была расплакаться, но лишь сказала:

— Это же замечательно! Теперь все будет по-прежнему.

Головина покачала головой:

— Боюсь, голубушка, что не будет.

— Почему же?

— Мой спаситель предложил мне давать уроки музыки его дочери.

— Вы согласились?

— Наверное, поступила я необдуманно, но отказала. Сослалась на долгое отсутствие практики, а я привыкла, если берусь за что-то, отвечать за результат. Да и нужны ли мне эти уроки? Что-то сказало мне: уроками дело не ограничится. Словом, «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».

Разошлись они за полночь.

А на следующий день появился Токарев — так же неожиданно, как до этого исчез. У Веры появился раньше, чем зашел к себе. Как готовилась Вера мысленно к такой встрече! Как проговаривала про себя все резкие и жесткие слова, что холодно бросит ему в лицо! Непременно холодно! И смотреть будет как бы сквозь Токарева! Но когда он, опустив на пол чемодан и что-то завернутое в серую упаковочную бумагу, встал на пороге перед ней, бросилась к нему на грудь и приговаривала сквозь слезы:

— Ты куда?.. Ты где?.. Ты почему не сказал?..

От Токарева пахло морозом, пальто холодило щеку Веры. Он поглаживал Веру по голове и приговаривал:

— Ну, прости... Не мог я сказать. Не был уверен. Раньше времени не хотел. Посмотри лучше, что я привез тебе.

Он деловито снял пальто и шапку, повесил их на вешалку, поднял с пола пакет и подошел к столу.

— Дай-ка ножницы, — попросил он. — Бечевку разрезать надо.

Когда, разрезав бечевку и освободив от бумаги подарок, Токарев встряхнул его, Вера ахнула: Токарев привез серое пальто с небольшим — вокруг горла — темным каракулевым воротником и такую же темную каракулевую шляпку.

— Примеряй скорее, — протянул он Вере пальто, — я-то наугад брал. Будет ли впору?

Пальто и шляпка сели как влитые, как сшитые по мерке. Вера не могла отойти от своего старинного трельяжа, вертелась перед ним, поглаживала борта пальто, по-разному надевала шляпку, потом повернулась к Токареву.

— Это что? Это как? С какой стати? — только и могла сказать она.

— Это, как понимаешь, тебе. Носи на здоровье. Но это не главное. Серьезный разговор нам предстоит. Давай сядем.

Токарев говорил долго и обстоятельно, Вера вынесла главное. Ему, Токареву, предложили переселиться в новообразованную область на месте Восточной Пруссии, туда, где закончилась для Тихона война. Пообещали, что будет жилье и работа. Токарев согласился и сейчас предлагал Вере ехать с ним.

— Только решать надо быстро, лучше сегодня-завтра, — завершил он. — Времени у нас не больше недели.

— В каком качестве я поеду? — поинтересовалась Вера.

— Хотел бы, чтобы в качестве жены. Но сейчас здесь не успеем. Брак заключим там. Если, конечно, ты согласна. Пока поедem каждый по отдельным документам. Как самостоятельные переселенцы. Решай. Пальто и шляпка в любом случае останутся у тебя. Решай.

— Я согласна! Согласна. Не оставляй меня, пожалуйста.

Токарев удовлетворенно кивнул и добавил:

— И еще. Ехать придется налегке. Не больше чемодана у каждого. Твое знаменитое зеркало и даже машинку придется оставить. Говорят, там снабдят всем. Хотя я догадываюсь, что это за снабжение.

— Я согласна. Давай собираться.

Известие об их скором отъезде взбудоражило жильцов не только в квартире, но и в подъезде. Краюк не скрывал радости, другие, похоже, сожалели. К удивлению Веры, загрустила и даже пустила слезу Грязнова.

— Ты уж не забывай нас. Отпиши, как обустроитесь, — всхлипнула она.

Надо было как-то разобраться с вещами. Грязнова, получив в подарок диван, пообещала помочь с продажей других вещей и выслать позже вырученные деньги, Елизавете Аристарховне Вера вернула зеркало.

— Вот и вернулось оно к вам, — сказала Вера, когда Токарев внес трельяж в комнату. — Все по справедливости.

Головина грустно покачала головой.

— Как неожиданно все складывается порою, — сказала она. — Зеркало, которое я знаю с детства и которое долго жило не у меня, возвращается. А человека, который стал мне почти дочерью, приходится терять... Ты не обращай внимания на старуху, Веруша. И храни тебя Господь.

Во второй раз Елизавета Аристарховна обратилась к Вере на «ты», хотела было перекрестить ее, но не решилась. И уже в день отъезда, воспользовавшись отсутствием Краюка, Вера пришла к Диане и сразу сказала:

— Машинку, Дина, забирай. Не тащить же мне ее с собой.

Диана растерялась:

— Ой, я не смогу заплатить тебе сейчас.

— Глупости. У тебя две девчонки растут. Не накупитесь одежды. Лучше уж шить. Забирай так, — сказала и, не дожидаясь ответа, ушла...

Пассажиров на перроне было немного. Вера и Токарев с двумя чемоданами в руках подошли к вагону. Серое пальто Веры и темная каракулевая шляпка красиво выделялись на фоне снега.

— А я так и не купила статуэтку, — почему-то вдруг вспомнила Вера и с грустью посмотрела на Токарева.

— Не беда. Авось там приобретем, — Токарев мизинцем смахнул со щеки Веры одинокую слезинку.

Они уже взялись за поручни, как к ним подошли трое в синих фуражках.

— Гражданин Токарев, — строго сказал один из них, — вам придется проследовать с нами.

— Как проследовать?! Мы не можем! Мы переселяемся! У нас вон билеты, — Вера судорожно показывала коричневые картонные прямоугольники.

— Вас, гражданка Проскурина, никто не задерживает. Садитесь в вагон и отправляйтесь спокойно.

— Но я не могу одна...

— Вера Алексеевна, вы все можете. Как нам известно, вы еще не жена гражданина Токарева, на вас саму оформлены документы. Вот и счастливого вам пути.

Разве могла Вера забыть этот голос! Разве могла забыть она этот вежливый, но смертельно холодный взгляд, элегантный молодой человек и здесь не оставлял ее.

— Поезжай, Вера, поезжай, — обернулся к ней Токарев. — Документы в порядке. Там сообразишь.

— Но я не оставлю тебя!

Проводница стояла в дверях вагона и подгоняла:

— Ну, кто там едет? Залезай быстрее! Поезд отправляется.

— Капитан, — обратился Токарев к старшему группы, — помогите, уж если мне не позволено.

Капитан подал знак лейтенанту. Тот подхватил чемодан Веры, забросил его в вагон, не давая опомниться Вере, схватил ее за талию и подсадил на верхнюю ступеньку, и та едва успела схватиться за поручень. Она обернулась и увидела спины Токарева и уводивших его людей.

— Я вытащу тебя! Я вытащу тебя из войны, — крикнула она из последних сил.

Резкий паровозный гудок пронесся над перроном. Поезд набирал ход. Сидевшие в вагонах пассажиры видели, как мимо медленно проплывают киоски на перроне, столбы, носильщики, везущие назад свои пустые тележки. Когда поезд показал свой хвост с тремя красными огнями, на перроне никого не было. Только женщина в сером пальто и темной каракулевой шляпке одиноко сидела на чемодане.

13

Когда Константин Бардин взялся за проект нового объекта, он подумать не мог, что работа его увлечет настолько. Уже и проект был готов, и работа уже кипела во-

всю, но Бардин не успокаивался. По ходу дела он дополнял, изменял первоначальный замысел и все не мог остановиться.

Игорь Семенович был доволен работой и неудовлетворенность друга понять не мог.

— Чего тебе не хватает? Все классно! Именно так, как я представлял себе. Брось фантазировать, и завершим скорее.

— Как ты не понимаешь?! — не соглашался Бардин. — Посмотри! Неужели не видишь, что нужен один какой-нибудь акцент. Один, но очень выразительный, который собрал бы все. Образ нужен.

— Бабу голую, например, — ехидно предложил Игорь Семенович.

А Бардин посмотрел на него, как будто тот сделал открытие.

— Именно! — подхватил он. — Женский образ нужен. Не обнаженка, конечно, а в ретро стиле. Дай дня три! Обмозгую!

— Черт с тобой! Валяй, — махнул рукой Игорь Семенович. — Все равно тебя не переубедить.

Получив отсрочку, Бардин немного успокоился и подумал, что надо бы съездить к деду, пока время есть.

Дмитрий Константинович, казалось, поджидал внука и прямо с порога спросил:

— Как дела, архитектор? В эпоху проникнуть удалось?

— Ну, дед, — удивился Бардин, — не думал, что заинтересует это тебя, что запомним наш разговор.

— Как не заинтересовать! Эпоха-то моя. Моя молодость там. Вот и хочу знать, как дела.

— Неважно, дед, застопорилось дело, — печально сказал он. — Женский образ нужен, а его нет. А что, дед? Может, пособишь? Может, предложишь что? — хитро улыбнувшись, спросил он. В шутку спросил, чтобы деда повеселить, а тот вдруг засопел, посмотрел мимо окна вдаль, будто не Бардину, а себе:

— Может, и предложу, — сказал он серьезно, встал и подошел к старому секретеру. Внук внимательно наблюдал за ним.

Дмитрий Константинович выдвинул две книги, слегка раздвинул их. Между ними оказался почтовый конверт. «С какого года, интересно, этот конверт? — подумал Бардин. — Сейчас и не найдешь таких». А Дмитрий Константинович бережно вынул из конверта фотографию. Она была не черно-белой, а, скорее коричнево-белой, по моде послевоенных лет. Он нежно погладил фотографию рукой и бережно положил перед внуком.

— Посмотри. Может, пригодится, — сказал он и отвернулся.

Это была фотография Веры, которую Дима умыкнул когда-то из ее альбома.

Надежда АЖГИХИНА

В СНАХ И БЕЗ НИХ

Рассказы

ДЕТСТВО. ДОРОГА. СНЫ

Тени на стене приходят в движение, это ветки дерева шевелит ветер, раскачивается фонарь, и над моей кроватью кружатся причудливые линии и знаки, наползающие друг на друга и меняющие очертания, так что никак не успеваю угадать, на что они похожи — то ли это косматая еловая ветка над входом в пещеру Михеля-Великана, то ли зонтик Оле Лукойе, то ли волшебные сани, которые унесут меня в чудесную страну, оставив позади только взвихренные снежные искры... Ковер-самолет? Нет, точно, сани, они приостановились и ждут, когда я прыгну... Сердце колотится, мне страшно, и в то же время я понимаю, что не могу не прыгнуть, даже если меня увлекут неведомо куда, даже мама меня не найдет... А вдруг все же найдет? Тогда не страшно. Я уже не вижу теней, я слышу, как белые кони цокают копытами, как завывает ветер, готовый поднять меня во взвихренное пространство и унести, я понимаю, что точно не вернусь, и в последний момент я хватаюсь за прутья кровати и кричу изо всех сил: «Мама!» Кажется, у меня нет голоса, по крайней мере я слышу только слабое хлюпанье, горло раздрает боль, из носа течет, я обливаюсь потом и трясусь что есть мочи кроватьку, отталкиваясь от стенки. За дверью голоса: и звонкий мамин, низкий папин, бабушкин, дедушкин, чей-то еще. В ноздри, из которых вытекли уже все сопля, вдруг ударяет острый запах хвои, как будто прокалывает и нос, и небо, застревает под язычком. Елка! Там поставили елку! А как же шары? Почему я тут лежу? Я пытаюсь выбраться из кровати, упираюсь в стену коленями и пытаюсь отодвинуть, чтобы пролезть в образовавшуюся щель, мне почти удается расширить путь к побегу... Запах елки заполняет всю комнату, высушивает слезы, успокаивает боль в горле, от него по спине ползут щекотные мурашки, хочется пить и бежать, бежать туда, где она стоит...

Меня застигают уже под кроватью, переодевают, удивляются, что жар прошел, и в виде исключения и под влиянием моих воплей водворяют в большую комнату за стол, где дымятся пельмени, сочится квашеная капуста, торжествуют мандарины, но все эти исключительно приятные и ароматные вещи, которые я бы, несомненно, оценила в другой момент, не имеют значения: у окна стоит елка и оглушает меня хвойным и смолистым великолепием. Матовые бусы и сказочные фигурки из папье-

Надежда Ильинична Ажгихина — журналист, прозаик. Кандидат филологических наук. Окончила факультет журналистики МГУ. Печаталась в журналах «Знамя», «Юность», «Новый журнал», «Тайные тропы», «Медведь», «Смена», «Московский журнал» и других. Автор четырех книг прозы, сборников эссе и интервью, автор сценариев трех документальных фильмов. Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

маше, яркий серпантин и мерцающий «дождь» с мишурой, и круглые шары отражаются в соседних пузатых собратях...

Я боюсь пошевелиться, я впитываю ее запах всеми ноздрями, глазами, ушами, каждой клеточкой, смолистый терпкий субстрат разливается по кровеносным сосудам, я вся — в ней, с ней, и напиваюсь ее силой и влагой, и понимаю, что в ее игольчатых ветвях, здесь и есть самое чудесное и захватывающее, не в холодном белом вихре, который едва не унес меня, но в темноте ее недр, отороченном бликами стеклянных сфер, бумажных флажков и выхваченными из разных эпох и исчезнувших жизней волчков, пингвинов, мельниц с мельниками и царевен... Застолье гудит, я незаметно сползаю со стула и пробираюсь, стараясь не задеть ничьих ног, к елке, притуляюсь у деревянной крестовины, обняв плюшевого медведя и пластмассовую снегурочку, и затишаю...

Наутро все радуются, что я поправилась, наряжают меня в белые чулки и синее платье, повязывают бант и ведут к елке. На том месте, где я заснула, меня ожидает красивая коробка, в ней — настоящая немецкая кукла с хлопающими голубыми глазами и книжка с картинками, «Остров сокровищ» Стивенсона. По этой книжке скоро я буду сама учиться читать.

В последние дни ковида, между явью и сном, когда граница между бредом и реальным безумием практически неуловима, и сознание, измученное ежедневным соитием с монстрами и убийственным соучастием в повседневных злодеяниях современного мира, почти отказывается возвращаться в осажденный вирусом организм, кажется, день на двадцатый (самый критический, как считают медики), я вдруг неожиданно почувствовала острый и пряный запах хвои, который буквально обжег ноздри. Сначала подумала, что это очередной глюк: обоняние покинуло меня давно и прочно. Но запах не проходил. Я с трудом встала, набросила халат, держась за мебель, прошла на кухню. В нос ударил запах лекарств и хлорки. Открыла холодильник, из него немедленно вытек и распространился в кухне острый дух бельгийского сыра, который я привезла из последней командировки, меня чуть не стошнило. Нюх вернулся! И в то же время запах елки не исчезал. Пошатываясь, я вышла на балкон. В пред-рассветном сумраке светились башни Москва-Сити, реклама Samsung и ВТБ, цвета российского флага и бегущая строка риэлтерского агентства. Я нашла сигарету, попыталась закурить, закашлялась от едкого дыма, как в первый раз, когда пробовала курить с одноклассниками здесь неподалеку, на Малой Дорогомиловской, в школьном садике. Сломала сигарету. На зубах стоял вкус смолы, в ноздри отчетливо бил великолепный и живительный хвойный запах. Впервые за многие дни глубоко вдохнула осенний воздух, отдающий смолой. Я жива! И жизнь, которую мы клянем и бесконечно испытываем, восхитительно прекрасна... И подумала: как было бы хорошо рассказать об этом маме...

Первое, что я помню, — это поезд, стук колес, я потею во влажных простынях на верхней полке, хочу в туалет и боюсь об этом сказать, кажется, у меня уже поднялась температура. Мне два года, мы едем в Москву из Сибири. Хотя, возможно, я все это придумала (точнее, увидела, как будто наяву) уже позже, когда слышала от бабушки и мамы о нашем концептуальном семейном перемещении — многократно, пока они готовили мне чай с вареньем, микстуру или травяной настой от кашля. Болела я все время, везде, зимой и летом — была в кровь коленки и локти, ушибалась, падала в обморок, страдала мигренью (была позже горда, узнав, что это та-

кое), отравлялась, но чаще всего простывала. Даже в клинике, куда меня привезли удалить наконец зловредные железы (такая мода была тогда), умудрилась простудиться в первый же день на прогулке и неделю провела в боксе. Запах лекарств был привычный, как запах сена для деревенских детей (как пахло сено, я, кстати не помню, хотя в поселке, где я росла, на соседней улице старьевщик и его жена держали корову и точно косили траву, мы брали у них молоко). Про сено и полевое раздолье я читала в книжке «Родные поэты». Она до сих пор где-то в книжном шкафу, сохранившемся также с того самого времени.

Точно помню момент, когда отступает болезнь. Сначала — робкие предвестники облегчения, перестают слезиться и болеть глаза, горло еще першит, и нос не дышит, но в запястье где-то уже пульсирует предчувствие, сквозь муть, тошноту, отвращение к жалкому собственному телу и его отправлениям. Предметы в комнате обретают цвет и объем, проступают запахи: капель, нашатыря, хлорки, и внезапно все сметает неожиданно ворвавшийся в комнату великолепный аромат свежего куриного бульона...

Мне снится, что я неловко села и у меня из-под платья высовываются не прикрытые чулками голые ляжки. Тянущий ужас стыда. Колготки появились потом, какое-то время ходила в чулках с пажками, зимой на все это натягивала рейтузы, все некрасивое, неуютное. Чувство скованности, неправильно подобранного размера (впрочем, мой объем, несмотря на рост, всегда был недостаточным, несколько лет в классе была не только самая высокая, но и самая тощая, и когда поняла, что у меня не растет, как у других девочек, грудь, окончательно уверилась в собственной физической неполноценности). Все, что связано с телом, его впечатлениями и проявлениями, — мучительно и нежеланно, некрасиво, необустроено, негармонично, это устойчивое убеждение иногда опрокидывает спонтанный восторг от простой ходьбы по земле, свежего утра, солнца...

Мне нравилось играть с мальчишками в футбол (за что была ругана неоднократно бабушкой), бегать, кататься на велосипеде больше, чем с девочками. И хотя к куклам у меня было свое (покровительственное) отношение и я придумывала их жизнь в различных вариациях, девчоночьи игры мне были не так интересны. Впрочем, в детский сад я не ходила по причине его отсутствия в поселке, со сверстниками до школы общалась мало, а в школе слишком часто болела, чтобы быть душой компании. А главное — рядом был другой, куда более интересный, чем наш поселковый, мир.

«Остров сокровищ» родители по очереди мне читали вслух почему-то в лесу. Уже после смерти мамы догадалась: им просто негде было поговорить о своем, без посторонних. Они постоянно отвлекались, а я требовала продолжать, они сердились, и я никак не могла дождаться новой главы... В нетерпении, обливаясь слезами от муки непривычного труда и обиды, прочитала недослушанную главу сама...

Слова отделялись от страницы, обретали собственную судьбу, превращались в образы, сменяющие друг друга, им совершенно нетесно было всем вместе в просторной комнате подмосковного дома, они увлекали в таинственные путешествия, открывали глубины и высоты, о которых, кажется, и не слышали наши соседи или поселковые сверстники. Продолжения приключений я видела во сне. Иногда так и засыпала за столом — сидя, положив голову на раскрытую книгу...

«Сапоги снятся к этапу». Услышала через закрытую дверь, когда среди ночи пробиралась в туалет, разговор отца и бабушки. Они запирались в дальней комнате, когда отец приезжал к нам на выходные, иногда громко спорили, мама тогда заходила к ним и просила «приглушить звук». Трещал и хрипел радиоприемник «Спидола», сквозь треск и свист прорывались мужские и женские голоса, тревожные, обрывки фраз и названий: сектор Газа, Тайвань, Вьетконг, Фишер, Солженицын... Утром я спросила маму, что такое этап, она перевела разговор на что-то другое и увела меня гулять. Только в десятом классе я узнала, что отец с первого курса педагогического попал на шесть лет в ГУЛАГ. Именно там, в лазарете, он познакомился с австрийским врачом, который взял его к себе санитаром и после смерти Сталина и амнистии убедил поступать в медицинский, а не возвращаться в педагогический. В лагере папе поставили пломбу, которая держалась до самой его смерти.

Дом в поселке, дедушка болеет, бабушка, парторг местной ячейки, проводит политинформации, выписывает цитаты из журнала «Коммунист», мы вообще выписываем множество изданий: научно-популярных, литературных, педагогических, родители в Москве, куда меня нечасто вывозят, там комната в коммуналке на окраине, и до шестого класса я учусь здесь. К нам приезжают родственники, те, которые из Сибири, их новые и бывшие родственники со своими друзьями — кататься на лыжах, выпить и закусить, послушать магнитофон — у нас модный «Днипро», его дядя привез из Якутии — и пленки Окуджавы, Кукина, Клячкина. «У Геркулесовых столбов», «Пилигримы»... Приезжает московский двоюродный дедушка Иосиф, фронтовик, герой еще Гражданской войны, и его жена — тетя Таля, всегда модная и томная, и их дочь Галина, тоже фронтовичка. На самом деле Галя приемная дочь, ее отец и бывший муж тети Тали — белый офицер, бросил жену с новорожденным ребенком, когда наступали красные, и двадцатилетний мой двоюродный дедушка влюбился и удочерил девочку... Девочка дошла до Берлина зенитчицей и вышла замуж за студента после войны, на десять лет моложе, тогда это была редкость, теперь он министр в Белоруссии...

Бездомные собаки в поселке, особенно в парке, через который я хожу на уроки фортепьяно, кооперативная лавка, где продавали керосин в розлив, продуктовый, масло и мясо там заворачивали в толстую бумагу, макароны засыпали прямо в матерчатые сумки, сосед продавал украденные в военной части краны и гайки для водопровода, который наконец протянули в каждый дом, потом протянули газ... Вода шла рыжая...

Записка, которую мне написал мальчик из параллельного класса на совместном уроке, он из военного городка, приехал из Исландии, есть такая страна, его фамилия Русаков... Почему я его помню? Я забыла многих близких когда-то людей, а с ним не виделась больше никогда, но помню его вязаный свитер, его пшеничную челку...

Мама вырезала репродукцию из журнала «Огонек» и положила на тумбочку у зеркала. И рассказывала мне о том, как художник в детстве был заморожен бродами циркачами, наблюдал за ними, как приехал из родной Испании в Париж, познакомился с цирковыми артистами, хотел писать семью циркачей и мальчика-акробата. А потом мальчик в воображении художника превратился в девочку, и именно эта девочка стала символом легкости и творчества. После работы раз в неделю она ходила на лекции в Пушкинский музей, рассказывала мне о картинах,

которые обязательно хотела мне показать. Бабушка сердилась, когда она задерживалась, не понимала, почему она не спешит из своего конструкторского бюро сразу на электричку к нам, а едет куда-то еще. Живопись она понимала только классическую и привезла из Сибири репродукцию в тяжелой раме под бронзу — Шишкин, «Утро в сосновом лесу». А мама любила импрессионистов. И мечтала побывать в Париже. «Увидеть Париж и умереть». Когда она заболела, я думала: вот поправится, и мы непременно купим туристическую путевку, их уже начали тогда продавать свободно...

Когда мамы не стало, я перестала спать. Я глотала таблетки, запивала коньяком, в тяжелом забытии я бежала к маме, но она исчезала, а холодные снежные потоки закручивали меня в черную воронку, и я просыпалась в ужасе, понимая, что мир раскололся и я никак не могу собрать его осколки...

Дорога — это не просто перемещение в пространстве, это настоящая жизнь! Я долгие недели ждала, пока мы с родителями поедem вместе в Москву, в общежитие, где жил вместе с настоящим негром отец, потом в нашу коммуналку, в гости в дяде Иосифу, в Парк Горького, в детский театр и, конечно, на Красную площадь в День Победы. Отпуск — это было настоящее путешествие, поезд, самолет, горный «серпантин» или катер, это расширение пространства, это неведомые миры...

Моя немощь приносит родителям массу неудобств. Каждый раз, когда им удается вместе со мной куда-то уехать — в Севастополь к папиному бывшему однокласснику, капитану военного корабля, на Волгу или в Пятигорск к его коллегам, в Кишинев или Юрмалу, — я всегда заболеваю, в машине меня непременно вырвет, в гостях начинается мигрень, колики в животе или неожиданное сердцебиение, вокруг меня хлопчут, укладывают, заматывают голову полотенцем, поят лекарствами, и бедная мама вместо того, чтобы наконец радоваться дружескому застолью, часами сидит у моей кровати.

— Ты совершенно не приспособлена к бивуачной жизни, — сказала она, когда мне было лет двенадцать. — Не создана для нее.

В первую командировку она провожала меня в аэропорт. У меня начиналась простуда, которую я тщательно пыталась скрыть.

...Шестилетний сын наряжает елку в бабушкином доме. В комнату проникает жар от кухонной духовки, все отчетливее запах пирогов, мандаринов, извлеченных из подполья солений, бабушка накрывает лист с только что подоспевшими пирогами полотенцем и ставит в печь рулет с черемухой, фирменный, сибирский, черемуху присылают из Анжеро-Судженска, где она родилась и проработала 25 лет на шахте главным геологом. С 1938 года, когда родилась моя мама и после «чисток» не осталось никого из старых специалистов, девочка из рабочей семьи подпольщиков и участников Гражданской войны по направлению партии заняла огромный кабинет репрессированного. Первым делом она запретила участникам совещаний использовать крепкие выражения. И при ней не матерились...

Сын аккуратно выстраивает дедов-морозов по росту, их полдюжины, разного возраста, от привезенных еще из далекого Анжеро-Судженска до недавно подаренных, берет в руки шар и замирает, как будто видит в нем что-то чрезвычайно значительное.

— Что ты хочешь попросить у этих дедов? — спрашивает его отец.

Сын бережно водружает шар на колючую ветку.

— Чтобы он оживил всех тех, кто умер. Даже тех, кого сожгли на костре.

— И кого же в первую очередь? — интересуется муж.

— Пушкина и его няню. Лермонтова и его няню. Еще Марину Цветаеву. И Анну Ахматову. А потом подумую.

Сон и явь. Проникающие друг в друга, как краски и воздух на картинах импрессионистов. Сон продолжается после пробуждения, не исчезает... Потом я читала об этом у Павича. Сон в руку?

...О том, что умрет дедушка, я поняла во сне. Он шел на поправку, лежал в соседней комнате, а я, наоборот, мучилась корью, и ко мне каждый день приходила медсестра делать уколы... Я проснулась и долго лежала, обливаясь потом, в оцепенении, не понимая, что происходит. Дедушка ушел на следующий день. Это была первая смерть, с которой я столкнулась близко. Мне было десять.

Сны всегда цветные. Страшные, и не очень, и продолжение жизни героев из только что прочитанных книг. Фильмы, которые разворачиваются во сне. Я знаю, что это кино, но я тут и режиссер, и персонаж, и зритель, а сюжет развивается независимо от меня, и жанры меняются, незаметно перетекая друг в друга...

Говорят, Менделееву приснилась периодическая таблица элементов. Мне снились Айвенго, Ассоль и маленькая балеринка, танцующая в вихрях метели на тонкой невидимой проволоке из протянувшихся между влюбленными мыслей друг о друге, она соединяет мир волшебства и мир обычный и приносит счастье...

Иногда мне кажется, что сны намного более реальны, чем настоящие события. Вспоминаю очертания площадей и улиц, аэропортов, вокзалов, городов, стран, где я ходила, куда я приезжала и прилетала, и все это кажется если не сном, то, по крайней мере, продукцией кинематографа. Лица великих и самых обычных людей, с которыми встречалась в разные годы, и фантастически прекрасные лица вокруг Белого дома в последний день путча, там не было ни одного некрасивого! — и огненный закат, заливший одуряющим светом Москву. Дым над расстрелянным Белым домом, потом, через два года, который я видела из окна палаты клиники Склифосовского, где лежал мой коллега, раненный при обстреле Останкина, и на соседних койках — раненные парни, которые приехали его убивать... Ужас понимания того, что свершилось непоправимое, что после этого уже невозможно то, о чем мечтали, к чему стремились... Лица польской официантки, литовского сотрудника «Аэрофлота» и украинского таксиста, которые старались помочь мне поскорее прилететь из Варшавы в Москву тем самым февральским утром... Прокрученная, как киноплёнка в ускоренном темпе, огромная всеобщая жизнь страны и крошечная частная моя, превратившаяся вдруг в смывтую плёнку, как смывали не понравившиеся художнику кадры на советских студиях...

Миры разлетелись в разные стороны. Утратили связь. Явь стала сном. Сон перестал быть вещим. Ковид повредил когнитивный аппарат не только тех, кто болел, но и тех, кто сидел в изоляции, и всех, всех. Универсальный экзкьюз. Вы стали ненавидеть тех, кого любили вчера? Думаете, как их лучше придушить/прирезать/отравить/прибить? Это же постковидный синдром! Таблеточку, сейчас все принимают. Не спите? Тройную дозу, не думайте ни о чем... Не нервничайте... Пусть все лежит в тартарары... Если бы ковида не было, его надо было бы выдумать...

...Разбираю книги и мелочи из трех квартир и бумаги с трех работ, в огромных коробках, пакетах, мешках и ящиках, в пристройке бабушкиного дома. Теперь моего.

Нахожу вещи, о которых давно забыла, письма, о которых никогда не знала, фотографии близких и дальних, любимых и случайных, брошки, значки, поздравительные открытки, хранящие почерк давно ушедших. Замираю надолго над некоторыми. Стараюсь не плакать. Цепенею.

Прозрачные пластиковые контейнеры помогают преобразовать хаос в подобие архива. Все это медленно. Иногда прошу помочь соседку, скорее от малодушия. Соседка побуждает меня «избавиться от хлама», мы препираемся, я в ужасе закрываю своим телом хрупкие листки и предметы. Спасла тронутую мышами коробку, из которой высыпались вырезки разных лет: выкройки из «Работницы», страницы отрывного календаря с рецептами, репродукции импрессионистов из «Огонька» и — «Девочка на шаре»...

Спасла и пакет со старыми елочными игрушками, которые добрая душа уже вытаскивала для утилизации и аккуратно упаковала в очередной пластиковый контейнер выцветшие флажки, бусы, дедов-морозов разного калибра. И конечно, шары, каждый осторожно протирая и оборачивая мягкой салфеткой. Закатный луч внезапно пробился через окно и отразился в сферической поверхности одного из них, и почудилось, что шары по-прежнему хранят тайну и, возможно, чудо...

Мне очень важно все их сохранить. Несмотря ни на что. Хотя бы потому, что еще не все сказано. И чудо возможно.

...Сны о детстве. Ожидание и оглушительное предчувствие счастья. Отчаяние от невозможности высказать застрявшее в горле слово. Дорога. Миры. Я — всегда в промежутке...

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

Я иду на остановку троллейбуса с тяжелой сумкой, набитой учебниками и тетрадками. Десятый класс, последняя школьная осень, ясное утро, еще не холодно, но декоративная трава у подножия памятника героям войны уже тронута первым инеем, и с клена, совсем как в кино, отрывается и, медленно планируя, падает желтый лист... В каком кино я это видела? Не могу вспомнить. Мне кажется, что за этими кленами у остановки, за серыми фасадами домов и выше, выше, где-то за дымом из труб Бадаевского завода сейчас начнется что-то невероятное. Сентябрьский воздух насыщен запахами, в котором мешаются бензин, пряный привкус опавших листьев, тонкая сладковатая струйка от заводского дыма и что-то еще, чего не могу разобрать, но жадно вдыхаю, как будто боюсь пропустить важное.

Ну его, троллейбус! Я спускаюсь в подземный переход и бодро шагаю по Кутузовскому проспекту, мимо загса и курсов иностранного языка, будки ГАИ, газетного ларька, мимо кинотеатров — детского «Пионер», куда нас водили на встречи с ветеранами, и взрослого «Призыв», куда мы иногда сбегали с уроков на первый сеанс (между прочим, Феллини!), минуя очередь за бананами у гастронома и сворачиваю на улицу Дунаевского, а там во дворы, чтобы срезать расстояние... Пытаюсь — надо, будут спрашивать! — мысленно повторить конспект по обществоведению, про XX съезд, этого в книге по истории партии нет, Юрий Иосифович на уроке рассказывал о давних событиях иначе, больше похоже на то, что папа и дедушка обсуждали на кухне, когда слушали радиоголоса, полагая, что я сплю в комнате...

Но думаю я на самом деле о другом.

Мне несколько дней снится пустыня, посреди которой вырастает лестница. Я вижу ее отчетливо — крепкие деревянные ступени, оббитые веревками для прочности, прозрачные розоватые крылья ангелов, которые боязливо всматриваются в проползающих по песку жуков и ящериц, в спящего, подложив камень под голову, Иакова, который вздрагивает во сне...

«И снилось ему: и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес, и вот ангелы божьи восходят и нисходят по ней».

Я прочитала это в книге Зигмунда Косидовского «Библейские сказания». Мне снится сон про сон, и он продолжается, похоже, наяву. Я представляю, как Иаков бредет по пустыне (которую видела, конечно, только в кино), натруженные ноги в сандалиях, утирает струйки пота со лба, отбрасывая мокрую челку назад, с горящими черными глазами, представляю, как он еле тащился по песку на закате, без сил, вот нашел камень, чтобы подложить под голову...

Вообще-то, он шел по заданию отца, чтобы жениться, как ему велели. На девушке, которую, видимо, не знал. Что он думал? Как представлял свою будущую невесту? По логике вещей, он должен был думать о ней, представлять ее во сне...

Откуда же взялась лестница?

Была спущена сверху, как бросают спасательное снаряжение терпящим бедствие? Но вряд ли была идея кого-то снизу вытащить... Или ее наспех соорудили ангелы, чтобы подсмотреть, что там происходит, на земле? И быстро улететь назад? Но ведь они могут перемещаться в пространстве и без ступенек, это ясно.

«И вот Господь стоит над ним, и сказал он: Я Господь, бог Авраама, отца твоего... И Бог Ицхака... Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные...»

А разве Богу обязательно было говорить с вершины какого-то сооружения, пусть и мистического? Он есть везде и может дать указание или знак в любую минуту.

Так зачем эта лестница?

Наверное, ее все же соорудил сам Иаков, а не только увидел во сне. Хотя сон — это на самом деле естественное продолжение дня, событий и мыслей, и намерений дня. Итак, Иаков построил эту лестницу — наверняка чтобы самому подняться и задать какие-то вопросы... Может быть, даже поспорить о чем-то... Или поделиться тем, о чем там, наверху, еще не знают? Возможно ли такое? Вдруг эта лестница — прообраз космического полета? Или прыжка воображения, которое пробивает привычные оболочки, прорываясь к каким-то высшим смыслам, еще не названным?..

Не так давно мы с мамой ходили на какое-то почти тайное обсуждение, в ее закрытом НИИ, там выступал экстрасенс, рассказывал, как мысль передается на расстоянии. Он действительно двигал стакан на столике, не прикасаясь к нему руками, и стакан, наполовину заполненный водой, тихонько продвигался по пластику... Говорил, что это только начало. Конечно, есть не познанные нами силы, о которых не сообщают по ТВ и не говорят вслух, именно они, возможно, и дают нам шанс на какой-то прорыв, на чудо, наконец...

И почему Иаков сам не забрался наверх? Или, может быть, он начал карабкаться, но испугался... Или, наоборот, не испугался, но об этом почему-то тот, кто записывал, умолчал... Или этот эпизод затерялся в веках и списках...

Затерялась же история Атлантиды, которую надеется отыскать друг родителей, океанолог, он плавает на научном судне по морям и океанам, изучает глубины, а на самом деле мучительно и страстно ищет следы этой таинственной страны...

Но лестница...

Может ли она появиться сейчас, рядом? Я сворачиваю к школе, на Студенческую улицу, и вздрагиваю от неожиданного порыва ветра. Деревья сорят листьями, и я вдруг вижу над домами, над ободранными транспарантами у Дорогомиловского рынка («Учение Маркса всеильно, потому что оно верно», «Навстречу съезду КПСС») какое-то движение. В воздухе проступают смутные очертания, похожие на ступеньки, они вырастают, все более явственно, над шпилем гостиницы «Украина», над угадывающейся вдаль иглой Останкинской башни, поднимаются все выше... Голова кружится, я хочу развернуться и побежать туда, к набережной, где все это вот-вот проявится в полный рост...

Но тут меня окликают мой одноклассник, он принес с собой новый томик Вознесенского и начинает с ходу читать мне «Монолог Мэрилин Монро».

Наш десятый класс «Е», гуманитарный, даже в нашей экспериментальной спецшколе (при Академии педагогических наук!) считался неким недоразумением. Три физико-математических, два химико-биологических класса усиленно и ответственно готовили будущие научные кадры. Наш же, самый малочисленный, был не совсем четко определен. С одной стороны, литература — ее преподавала в восьмом классе прекрасная Нина Сергеевна, на ее уроках мы беседовали запросто с Грибоедовым и Пушкиным, потом Ольга Евгеньевна, с ней мы читали и учились анализировать стихи, заучивали наизусть, с ее голоса, «Гул затих, я вышел на подмостки...» История и обществоведение — также больше, чем в обычной школе, и не вполне традиционно, хотя и строго. Юрий Иосифович, как я потом поняла, был настоящий «шестидесятник», дитя XX съезда партии, верил в социализм с человеческим лицом...

Мы все, конечно, были бесконечно циничные советские дети. К пропаганде мы относились так же, как в дождю в ноябре: не замечали. Во всяком случае, не принимали во внимание. Понимали, что вариантов будущего не так много: делать комсомольскую, плавно перетекающую в партийную карьеру, стать диссидентом со всеми вытекающими последствиями или найти некий третий путь, не сильно заморачиваясь участием в общественной трескотне, но и не попадая под каток репрессий. Большинство склонялось к третьей возможности. Многие писали «для себя», Сашины стихи уже опубликовали в «Литучебе», а Димин рассказ — в «Московском комсомольце»...

В начале десятого класса к нам пришел новый математик, довольно необычного вида. Во-первых, бородатый. Во-вторых, в клетчатых штанах и свободной блузе, как художник на картинах импрессионистов. Молодой! Даже рыжая кудрявая растительность на подбородке этого не скрывала. Встретили его скептически, сразу дав понять, что нам нужна только четверка в аттестате. Быстро оценив ситуацию, новый педагог попросил почитать стихи, в которых есть математические термины. Воцарилась тишина. Подождав минуту-другую, пришелец стал декламировать:

Что-то физики в почете,
 Что-то лирики в загоне,
 Дело не в сухом расчете,
 Дело в мировом законе...
 ...Так что даже не обидно,
 А скорее интересно
 Наблюдать, как, словно пена,
 Опадают наши рифмы,

И величие степенно
Отступает в логарифмы.

Срезал нас, что называется, Слуцким. Мы, конечно, не согласились с автором, но прониклись уважением к новичку.

Через месяц он создал в школе литературную студию.

Евгению Абрамовичу, нашему новому математику, тогда шел двадцать второй год, его «сослали» из аспирантуры мехмата МГУ в школу за участие в антисоветской деятельности. И он был поэт!

Эпоха домашних заданий,
Шатание взгляд и вперед,
Дождливая сетка свиданий
С рефреном Никитских ворот...
...Меня от неверья избавил
Российской словесности бог,
Российской словесности дьявол
От веры меня уберег.
Осталось доверие к слову,
Известной болезни симптом...

Его стихи печатались в газете, куда я неожиданным образом попала через несколько недель после его прихода к нам, а мои редакторы оказались его друзья. И я нахально стала отпрашиваться с уроков математики в учительскую — срочно позвонить в редакцию газеты...

...В газету я попала случайно. Одноклассник Дима узнал, что в Москве есть школа юного журналиста при МГУ, и предложил мне попробовать туда поступить вместе с ним. Я не думала о журналистике, мечтала изучать поэтов Серебряного века. Но чтобы поддержать товарища, пошла и написала что-то об одиночестве в толпе, о школе и о той самой лестнице, по которой хотел вскарабкаться библейский Иаков и которая все не давала мне покоя. Сочинение одобрили, теперь надо было пройти собеседование. Я зашла в большую аудиторию, где сидели четверо: три дядьки и женщина, которая немедленно спросила меня, вышла бы я замуж за казаха. Я вопроса не поняла, тогда она сказала, что только что вышла замуж за казаха, и хотела знать, что я по тому поводу думаю. Я ничего не думала, вообще, мне было непонятно, какое это имеет значение. На вопрос о том, кем хочу быть, честно ответила, что пока не знаю.

— Тут вот мальчик был, он хотел стать членом Политбюро, — заметил один из дядек, самый симпатичный.

Я быстро ответила, что точно туда не хочу.

— Почему? — заинтересовались все.

— Про них анекдоты рассказывают, — с непосредственностью круглой идиотки ответила я, и все от хохота чуть не упали под стол.

Тут самый симпатичный перестал смеяться и серьезно спросил, не хочу ли я печататься в газете «Комсомольская правда», в рубрике для подростков под названием «Алый парус». Конечно, я хотела. С листочком бумаги, на котором были нацарапаны имя и телефон, я, ошарашенная, шла домой, не понимая, что жизнь моя кардинально и бесповоротно изменилась.

Точнее, она изменилась в тот день, когда я приехала в конструктивистское, как будто составленное из детских кубиков, только серого цвета, мрачноватое здание

на улице Правды и часа три маялась в тесном бюро пропусков, пытаясь дозвониться в «Алый парус» по нацарапанному на клочке бумаге телефону, а мне отвечали, что такого-то нет и, наверное, не будет. Потом все-таки выписали пропуск, но у меня еще не было паспорта, я долго объясняла, что мне уже исполнилось шестнадцать, но паспорта еще не успела получить... Надо мной потешались все присутствующие — от сотрудников бюро пропусков и вахтера до посетителей, наконец меня обещали провести и отправили в редакционный подъезд.. Лифт не работал, и навстречу мне по лестнице сбежал худенький быстрый человек в джинсах и в кожаной курточке, с лохматой бородой и синими сверкающими глазами, неуловимо похожий на Пушкина. И потащил меня на шестой этаж, в маленькую, набитую взрослыми и моими сверстниками, книгами и бог знает чем еще комнату с единственно стрекочущей пишущей машинкой, где смеялись, спорили и декламировали что-то одновременно. На стене висел рисунок — корабль с надписью «Алый парус», летящий над сушей, я узнавала лица обитателей комнаты в некоторых членах команды... Тогда, глубокой осенью 1976 года, я поняла, что хочу остаться в этой комнате навсегда.

Первое задание я выполнила с честью — мне доверили собрать экспертное мнение о советской джинсовой материи, выдали образец, и я опросила знакомых фарцовщиков, их родителей и вообще всех, кого могла. Второе едва не закончилось трагически. Меня отправили в Дом пионеров собрать материал о юных защитниках окружающей среды, я вдохновенно записывала рассказы руководительницы кружка, возмущенной тем, что «Копирфильм» и Балабановская спичечная фабрика загрязняют реку Сетунь, мол, стоило бы их закрыть за такое безобразие. Я и написала, что пионеры-друзья природы закрыли фабрику. Материал появился в «Алом парусе» в субботу, а в понедельник сотрудники не вышли на работу — газета сообщила... Капитану «Алого паруса» Павлу Семеновичу, Паше — тому самому, который и втащил меня на шестой этаж, — влетело. Что бы сделал любой нормальный человек на его месте? На пушечный выстрел негодяйку не подпустил бы к редакции... Но он просто попросил впредь внимательно проверять все, что мне скажут. Это был первый, главный урок в профессии. Второй — от него же — когда он в школьной тетрадке (пишущей машинки дома у меня тогда еще не было, а на редакционную стояла очередь) вычеркивал лишние слова. Просто как Роден. Так он поступал, надо сказать, со всеми, вероятно, из экономии времени и сил, не переписывал никогда. С тех пор я уяснила, что правка — сокращение и есть важнейший вид редактирования...

...Десятый класс, преддверие взрослой жизни, ожидания неведомого, строки, входящие, как нож в масло, в душу, в плоть... В десятом классе родителям подарили первый том из тамиздатского трехтомника Мандельштама. Я знала уже несколько его стихов, но тут просто утонула в них и выучила весь том наизусть... Первое эротическое переживание (я осознала это позже, когда уже могла сравнить впечатления) тоже было связано со стихами...

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленные нежные губы,
Я должен рассвета в холодном Акрополе ждать...

Во втором полугодии родители наконец купили мне портативную пишущую машинку «Унис», югославскую. Она служила мне исправно лет пятнадцать, до тех пор, пока не появились компьютеры.

Я сидела ночью на крышке унитаза в нашей малогабаритной ванной, поставив машинку на плетеную бельевую тумбу, закрыв дверь, чтобы не будить спящих в комнате родителей, и сочиняла заметки о школьной жизни и свои неловкие рассказы о мечтах об идеальной любви...

Это было время абсолютного, безудержного и совершенно безответственного счастья...

Воспоминания, как листья, кружатся в сознании, совершая причудливые движения, переплетаясь, свиваясь, рисуя какой-то таинственный узор. В последние месяцы, может быть, оттого, что я неожиданно, через тридцать пять лет, снова поселилась в том самом районе, где прошло мое отрочество, я вдруг вспоминаю — и как будто снова ощущаю эти всполохи, от которых замирало сердце, и запахи прошлого. «Зеркало» Тарковского. Самого Тарковского на полуподпольной встрече, почему-то в детском «Пионере», где сегодня расположился Театр кошек. Вкус фруктового мороженого за семь копеек из киоска на улице Дунаевского. Горечь сигарет «Фемина», которые мы раскуривали после уроков на лавочке во дворе за школой. Сладковатый запах дыма из давно закрытого пивного завода имени Бадаева, на месте которого пафосный фудкорт... Мираж лестницы...

...С Сашей мы встретились в кафе в Иерусалиме.

— Ты знаешь, исполнилось как раз сорок лет с того дня, когда мы виделись в последний раз, — сказал он.

Мы разговаривали, как будто расстались на прошлой неделе, не закончив разговор. И совершенно этому не удивлялись. Оказалось, это последний день его работы на Радио Иерусалима, где он трудился 25 лет.

— Теперь буду писать стихи и переводить Амихaya, — сказал он.

На моем столе — камень, на нем написано «аминь»,
Треугольный обломок камня с еврейского кладбища,
Уничтоженного много поколений назад. Остальные обломки,
сотни, до сих пор разбросаны в беспорядке, и в бесконечной
ностальгии: имя ищет фамилию, дата смерти ищет название города,
где родился умерший, имя сына пытается найти имя отца,
дата рождения пытается опять соединиться с душой,
которая хочет быть завязанной в узле жизни.
И пока не найдут друг друга, не найдут покоя...

Это из последней книги переводов классика ивритской литературы — «Точность боли и размытость счастья».

Тогда, десять лет назад, мы говорили об одноклассниках. Об Ире, которая потереяла мужа, о моей подруге Оле, с кем все собиралась повстречаться и о смерти которой я узнала из газет... Сегодня мы чаще обмениваемся краткими сообщениями. Его младшая дочка пошла в армию. Они живут в Старом городе, и в шаговой доступности от дома укрытий нет. Пишет стихи.

Вот из только что вышедшей книги «Освобождение от ностальгии».

...Но стоит заснуть или просто закрыть веки —
и я снова на улице детства в Замоскворечье или

в безжизненной квартире на краю Москвы
 над пустырями
 после развода с первой женой. А чаще всего —
 на даче
 на веранде или на дорожке под вишнями в саду.
 Почему?
 Это не ностальгия. Я по-прежнему — там.
 Нет тоски, сожаления, желания вернуться.
 Все вокруг так же реально, как сегодня
 или завтра. Это тело моей жизни.
 Освободиться от него?

Я рассказываю Саше о том, что впервые еду в Казань на поезде, потому что рейсы постоянно задерживают, что книги дорожают. Что видели с нашим бывшим одноклассником Димой «Леопольдштадт» Стоппарда в Российском молодежном театре, а в Студии Фоменко «Аркадию».

Мы говорим по ватсапу о Мандельштаме. Двухтомник о Мандельштаме, составленный моим бывшим коллегой по университету, я успела купить, теперь это редкость...

..Я кладу трубку и выхожу на балкон. Местность, где прошло мое позднее детство. Она та же, но одновременно почти неузнаваема. Другие вывески, другие транспаранты, блеск и гам торговых центров и гламур бутиков, плитка вместо асфальта на тротуарах. Другие автомобили, каблучки, шарфы... Но нет-нет да предательски проступает в переполохе столичных запахов что-то тленное, потаенное, знакомое по исчезнувшему времени, когда площадь Киевского вокзала еще была полна передвижными пирожковыми и толпами цыганок, хватающих зазевавшихся прохожих за рукав или подол пальто. Бреду по Брянской улице и ловлю себя на том, что замечаю знакомые силуэты в толпе, их бы окликнуть — но нет, это лишь мираж, обладателей этих силуэтов давно нет с нами... Чрево Киевского вокзала, некогда распахнутое наблюдателям высоких этажей, упрятано в броню металлических и стеклянных каскадов, новостроек, башенные краны продолжают свою работу в жару и в стужу, возводя новые высотки. Передо мной — небоскребы Москва-Сити в цветах российского флага и рекламах госкорпораций.

Наступает вечер. И мне снова видится, что за ними, вдали, в сумерках, за остановившимися корпусами бывшего Бадаевского завода возникает, ступенька за ступенькой, пока еще трудноразличимая лестница, та самая, которая соединяет нас и вечное пространство и которая позволяет нам продолжать жить и надеяться...

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

Отечественная поэзия имеет бесспорное преимущество перед европейской. Ресурсы русского языка обеспечивают свободный порядок слов, вариативность ударения, разнообразие клаузул. Среди систем отечественного стихосложения можно назвать силлабо-тоническую и тоническую, можно использовать и промежуточную модель стихотворения — дольник.

Французский язык не может похвастаться такими ресурсами. Как следствие — средства франкоязычной поэзии весьма ограничены. Ограничен набор рифм, набор размеров внутри силлабической системы. Тем не менее ни один язык не способен ограничить автора в широте мысли, в образном мышлении, в любви к отечеству. Буйство образов, любовь к национальной и общеевропейской культуре, трепетное отношение к природе, к отдельной человеческой жизни, судьбе привлекали русскоязычного читателя, обуславливали интерес к французской литературе, в том числе к поэзии. Возможность ознакомления с французскими поэтами предоставляли великие русские и советские переводчики: Б. Пастернак, В. Левик, А. Гелескул, А. Ревич и др. Но невозможно объять необъятное. Корпус французской поэзии XIX—XX веков сегодня не переведен на русский язык даже на треть.

Михаил Серебринский, ранее уже выступавший в печати с переводами, представляет вниманию читателя новые стихотворения. Основу подборки составляют французские поэты. Среди авторов — Анатоль Франс, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе, пожертвовавший премиальные деньги в пользу голодающих России; Гийом Аполлинер (он же — Вильгельм Костровицкий), французский поэт русско-польского происхождения, называвший Рюрика своим пращуром, Москву — священным городом, и другие духовно близкие русской культуре авторы.

Михаил Серебринский в своих переводах использует средства и возможности русской поэзии для передачи образной системы оригинальных текстов, картины мира и логики повествования франкоязычных авторов. В результате появляются возможные только для русского языка синтаксические конструкции, рифменные ассонансы, нехарактерные (даже невозможные) для франкоязычной поэзии. Такой подход — приоритет выразительности итогового русскоязычного текста над некоторыми формальными аспектами оригинала — использовали в своей переводческой деятельности В. Жуковский, А. Толстой, упомянутый выше А. Гелескул и другие. Подход, не самый популярный сегодня, при более распространенном — формалистском. Тем не менее будем надеяться, что читатель переводов Серебринского сможет насладиться флорой и фауной французской поэзии, а также американским «скалистым рифом», которые были перенесены на почву отечественной поэтической культуры.

Алексей АХМАТОВ

От автора

Большинство представленных мною стихотворений переводится впервые. Огромный пласт французской и англоязычной поэзии до сих пор не знаком нашему читателю. XXI век с его интернет-технологиями (неограниченный доступ к сокровищнице мировой литературы, одномоментный перевод печатного текста, позволяющий приблизительно понять содержание за считанные секунды) должен стать веком открытия новых (или незаслуженно забытых) авторов широкому читателю.

Что я хочу этим сказать? У сегодняшнего переводчика — все карты на руках. Дело за профессионализмом.

Михаил СЕРЕБРИНСКИЙ

Исаак МАКЛЕЛАН

ЧАЙКА

Морская птица, расскажи,
Куда ты по волнам скользишь?
На южный берег, где тростник
Заменит путаный камыш?
Где цитрусы в цвету стоят,
Где пыль — агавам по зубам,
Где густ магнолий аромат,
А воздух вязок, как бальзам?

Напротив, птица-пилигрим?
На север курс крылу задашь,
Где высится скалистый риф,
Где протяжен песчаный пляж?
В седом горячем песке
Не жемчуг — кладку — спрячешь ты,
Чтобы, играючи, птенцы
Ныряли в пену с высоты?

Возможно, рея по волнам,
Смотря в цветную глубину,
Ты ищешь барку ту, что в шторм
Пропала и идет ко дну?
Разбита мачта, смят фальшборт,
Как небо, парус бледен, рван —
Ей, барке, не вернуться в порт,
Не пересилить океан.

И ты не сможешь никогда
На берегу найти приют:
В лесах тропических, во льдах
Покоя волны не дают.
Да, не земля — вода — прервет
С последним криком твой полет.

Жорж ФУРЕСТ

ЦВЕТЫ МЕРТВЫХ

Сусальной стружкой лепесток.
Дари, кладбищенский цветок,
О хризантема, желтый свет
Гробам, в которых света нет.
Я представляю мертвеца.
Беда! На уровне лица
Лишь корни. Вовсе не пыльца.

Мертвец — так дело обстоит —	Цветы, вы б искупили грех,
Выходит, только корни зрит.	Когда б росли корнями вверх.
Расчувствовавшись, я всерьез	Я б вас сажал под кипарис,
Решил трагический вопрос:	А вы цвели... бутоном вниз!

Анатолий ФРАНС

СМЕРТЬ СТРЕКОЗЫ

Словно прачки с бельем, ивы топчутся в тине.
Рты зевают — у вод бродит сонный народ.
Барабанят, как град, пауки в паутине,
На нимфеях висят в синей дымке болот.

Травы спят. Спят жуки — теплый воздух сморил их.
Только видишь: стрекозы над миром гудят,
Только тельца и блики на сетчатых крыльях,
Только души — на солнце тоску бередают.

Я их видел, бессонных и резких двухдневок:
Крылья — воздух дробят по росистым местам.
Это — к солнцу, покою, ко сну водомерок.
Я гулял в тростниках, называл их «madames!».

Но пришел человек. Над свернувшейся тиной
И над шапками ирисов с древних болот —
Взмах сачком. Незнакомец прервал стрекозиный,
Искаженный под газовой сеткой полет.

Он был школьником, грубо распявшим булавкой
Изумрудный каркас стрекозы, но она
Парой мощных рывков унесла мертвой хваткой
Тело с лезвием в травы, до боли вольна.

Нет, она б не простила себе, если дети
Изучали ее через призму витрин —
И четыре крыла распахнулись для смерти,
И в родных тростниках высох жесткий хитин.

Поль ВАЛЕРИ

ПЧЕЛА

Бледна, смертельно худосочна,	Как тыквенная оболочка,
Стань только жалящим крючком.	Я сух. Не плачу ни о ком.
Пока я занят пикником,	Возьми меня одним броском,
Пчела, кусай до боли точно.	Комок, хитиновая точка!

Как раны выедает соль —
Пусть разум вспыхнет вслед укусу.
Дремота — пытка. Мне по вкусу
Мгновенная тупая боль.

Напомни мне, пчела литая,
О прежних чувствах, улетаая.

Жермен НУВО

ГОЛУБИЦЫ

В белых тисах под воском луны,
Черноваты и чуть зелены,
Над могилами спрятаны птицы,
Как цветы, что не могут раскрыться.

Лопнет плод — переспелый снаряд, —
Треснут птицы — из холок торчат
Перья с пухом (что, некогда движим
Ветром жизни, летал над Парижем).

Есть на кладбище тис. Всех старей,
Всех черней, он уютит голубей.
Он качается в пятнышках света
На ветру, как на искрах — ракета.

А на нем голубица — одна
Между всех божьим светом полна.
Бросит взгляд — по надгробьям лучится
Желтый отсвет из глаз голубицы.

В желтизне этой кажется: лес
Перед праздником Пасхи воскрес.
Все деревья курлыкают — даже
Те, что спят в самом черном плюмаже.

Так курлыкает девичий хор
В оперении божьих сестер.
Это души на несколько суток
Обращаются в белых голубок.

Но напрасна их служба. Луна
Лишь пролистывает имена
На камнях. Так уйдем же! Оставь ей,
Мой читатель, тоску эпитафий!

Стефан МАЛЛАРМЕ

ПЕСНЬ СВЯТОГО ИОКАНААНА

Пусть солнце остановится, чтоб только
Родиться, чтобы после остановки
Принять мучение и плыть в огне
Вниз по спине.

Мой перебитый сталью позвоночник
Подскажет точно приближение ночи,
Триумф толпы, и дрожь в ее ногах,
И ложь, и страх.

Пусть голова, презрев земные страсти,
Одним прыжком решит все разногласья
С душою. Как отрезанный ломоть —
Оставит плоть.

«Лети, — хочу ей крикнуть, — словно птица,
В немые небеса, куда стремится
Твой пьяный от пощенья чистый взгляд,
Где синий яд!»

Но волею иного назначения
Я был крещен и снова во Спасенье
Склоняю голову, хоть сам, увя,
Без головы.

Гийом АПОЛЛИНЕР

ОБРУЧЕНИЯ

Весной, когда помолвленным лгунам
Под стогом кипариса можно скрыться,
Смешать с листвою перья Синей птице;
Святые бродят рядом, по лугам.

Мадонна на закате рвет левкой,
Где на заре шиповники рвала,
В подарок голубкам: их было двое,
Весною — третьим — Дух простер крыла.

Убежище — лимонные деревья.
 Любовникам — быть вместе до конца.
 В глазах у них — счастливые деревни,
 Лимоны розовеют, как сердца.

БЕГСТВО

Супруга короля сбегает в серой лодке.
 Беспомощный король пришел за ней к волнам.
 Он был велик, теперь — рыдания в дряхлой глотке
 Бряцают в такт шагам, цепочкам, жемчугам.

В суденышке поют. Гребцы — юны и робки.
 Супруга — влюблена и отдана мечтам:
 «Что гидры, рифы, проч.? Наш путь ко дну короткий —
 Закрой глаза и верь поющим голосам».

Любовник: «Не смотри, что возле скал — скелеты,
 Что остовы судов всплывают из глубин.
 Тут, на воде, — цветы, медуз ультрамарин
 И рыжий ком волос — счастливые приметы».

Влюбленных скрыл закат, но далека земля...
 А жемчуга летят с накидки короля.

**Переводы
 Михаила СЕРЕБРИНСКОГО**

Михаил Серебринский — поэт, переводчик с английского и французского языков. Родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А. С. Пушкина. Автор трех книг стихотворений и переводов. Публиковался в журналах «Нева», «Юность», «Звезда», «Москва», «Аврора», «Алтай» и др., в «Литературной газете», на электронных порталах «Полутона», «45-я параллель» и др. Лауреат всероссийской премии «Молодой Петербург» (2021), премии журнала «Звезда» (2025), премии «Белые крылья Непрядвы» (2025), литературной премии им. Н. В. Гоголя, финалист национальной премии «Слово» (короткий список, 2026). Лауреат ряда всероссийских конкурсов, участник литературных фестивалей, литературоведческих конференций. Произведения переводились на китайский язык. Живет в Санкт-Петербурге.

Александр ТЮЖИН

ОДИН БИЛЕТ ДО МАРСА

Повесть

Елене Манн

1

Вообще, я никогда не прогуливал школу. Серьезно, ни разу. Не то что я такой правильный или ботан до мозга костей, просто мне нравится на уроках. Сидишь себе спокойно, слушаешь, а тебе кучу всего интересного рассказывают, особенно на истории или географии. А если не очень интересно, можно рисовать, или рассказы всякие писать, или в инете сидеть, или за Таней (это новенькая наша) подсматривать. Она мегаактивная — ни секунды спокойно просидеть не может, как Цезарь, миллионом дел одновременно занята. Одной рукой записывает, второй — селфи делает, третьей... Конечно, у нее нет третьей руки, но ощущение, что их все десять, потому что она тут же и фотку свою в сети выкладывает, и мемчик в чат класса скидывает, и ленты в косички вплетает, и кукольный театр устраивает, нарисовав на пальцах рожицы, пародирует Галинфу (а это наша классная) или еще кого из учителей и столько всего может делать, что перечислять устанешь. Прямо поражаюсь ее фантазии. Остальные ребята тоже ничего, но не такие активные, чаще просто в «Brawl stars» рубятся или в «Minecraft». В общем, я не пропускал занятия. Да и желания отлынивать, если честно, не было, а сегодня...

С утра встал пораньше и быстрее схватил градусник. Грел его, как положено, перед лампой. Тридцать восемь и две. Потом полотенцем натер лоб быстро-быстро, чтобы аж горел. Затем сам весь скривился, будто чуть не умираю от боли, и к бабушке пошел. Она на меня посмотрела, сразу все поняла, даже лоб шупать не стала. Ложись, говорит, скорее, я тебе бульона горяченького сделаю. Ба у меня хорошая, строгая, правда, иногда, но только не сегодня. А бульон я люблю. Оттуда выковыривать ничего не надо, особенно лук. Фу-у, терпеть не могу вареный лук. Что за издевательство над вкусовыми рецепторами? Хуже только сыр, который, как носки после тренировки, пахнет, и соленые арбузы. Как можно было додуматься

Александр Викторович Тюжин родился в 1985 году в Оренбурге. Окончил ВГИК по специальности «Кинодраматургия». Драматург, сценарист, прозаик. Член Союза театральных деятелей (СТД), член Союза писателей Москвы. Финалист и лауреат многих драматургических конкурсов («Ремарка», «Евразия», «Авторская сцена», «Действующие лица», «Молодые люди» и др.). Лауреат премии П. И. Рычкова в номинации «Дебют». Лауреат премии Фазиля Искандера в номинации «Пьесы и сценарии». Публиковался в журналах «День и ночь», «Нева», «Урал», «Современная драматургия», альманахе «Гостиный двор» и др. Романы «Канны для ванны» и «О чем молчат твои киты» опубликованы издательским домом «Городец». Повесть «Путин — Путин» вошла в сборник молодежной прозы «Молодая „Нева“» (СПб., 2015). Спектакли по пьесам поставлены в различных российских и зарубежных театрах. Живет в Оренбурге.

до того, чтобы посолить сладкое? Они бы еще соленые огурцы сахаром посыпали. Но вопрос, конечно, риторический.

Я даже не думал, что все так легко пройдет. И вот лежу уже спокойно себе, гляжу в потолок. Ну, как спокойно? На самом деле мне грустно. Но пока не хочу говорить об этом. Я представляю, что сейчас творится в школе. Все-таки первый раз прогуливаю. Уроки, правда, еще не начались. Шумно. Все снуют туда-сюда. Обсуждают новый клип Blackpink или Ехо. У нас полкласса от этого кей-попа фанатеют. А я как-то не очень в нем разбираюсь. Мне группа «Angels and airwaves» нравится. Музыка у нее такая необычная, космическая, как включу, сразу представляю, что лечу в ракете, а за окном иллюминатора проносятся кометы и метеориты. Красиво. Еще всякое ретро нравится. Эдита Пьеха, например. «В нашем доме поселился замечательный сосед» или «Это здорово». Под нее и правда здорово дурачиться и петь в пульт. Когда никто не видит, разумеется. А то сразу можно в «рилсы» попасть. И Ваня Дмитриенко тоже норм, хоть и не ретро. «Ты Венера, я Юпитер» и все такое.

И вот одноклассники обсуждают клипы, а Макс Крухмалев шипит, чтобы не мешали. Опять небось шахматы притащил. Играет он так себе, просто с ними сразу важный такой становится и умнее как будто выглядит. Но это только первые тридцать секунд, когда фигуры на доске расставляет, потом он начинает обдумывать ходы, без конца чешет затылок и так раздувает ноздри, что больше похож на лохматого дракона, чем на Крамника или кто там сейчас самый крутой гроссмейстер? А это просто Пал Андреич, наш математик, сказал, что шахматы для мозга самое то и в матике помогает. Вот Макс и вспомнил, что дома без дела шахматы валяются. Но по матике у него как были тройки, так и остались, даже двойки чаще получать стал. Зато каждую перемену с Лехой Картавцевым садятся и разыгрывают свои гамбиты. Леха-то, понятно, выигрывает, а вот как Макс у не надоело проигрывать? Непонятно. Он еще видосики всякие смотрит, надеется, что поможет. Крейзи.

И вот звонок. Он у нас громкий, чтоб все слышали. Я каждый раз вздрагиваю, как слышу. А еще удивляются, почему так рано люди сесть начинают. Все ломаются в класс. Макс облегченно выдыхает, не успел проиграть до начала уроков, значит, день будет не самым плохим.

Сначала у нас география. Галина Константиновна уже в классе и встречает всех строгим взглядом. Иногда она даже рычит на нас от злости. За это мы прозвали ее Горилла Константиновна. Но такое, к счастью, бывает редко. Да и вообще, как с такими учениками не зарычать? Еще один риторический вопрос.

— Опаздываете! — И очки приподнимает для устрашения. — Садитесь!

Разве это опоздание? Вот Таня — да. Она даже из раздевалки еще не вышла. Плется по коридору, как зомби по сугробам. Это в классе она живчик, а пока в него не зашла, еще медленнее, чем ленивец из «Зверополиса». По-моему, ни разу даже вовремя не пришла.

А Галина Константиновна уже отмечает присутствующих. Очередь доходит и до меня.

— Климов.

Тишина.

— Климов.

— Да нет его, — говорит Катя Лезова — староста.

— Значит, нет, — удивленно замечает Галина Константиновна, — прогуливает что ли?

Все недоуменно пожимают плечами, даже Таня (доплелась-таки), и вдруг дверь кабинета резко открывается, и в класс влетает Антон Игоревич — директор.

— Как прогуливает? Как прогуливает? — вскрикивает он и машет руками, как надувной зазывала. Ну, знаете, возле тэцэшек такие стоят и на заправках всяких. — Климов же никогда не прогуливает.

— Никогда, — подтверждает Лезова. Она и сама ни разу не пропустила занятия.

— Ой, мне плохо, — хватается за сердце Антон Игоревич, — вызывайте «скорую»... и полицию.

— А полицию зачем? — спрашивает Таня.

— Искать, спасти Лешу! Он же явно в беде.

И тут начнется... Но я не успеваю придумать, что будет дальше. Словно прочитав мои мысли, в комнату заходит Ба. Строго смотрит на меня, я вздыхаю как можно тяжелее.

— В школу звонила. Галине Федоровне твоей.

Я замираю на всякий случай, вдруг все-таки раскусили. А Ба продолжает:

— Сказала, что температуришь. Тебе привет и скорейшего выздоровления.

— Спасибо, — выдыхаю я.

— Голова не болит?

Отрицательно мотаю головой.

— Ну, лежи, лежи. Бульон через десять минут будет готов, — и уходит.

А я и лежу. Вообще-то, вечером еще бегать, но это потом. А пока целый день впереди. Я смотрю на стену, на семейные фотки. Да, мы из рода плиозавров, тех самых, что распечатывают фотки и вешают их на стены. И вот я смотрю на фото, и мне становится еще грустнее.

2

Илон Маск планирует отправить первый десант колонизаторов на Марс в 2029 году. Ну, круто же, молодец. А пораньше никак? Тут просто такое дело. Мне реально надо раньше. Вот прям завтра...

Просто... Просто я сейчас скажу, но вообще это секрет. Так что тсс.

Короче, мой папа космонавт. Федор Климов. Можно не гуглить, никакой инфы не будет. То есть вылезет фигурист и еще какой-то менее известный актер, но это не он, конечно. Я же говорю, там все секретно. Он в каком-то тайном отряде состоял, то есть состоит, и у них секретная миссия была. Нет, не была, а есть. Она же не закончена.

В общем, они шесть лет назад отправились выполнять эту миссию. И там, как говорится, что-то пошло не так. Какой-то прибор отказал, или они с курса сбились, нам ничего рассказывать не стали. То есть сначала все шло как надо, а через полгода маме сказали: «Пропал без вести. Миссия секретная, поэтому без подробностей. Спасибо за героического мужа, Родина его не забудет. Бла-бла-бла. Мы, конечно, ведем поиски, но сами понимаете, это ж космос, он огромный». Ну камон... Ничего мы не хотим понимать... Он вернется, должен вернуться. Но они, видимо, думали иначе. И миллион дали, чтобы грустить было легче по героическому мужу и отцу.

Мы, конечно, были в шоке. Ну, то есть понятно, что космонавт не самая безопасная в мире профессия, но... К секретной миссии явно же должны были тщательно готовиться. Да и папа реально месяцами пропадал в центре подготовки. Сам я не помню. Но мама рассказывала.

И, в общем, я не поверил. Думаю, просто миссия стала еще секретнее, и чтобы пресечь все разговоры, придумали эту отмазку «пропал без вести». А сам папа на-

верняка где-нибудь на Марсе (по срокам как раз подходит) или, может, вообще, на Луне сидит и картошку там выращивает или какую-нибудь хурму.

А общаться с нами ему запретили, ну пока эксперимент не закончится. И тут вдруг Маск начал про мечту свою рассказывать, что хочет Марс колонизировать, буд-то тоже что-то пронюхал. Я как услышал, сразу понял, что должен полететь с ним. Прилечу, а там папа как раз урожай фейхоа собирает и закрутки делает, один в один как бабушка. Ну, и увидит меня такой, офигеет, обниматься кинется. А я улыбнусь такой довольный. Типа: «Сюр-прайз! Вы нас не ждали, а мы приперлися».

Ну или, если нет его там (но я так думать не хочу), хоть какая-то известность. А то пропал без вести — это же страшно и стремно на самом деле. То есть что угодно может быть. В смысле теоретически шансы же остаются, что найдется. Вон Джон Смит. Астронавт. В 1973 году пропал тоже, корабль с орбиты сошел, и связь оборвалась, а потом аж в 2000 году его корабль обнаружили, и он живой оказался. Астронавт Джон Смит, вот его можно погуглить, в инете есть эта история. Многие пишут, что это фейк и больше на сценарий фильма похоже, но на пустом месте же фейк не появился бы. Тем более нигде никаких опровержений не выходило. А человека двадцать семь лет искали, получается, двадцать семь лет...

Я когда маме эту историю рассказал, она только вздохнула, тоже не поверила. Ну, я тогда еще не понял этого. Счас-то понимаю. Но знаю, что в душе она тоже надеется и ждет папу. Шанс всегда остается. Пока не скажут, что все... было найдено тело без признаков жизни и все такое... Может, его вообще инопланетяне захватили и изучают, а потом обратно вернут. Скорей бы... Так что верить надо до последнего.

А маму очень жалко. Она у меня красивая. Стройная, пластичная, осанка у нее, не то что у меня. Хореограф же. Как начнет танцевать... И папа ее очень любил. То есть любит. А вот танцевать не очень.

Я, если честно, тоже танцульки эти не люблю. Вот рисовать — да, это другое дело. Я уже два года графический роман пишу. Про космонавта. Люком зовут. Как в «Звездных войнах». Кстати, надо за новый эпизод сесть.

3

Пустынно-холмистая местность. На километры и километры вперед, куда только дотягивается взгляд, пейзаж неизменен — пески и горы. Нет ни облаков, ни ветра. А высоко виднеется гигантское заходящее солнце. Закат везде прекрасен. На любой планете. А это точно не Земля. Эх, сюда бы море еще....

Люк высаживается из своего звездолета, проходит немного вперед, взбирается на бугор, смотрит на закат. Долго смотрит. Наконец Люк вытаскивает из кармана скафандра небольшой диктофон, записывает.

«Лю к. Три тысячи шестьсот пятьдесят третий день миссии „поиск пропавшего космонавта“. Прибыл на таинственную планету бесконечных закатов. Следов жизни не обнаружено. Здесь явно никого и никогда не было. Оставляю очередную капсулу с посланием для... него. И продолжаю странствие по галактике Сомбреро. Не теряю надежды. Мы встретимся, обязательно встретимся.

Р. S. Закат офигителен».

4

Грустный выходит эпизод. Но мне и самому не радостно. Еще и краской халат заляпал. Вообще, я халаты не ношу, но этот папин, он мне большеват, но папин же. Махровый такой, клетчатый. И весь рукав теперь малиновый. Ну что за?

Несусь в ванную. Открываю кран, замачиваю, потом намыливаю. Хозяйственное мыло. Терпеть не могу, оно пахнет так, как сорок тысяч сунсов. Из чего его делают? Из потных подмышек, что ли? Б-р-р.

И тут из-за двери раздается голос Ба:

— Лешик, пришли к тебе!

В смысле пришли? Кто? Я же никого не жду...

Неужели все-таки в школе прознали, что я не болею, и Галина Федоровна или даже сам Антон Игоревич пришли меня отчитывать? Снова придаю лицу максимально болезненное и усталое выражение и неспешно приближаюсь к двери. Что ждет меня за ней? Неприятная встреча? А вдруг наоборот, вдруг это будут долгожданные и радостные приветствия и объятия? А что если это папа вернулся? Я обниму его так крепко, что Карлсон обзавидуется, он же хвалился, что он чемпион мира по обнимашкам. А мама, как назло, на конкурсе и вернется только послезавтра.

Я буквально влетаю к себе в комнату, расправляю руки для объятий, а там... Посреди спальни стоит Таня и хлопает своими огромными зелеными, как футбольное поле, глазами и разглядывает проигрыватель.

— Белова? — вырывается из меня возглас удивления.

— О, Климов, хай! Ого, ты секси.

Теперь ее глаза впииваются в мой, то есть в папин, халат, и мне становится крайне неловко от этого. Не думал, что когда-нибудь Таня увидит меня в домашнем, тем более в таком. Мысли бешено проносятся в голове. «Черт! Черт! Черт! Вот засада. Кринж и все такое. Срочно валим отсюда! Меняем школу, переезжаем в Тобольск или еще дальше. Какое переезжаем? А папа? Что делать? Что делать? Надо хотя бы переодеться».

Пауза затягивается, и от этого становится вдвойне и даже всемерне или даже встойне неловко. Ну и что, что таких слов нет? От стресса и не такое выдумается. Надо что-то сказать вслух.

— Чего? Ты как вообще зд...? Стой.

Да уж. Не самая складная фраза получилась. А Таня уже улыбается, как будто выиграла в конкурсе репостов новый айфон или сертификат на пожизненную бесплатную доставку роллов.

— Да я и так вроде стою.

Стоит она...

— Какой секси?

— Да ладно тебе, расслабься, это ж просто выражение такое.

Ага, расслабишься тут...

— Просто норм выглядишь, — продолжает Таня. — У меня у папы почти такой же халат. Мне тоже хотели купить, но я кигурумчик дома ношу. Ну, знаешь, Пикачу там, дракончик. У меня их восемь шт...

— Так, стоп, подожди, я сейчас...

Хватаю со стула майку и шорты, вылетаю из комнаты. Срочно переодеваюсь. Ну, Таня, ну вообще. Нежданчик века. Волосы еще, как назло, максимально лохматятся. Быстро-быстро приглаживаю рукой, сердце колотится, словно я только что пять марафонов подряд пробежал. Кигурумчик-дракончик. Ей, кстати, очень должно идти. Буду требовать ответный визит и приглашение на пижамную вечеринку. Ну, как требовать? Понятно, что не буду. Но подумать-то можно. Но я и правда бы с радостью побывал у нее в гостях. Но как она мой адрес узнала? Надо будет спросить. Так, все, пора возвращаться. Халат она уже видела, кринжовой ничего не случится.

ный. Даже представить сложно, чего только нет во Вселенной. И я понимаю папу. Быть космонавтом — это самое крутое на свете. Звезды, галактики, другие планеты. Даже звездная пыль звучит круто и мистически. Но главное, что космос — это тайна, а любую тайну хочется разгадать. А для меня он тайна вдвойне, ну вы понимаете, из-за папы. И в музее я чувствую, что будто к нему ближе. Хотя бы так... На орбиту же меня никто не пустит. А Таня... даже как-то не верится, что она один раз только была в музее. Ну, ладно, можно и включить. Ни я, ни проигрыватель не развалимся. Тем более я сам думал чуть позже послушать его любимую музыку.

— Ладно. Включу сейчас. Какую?

— Эту, с Дассеном давай.

Смешная, конечно, фамилия Дассен. Песни тоже у него забавные. Включаю «Les Champs-Élysées». Даже хочется подтанцовывать, но сдерживаюсь. Помню, как папа дурачился, совершая нелепые телодвижения под эту мелодию, и очень веселил маму. Глядя на них, я тоже не мог сдержать улыбки и дрыгал ногами. А вот Таня раскрывает рот и подносит к нему пальцы, изображая, будто ее рвет. Ну, сорян, сама попросила.

— Не очень, да?

— Ну, такое... Я думала, пободрее будет. Типа

Мой белый, мой белый,
мой белый, мой белый, мой белый... —

напевает она. Что-то современное и рэперское, даже не знаю, кто исполнитель.

— Мне «Така-таката» нравится. Включить?

— Не, хватит, наслушалась.

Вот и отлично, может, тогда и домой пора? Но Таня бодро подходит к креслу, трогает. Камон! Сама же назвала музеем. Экспонаты, вообще-то, трогать нельзя.

— О, кресло-качалка же? Тоже дедушкино?

Я киваю.

— Можно?

И тут же усаживается. А смысл тогда спрашивать?

— Я поняла. Я сама осторожность, — добавляет она, заметив мой взгляд. — А то зубов недосчитаться.

Довольно спорное заявление.

Таня покачивается, кресло поскрипывает. А я сразу вспоминаю, как в нем раскачивался папа. Важный такой, гладко выбритый, в этом халате. Что-то мурлыкал себе под нос. «И снится нам не рокот космодро-о-о-о-ма». Он всегда садился в него, когда скучал по невесомости. Я в такие моменты с разбега прыгал на него и усаживался на колени. Он улыбался, трепал мои волосы и, подмигнув, произносил: «Ну что, Алешка, где твои друзья гардемарины?» Это из фильма про гардемаринчиков. А я отвечал: «В садике». У меня и правда в саду были два товарища. Саша и Никита. Двоюродные братья. Оба давно уже живут в Калининграде. У них свой канал на ютубе. Распаковка, обзоры игр и все такое. Довольно популярный, но речь не про них, вообще-то.

Сам же я в первый раз упал с кресла. Ну, мне было годика три может. Я взобрался, а оно как начнет качаться, я, конечно, не удержался, и как грохнулся на пол. У меня с тех пор небольшой шрам на лбу: об угол стены слегка ударился. Не как у Гарри Поттера, меньше, и в самом уголке. А еще вспоминаю, как однажды, это я уже постарше был, папа незаметно подложил под ножку тапку, и кресло встало ровно и не

двигалось с места. Я давил с силой, раскачивался сам, но бесполезно. Я не мог понять, что не так, а папа хитро-хитро так улыбался, как нашкодивший первоклашка. А потом убрал тапку, и я снова как полечу с кресла... Но в этот раз он поймал меня, довольно ловко, и обнял крепко-крепко. Вот бы снова услышать его: «Алешка, где твои гардемарины?»

— Блин, так здорово у тебя, — прерывает мой поток воспоминаний Таня.

Хм.... Ну, ок.

— Обычно. Просто старое все.

Но Таня готова спорить.

— Не старое, а с историей, — говорит она. — У меня вот вообще ничего своего, считай, нет. Ну кроме телефона и шмоток, ну планшет еще, самокат.

Эх, я бы тоже хотел свой самик. Электросамокат, разумеется, а не просто. Такой у меня был, но я уже лет пять на нем не катаюсь. Вырос. Да и сам теперь бегаю.

— В смысле, мы все время ездим же, — продолжает Таня. — Папа нигде больше двух сезонов не играл. Ну, и квартиры снимаем. А там уже все есть. Ну, мебель и все такое. И все новое, не как у тебя.

Папа Тани — футболист. Вроде хороший. Но не в премьер-лиге играет, а в первой. Я за футболом не особо слежу. Так, на физре гоняем мяч иногда, я в основном на воротах стою или на фланге, чтобы бегать побольше. Зарабатывает он, конечно, неплохо, но что за унижение началось? Все новое, не как у тебя... Так-то мы на кухне ремонт недавно сделали. Гарнитур новый установили и холодильник с плитой. Даже робот-пылесос купили. Но я не успеваю обидеться.

— Лешик, предложи госте чай. С ватрушками, — раздается голос Ба из той самой отремонтированной кухни.

Ну да, только ватрушками кормить эту Таню осталось. Не думал, что она такой бесочей может оказаться. А ватрушки у Ба нереально крутые. Самые вкусные на свете. Даже не сомневайтесь. Ок. Пусть попробует и офигеет со своим всем новым. Вообще, я бы только одни ватрушки эти и ел. Привет тебе, Карлсон! Но для фигуры это, конечно, не супер. А мне надо быть стройным, иначе в космос не возьмут, сами понимаете. Ради приличия все же спрашиваю:

— Будешь?

— Так сказал, что, если соглашусь, ты меня задушишь.

— Это типа нет?

— Типа колу поплю.

— Колы нет.

— В магазине куплю.

Вот и отлично. Иди в магазин, Таня. А я... А мне грустно, вообще-то.

— Наливаю? — кудахчет ба.

— Нет. Тане в магазин надо, — говорю я громко и с напором.

Таня понимает намеки.

— Прогоняешь?

Если честно, в любой другой день я просто обалдел бы от счастья. Таня! Сама Таня пришла ко мне, офигеть. Я бы никогда не решился ее позвать, даже на день рождения. А тут... Кстати, действительно, с чего бы ей приходиться? Ну, явно же не навесить меня пришла. Мы в школе-то больше десяти фраз за день не обменивались. Смотрю на нее внимательно. Ну точно, хитрый взгляд, накручивает волосы на палец. Явно что-то скрывает.

Какова цель вашего визита, юная леди?

У леди неожиданно начинают трястись живот и плечи. Ноздри раздуваются и сдуваются, как меха баяна.

— Ну конечно, всех ты, Таня, достала, — со злобой произносит она. — Все тебе «рады»: в школе, дома, у Леша в гостях... Может, еще тоже цапаться начнешь из-за машины. «Опель» не солидно, давай хотя бы «бэха»...

— Ничего не понимаю. При чем тут «бэха»?

Я действительно не въезжаю.

— Да забей, — натужно улыбается Таня. — О, или ты ждешь еще кого-то? В халате своем... А тут я такая...

Что за намеки?

— Чего? Кого? Да никого я не жду... Просто...

Я задумываюсь, как объяснить, чтобы не рассказывать про папу, но и чтобы не выглядело как тупая отмазка. Но не успеваю.

— Ладно, поняла я. В магазин так в магазин. Только, это... Ллль...

Таня умолкает на полуслове. Любительница интриги. Только что? Выкладывай.

— Леш, у тебя же по докладу все готово?

Еще бы не готово. Позавчера уже. Пять раз перечитал, подправил, распечатал. Хоть сейчас лекцию могу прочитать. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Руководитель Северного общества — Кондратий Федорович Рылеев и все такое...

— Ну да, — отвечаю вслух.

— Супер. А, это, может, мы с тобой поменяемся?

— В смысле?

— Ну ты за меня расскажешь, а я про само восстание декабристов.

И взгляд опять хитрый-хитрый. Все ясно с вами, Татьяна.

— А то у меня голова уже пухнет. Южное общество, Северное общество, союзы эти бесконечные, уставы.

Да кто бы сомневался? Я еще в тот день, когда раздали задания, понял, что Таня его не осилит. Леша Федорович Ванга — приятно познакомиться. Но если честно, мне по-настоящему это интересно. Люди искренне верили в светлое будущее и не хотели терять надежду. Конечно, все закончилось печально, но надежда нужна всем. Я тоже продолжаю верить.

А Таня с надеждой смотрит на меня.

— Ладно, давай. Все?

Вы бы видели, как тут же лицо Тани засияло от счастья.

— О, супер. А можешь мне материалы тоже скинуть. У тебя ж готово все.

Так легко и просто. Мне бы так...

— То есть ты вообще ничего не готовила?

— Не, я читала, — кривится Таня, будто съела лимон вместо мороженого, — но говорю ж, у меня как голова пухнуть начала... тут еще эти... «Бубубу...» Неважно...

Плохо, когда ругаются родители. Это, пожалуй, единственный плюс в отсутствии папы. Я совсем не помню, как они с мамой выясняли отношения. Можно сказать, вырос в бесконфликтной среде.

— Но ты же классный, — тут же подмазывается ко мне Таня, — ты же выручишь, да? Плииииииииз. А я тоже тебя потом как-нибудь... Или хочешь, билет на футбик...

На футбик? Не очень хочу. А вслух произношу:

— Ну ты вообще...

Таня, как только возможно, максимально мило улыбается. Еще немного — и у нее лопнут щеки от натуги. Явно перестаралась.

— Ладно, ща найду распечатку.

Подхожу к подоконнику. М-да, не мешало бы прибраться. Книжки, учебники, распечатки, блокноты, линейки, наушники, шнурки, наколенники, зарядник — все смешано в кучу, попробуй разбери, где что. Доклад, разумеется, в самом низу. Нахожу, протягиваю Тане.

— Супер! Спасибо! Ты настоящий друг.

Ну все, уходи. Получила, что хотела. Нет же, стоит. Смотрит прямо на меня. Может, еще целоваться кинешься? Ну нет, конечно. Эх...

— Не, так классно у тебя. Я прям тащусь. Даже стол. О, а это что?

Блин! Роман. Не убрал, не спрятал, вот идиот. Хотя зачем мне было прятать? Я же не ждал никого, не думал, что вот так случится. И что делать?

— Ты рисуешь, да?

И наглейшим образом берет в руки. А разрешение спросить?

— Не трогай. Дай сюда. Ничего это, ясно? — отнимаю, убираю в ящик стола, но поздно уже, конечно. Почти бессмысленно.

— Ясно, ясно, — отвечает Таня. — По ушам только не бей, мне еще рожать.

— Чего? При чем тут уши?

— Да не знаю... Я иногда, бывает, как ляпну... Сама не знаю, что несу. Я что, ушами рожать буду?

Вот-вот.

Я вдруг представляю беременную Таню. Пузатую такую, с тяжелой одышкой и почему-то с веснушками. Она громко пыхтит, готовясь явить нового человека Вселенной, становится багровой от натуги, как жерло проснувшегося вулкана, и тут ее уши начинают расти с невероятной скоростью. Растут и растут, растут и растут, уже догоняют по размеру слоновьи...

Что за бред-то вообщее?

Не могу удержаться и начинаю хохотать, словно смотрю лучший в мире стендап.

Глядя на меня, Таня тоже заливается смехом.

Так и хохочем. Переглядываемся и только сильнее подстегиваем друг друга. Проходит минуты три, если не больше. Кое-как успокаиваемся.

— А чего ты так напрягся? — говорит Таня, продолжая держаться за живот. — Ну, рисуешь. Че такого? Или у тебя там Галинфа во всех подробностях?

У меня чуть глаза на лоб не вылезают.

— Чего?

— А кто? — не унимается Таня.

Тоже мне следователь Белова.

— Я заметила, там тетка какая-то или девчонка. С длинной косой. А может, это я? Еще чего? Хотя идея неплохая. И чего только раньше не догадался?

— Не ты. Это не про тебя. Вообще.

— А про кого? — продолжается допрос.

— Про... — из меня чуть не вырывается правда, но все же сдерживаюсь, — не скажу....

— Значит, точно про меня, — делает вывод «следователь».

— Нет. Не про тебя, — пытаюсь убедить я.

— А про кого?

— Не про тебя!

На меня вдруг накатывает злость. Что за бестактность? Понятно же, что не хотят рассказывать. Нафига давить на больное? Про чувство такта не слышала, дорогая Таня? Или опять про уши что-нибудь ляпнешь?

— А про кого? А про кого? Показывай, или сама посмотри!
Совсем не про уши. И с таким напором. Тяжело, если честно, спорить с женщинами. Сдаюсь, чего уж там.

— Не про тебя, это про папу. Понятно?

— Нет. Папа с косой, что ли? Че про папу-то скрывать?

Действительно, чего? Но вы уже в курсе.

— Ничего. Это секрет.

— Или у тебя папа в платье ходит?

— В каком платье? Таня, ты ку-ку?

Сама себя в бесючести переплюнула.

— Сам ты ку-ку, — обижается она.

— Там про космос. Про миссию.

Ну все, в шпионы меня не возьмут. Моя «миссия» провалена. А Таня продолжает допрос:

— Какую?

Ей бы еще яркую лампу в руки, а кругом чтоб темно-темно.

— Такую. Поисковую. Он в космосе пропал.

— Это как?

— Вот так. Как в космосе можно пропасть? Во время полета. Он космонавт. Только без подробностей. Государственная тайна. Поэтому никому не рассказывай, хорошо?

А сам еле сдерживаюсь. Трудно остановить поток, когда плотину прорывает.

— А-а. Хорошая сказка, — покачивает головой Таня, — лучше ничего не придумал?

— Сама ты сказка!

Странно, конечно, что очень часто люди именно так реагируют на правду. Я возмущен, я негодую! Так Ба в шутку часто говорит, когда смотрит по телевизору выступление очередного политика. Нашла сказочника. Реально бесит. Открываешься против воли человеку, а в ответ такая реакция.

Подбегаю к серванту. Там тоже хранятся фотки. Вытаскиваю.

— Вот он в комбинезоне космонавта, а вот в летном училище и вот!

Что, съела? Смотрит во все глаза. Конечно, наверняка ни одного космонавта живьем не видела. Тут, правда, тоже не совсем живьем, но фотки-то реальные. Папа же реальный. Не фотошоп.

— У нас и фоток таких нет. Фоторамка в цифре.

— Не помни.

— Извини, — отдает обратно и добавляет: — Ладно-ладно, верю. Только не нервничай, а то расплачешься сейчас.

«Да иди ты!» — проносится в голове.

— Да иди ты! — повторяю вслух.

— Да, я че-то и правда, наверное, пойду, — поспешно хватается рюкзак, отводит взгляд. — Мне же в басик еще.

Таня доходит до двери, но вдруг останавливается.

— А ты, это, не раскисай. Понятно, что тяжело. Папа когда в Болгарии играл, тоже сначала один уехал. А мы только через три месяца к нему приехали. Я помню, как фигово было и не хватало его.

И мне становится жалко ее. Очень грустно она про папу рассказывала. Понятно, что он есть и они каждый день видятся, но чувствуется, что ей не хватает отца прямо сейчас, в эту самую секунду. Я вздыхаю и делюсь с ней новой информацией.

— Сегодня ровно шесть лет, как его ракета взлетела.

— Ого, фигово, — поддерживает меня Таня.

Я киваю. Так и есть. Мне чуточку становится легче. Самую-самую чуточку. Тяжело хранить тайны. А такую и подавно.

— И ты поэтому прогуливаешь? — доходит вдруг до Тани. — Типа болеешь, грустишь и все такое.

Снова киваю.

— Ясно-ясно. Ну... Чего? Соболезную, то есть сочувствую. Может, еще найдется... Найдется! Должен.

Таня умолкает. Вижу некоторую растерянность в ее глазах. Явно на такой финал встречи она не рассчитывала. Даже голос изменился. Стал тише, не такой уверенный. И мне кажется, что между нами образовалась какая-то связь. А как еще? Абы с кем не станешь делиться самым сокровенным. Наверняка она тоже никому не рассказывала про бесконечные ссоры дома. Да по ней и не скажешь, что может быть что-то не так. Всегда шумная, веселая, активная.

Интересно, теперь я могу рассчитывать хотя бы на дружбу? Только бы не френд-зона, конечно. Нам уже есть что обсудить кроме школы, докладов и рефератов. Мозг тут же начинает фантазировать. Я думаю о том, что, может быть, вскоре решусь пригласить ее на свидание... Она согласится, мы пойдем в киношку, пока не знаю на что, но обязательно про космос, будем держаться за руки и все такое. Она будет в красивом платье или в каком-нибудь из своих кугуруми — тоже неплохо, в зале темно и немногочленно, в страшный момент (а он обязательно должен быть, желательно не один) она возьмет меня за руку, у нее такая маленькая ладонь... Не успеваю перейти к самой приятной части с поцелуем. Таня перетаптывается на месте.

— Я в басик. Спасибо за доклад.

— Да ладно... А тебе за поддержку.

— Угу, не кисни. Бай.

И убегает.

— Пока, — отвечаю я, но Таня, конечно, уже не слышит.

Теперь вдвойне грустно. Ощущение, будто я лечу в ракете, в неизвестной галактике, совершенно один, и никакой связи с человечеством. Абсолютно. Всё и все остались очень далеко, и не факт, что нам удастся снова встретиться.

Смотрю на фотографию. Папа улыбается. Думаю, она тоже бы тебе понравилась. Хоть и манипуляторша.

— Не поняла, а что, гостя уже ушла? — доносится голос Ба.

— Да. Ей в басик надо.

— Куда?

— В бассейн. И в магазин.

— Ох, надо было с собой хотя бы наложить. Ватрушки в этот раз вкуснющие получились.

— Они всегда у тебя вкуснющие.

— Сегодня особенно.

— Каеф.

— Что?

Перекрикиваемся с ней, словно в лесу.

— Чудесно, превосходно, замечательно!

— А ты чего разорался? Выздоровел, что ли?

— Нет. Но мне, кажется, и правда чуть лучше стало.

— Лучше? — хитро переспрашивает Ба. — Что она, укол тебе волшебный сделала?

— Кто?

— Девчушка твоя.

— Ба. С чего она моя? Как скажешь вообще...

— Как не твоя? Расцвел вон весь, как кактус, не успела в комнату зайти. Я сразу смекнула, что к чему.

Ну все, как привяжется теперь. Мисс Марпл...

— Ничего я не...

— А что ты даже не рассказывал про нее.

— Что рассказывать? Это Таня, новенькая наша. Она за докладом приходила.

Понятно? У нас доклад по истории скоро. Так что ничего ты не смекнула.

— Ах, доклад?

— Да, и ничего я не расцвел, понятно?

— Понятно, понятно. Доклад так доклад. Как скажешь, Лешик...

— Да.

Вроде успокоилась. Но тишина длится секунд десять.

— А чего ж ты? Хорошая вроде девчушка. Позови на свидание. В парк сходите или в филармонию...

— Ба, давай мы сами разберемся.

Может, когда-нибудь и позову. Но уж точно не в филармонию. Кринжатина.

— Да я чего? Пошутила. Ты учишь, главное, успеешь еще по свиданиям набегаться.

Набегаться... Точно! Мне же бегать еще сегодня. Каждый раз это целая пытка. Под конец устаю так, что кажется, будто вот-вот умру. Выплюну легкие, ноги сами отвалятся, голова взорвется от давления, колени сотрутся в труху, и вообще весь скелет развалится по косточкам. Каждый раз хочется бросить нафиг, запрыгнуть на самик и всю оставшуюся жизнь передвигаться только на нем. Даже по квартире. Я давно бы сдался, если бы на другой чаше весов не маячила возможность отправиться на Марс. Мотивация — великое дело.

— Ну что, мой руки, тогда будем есть ватрушки вдвоем.

— Ба, давай позже.

Ватрушки эти. Да я бы целое ведро за раз стрескал. Но я ж потом и сто метров не пробегу. Только тупицы выходят на беговую дорожку с полным желудком. Терпеть не могу четные дни. Нечетные как праздники, четные — хоть с постели не вставай, первая мысль: «Сегодня же бегать. Нееееет, пожалуйста, только не это! Почему? За что?» И это я еще не спортсмен.

— Ну, позже так позже, — говорит Ба и включает телевизор. Как всегда, чуть ли на полную громкость. «Уральские пельмени». Наизусть уже все номера знает и все равно смотрит и хрюкает от смеха. Пробовал ее с ютубом познакомить, в телефон хоть наушники можно вставить, но нет, не наш формат. «Экранчик маленький, и держать все время надо, а так включила и вяжи себе на здоровье, руки свободные». Но сейчас даже к лучшему. Соседи не очень довольны, а мне самое то. Можно спокойно потренироваться.

5

Основные требования к космонавтам:

Знать иностранные языки.

Не иметь иностранного гражданства.

Быть младше 35 лет.

Иметь образование по инженерным или летным специальностям.

дец? Я молодец. Кто молодец? Алексей Климов. Немного пафоса, но я заслужил. Выдыхаю. Отдыхаю. Сначала на полу, потом перебираюсь на кровать.

Заходит Ба.

— Мама звонила.

— Я слышал.

— Рассказала ей про невесту.

— Ба, она новенькая.

— Новенькие невестами не бывают, что ли?

Снова здорова.

— Обсудили уже. Просто с домашками ей помогаю. Она почти по всем предметам ни бум-бум.

— Или делает вид, чтобы ты уделял ей больше времени и внимания.

— Да ну, конечно... Ба, хватит.

— Ну хватит так хватит. Есть будем?

— Не сейчас.

— Опять не сейчас?

— Опять.

— У меня все готово. Отца хоть помянем.

— Помянем? Ты чего? Скажи еще, что я сирота.

— А как? Не так, что ли?

Искренне удивлена. А меня, если честно, бомбит от таких фраз.

— Не так. Он вернется. Должен вернуться. Мы же ждем, и вернется.

— Конечно, конечно, сынок, — виновато кудахчет она. — Ты прав. Чего это я? Какие поминки? Наоборот, будем есть, чайку попьем за его здоровье! Чтобы жив был, здоров, чтобы нашелся.

Конечно. Пусть так и будет. Но лучше сменить тему.

— Что мама рассказывала?

— Привет передавала.

— И все?

— Завтра выступают.

— Молодцы.

Бабушка вздыхает. Вижу по движениям рук, что ей неловко. Вид такой, словно она сломала мой планшет и не знает, как признаться. Ладно, подождем, куда не денется, признается, что не так. Ба не торопится, пауза затягивается. Я тоже молчу. Хотя ситуация уже напряжная. Наконец Ба снова вздыхает, садится на стул (креслом она принципиально не пользуется, говорит, что голова кружится) и, немного покряхтев, начинает:

— Я тогда еще молодая была.

Это когда было? Хочется мне пошутить, но сдерживаюсь.

— Лет сорок и то даже не было. И года три уже как овдовела, — продолжает Ба. — С мамой твоей осталась. Маруся кроха совсем была. Щечки пухленькие, румяненькие. Ватрушечка такая.

Опять ватрушки? Специально, что ли, дразнит? Пока не похоже на признание с повинной. Но молчу, не перебиваю. А у Ба даже глаза загораются. Видно, вспомнила, как и вправду была молодая, без морщин. Любимое занятие пожилых людей — рыться в памяти и рассказывать о молодости. Ну, слушаем, чего уж.

— А уже тогда ножки тянула, по телевизору видела, как балерины занимаются, движения разные делают, плие, батманы, позиции всякие, и за ними все повторяла. Как сядет, как подпрыгнет. Тоже балериной хотела стать.

Почти и стала. Я представляю маму маленькой, с косичками, с веснушками, колени зеленкой измазана и как она старательно делает упражнения. Не планка, но тоже не особо приятно.

— Господи, тогда все дети мечтали стать балеринами да космонавтами, тогда еще и профессий-то таких не было: блогер, дизайнер, интернетчик.

Вот Ба. Откуда она только словечки такие берет? Что за интернетчик такой?

— Кто? — спрашиваю.

— Интернетчик. Ну, кто в интернете этом сидит. Ой, да тогда никто вообще не знал, что это за зверь, интернет ваш...

— Ты и сейчас не особо знаешь.

Не реагирует.

— И вот она скачет, а мне так жалко, так жалко ее, сиротинку. Ладно я, думаю, я хоть пожила немного, жизнь хоть повидала, а ей-то за что все это?

Действительно, за что?

— Самое только бы радоваться, да куда там? И гляну на нее, аж ком в горле... И что делать — не знаю.

Что за драматизм? Даже голос по-настоящему задрожал. Александру Петрову, как говорится, и не снилось. Не знал, что Ба так умеет. Хоть в сериале снимай. Я сейчас в собственных слезах утону. Муму и то не так жалко было.

— А времена тяжелые были, хотя когда они легкими-то бывают? Уж точно не у нас. На двух работах работала, в столовке заводской поварихой да полотеркой в магазине. С дитенком время почти не проводила. Да какой там? Со столовки бежала в универмаг.

— В магаз? — спрашиваю.

— Ну да, — кивает, — супермаркетов этих ваших не было еще с акциями их. Только универсамы да универмаги. И там полы намываю. С ног валюсь, тряпку выжать уже не могу, так понажимаю и ладно, и по полу вожу, вожу, грязь эту размешиваю, а самой тошно, и сил нет, и спать хочется, и к дочке хочется, и тепла хочется... а куда деваться? Надо мыть. Хоть какие-то деньги.

Не знал, что Ба уборщицей работала. Не понимаю только, почему она сейчас решила со мной поделиться. Я, главное, сколько раз ее просил, чтобы про себя побольше рассказала. «Да что рассказывать? Тебе неинтересно будет» — вот и весь ответ, а тут... И не остановить ее.

— Зарплату-то с грехом пополам давали, а про пенсию по потере кормильца я и вовсе молчу. Все ради нее же, ватрушечки моей. А пока я со шваброй там корячилась, с ней то Любка, сестра моя покойная, то Катерина Иванна, прабабушка твоя, царствие небесное, и сидели. Одна, слава богу, не оставалась.

Ба умолкает на мгновение. Снова горько вздыхает, с жалостью смотрит на меня. Мне не нравится этот взгляд.

— Все? — спрашиваю я.

Покачивает головой в ответ.

— И вот повадился к нам в столовку мужчина один. С Урала приехал. Разведенный. Видный такой, высокий, добродушный, с усами. Ничего плохого не скажу. Шофером на завод к нам устроился. Гриша Тимченко. И чем-то я ему приглянулась. Так-то я хорошенькая была, тогда-то уж тем более, чернобровая и волосы густые, не как сейчас.

И что она опять к Тане сведет? Надеюсь, это не рассказ про пестик и тычинку. Иначе я такой кринж не выдержу.

— Я помню, я же фотки видел. Ну, ты и сейчас красивая.

— Спасибо, родной, — улыбнулась, поправила волосы. — И вот он мне глазки начал строить. То ромашки принесет, в поле ехал и нарвал, то конфет килограмм целый, леденцов «Дюшес», то просто плитку шоколадную. Я сначала старалась пресечь. Внимания не обращала, подарки не брала, не отвечала ему, только здравствуйте-до свидания-приятного аппетита. Да и когда было шуры-муры эти крутить? Выспаться нормально не могла, не то что на свиданки бегать. А он, знаешь, не унимался.

Ну, сейчас точно про пестик и тычинку вставит. Ба, не надо!

— Все ходил и ходил. И смотрел на меня так... Даже не знаю, как сказать. Никто так не смотрел. Видно было, что мужик хороший и что намерения у него серьезные... Не устояла я. Все ж нелегко одной. Всем тепла хочется.

— Ба, ты точно мне это должна рассказывать?

— Не нравится?

— Да нет, просто...

— Вот просто и слушай, недолго уж осталось.

— Окэ.

— И вот, значит, что-то у нас завертелось. И пригласила я его домой, с Маруськой, ватрушечкой, познакомить. А она что-то закапризничала, расплакалась, забоялась, может. Или по отцу так сильно тосковала, заревновала. Щас-то уже и не помнит. А тогда как заревет — на улице слышно было. Невзлюбила она Гришу, в общем, не приняла.

— Усы напугали?

— Не знаю, может, и усы. Ну а я что, враг своему дитенку, что ли? Насиловать буду? Нет так нет. Извини, Григорий, и прощай. Не судьба нам, значит. Ох, и переживал он, ох и убивался... А потом на Тоньке Курнышевой женился. Она и помоложе была, и одна. Родила ему двух деток. Чин по чину... До сих пор вместе.

Не так и сильно, получается, переживал. Надеюсь, хоть не на следующий день женился?

— А я... А я вот больше и не решилась. Даже пробовать не стала. Зачем дитенка травмировать? Я-то ничего, я пожила. Хотя сейчас иногда думаю, может, оно и ничего было бы? Ну, не понравился сразу Гриша, можно ж было подождать, пообвыклись бы, притесались, узнали друг друга, сроднились. Человек же он как орех, в рот сразу сувать бесполезно, сперва раскусить нужно... Ты как считаешь?

Минутка психотерапии?

— Ба, я не знаю. У меня такого не было. Да и сейчас-то чего вспоминать? Сама же говоришь. Давно это было.

— Ну да, ты прав, прав, внучек...

Вздыхаем, молчим. Я пытаюсь переварить услышанную историю. Ба, конечно, жалко. Всем любви хочется, тут не поспоришь, но по-прежнему не понимаю, почему она именно сейчас это вспомнила? Может, Гришу этого в «Уральских пельменях» только что показали?

— И что, ты больше никогда не видела его?

— Кого?

— Гришу Тимченко.

— Видела. Года два назад или чуть позже. Ничего такой, бодрый еще, седой, правда, весь и с палочкой.

Представляю свидание Ба с седым Гришей, как они идут по парку, о чем-то разговаривают, обсуждают «Поле чудес», размер пенсии и кто какие таблетки пьет и сколько. Ветер лохматит его седые волосы, Ба в своем берете, старается не семечить, как привыкла, а то Гриша за ней не угонится. Он предлагает купить мороже-

ное, Ба вежливо соглашается. И вот они оба едят пломбир, похрустывая вставными челюстями. Миленько и кринжовенько одновременно. Не могу сдержать улыбку. Ромео и Джульетта, шестьдесят плюс.

— Но Маруся тогда маленькая совсем была. Чего она понимала, да? — грустно произносит Ба.

— Наверное.

— Ладно, есть-то будем? — встает она со стула и потирает руки, как будто приятнее ничего в жизни нет.

— Ты иди, а я...

И я вдруг понимаю, что пропущу сегодня забег. Конечно, нельзя себе делать поблажек, но если уж я прогуливаю школу в первый раз в жизни, то пропустить бег не кажется страшным преступлением. Тем более отработаю. Буду теперь на пятьсот метров больше бегать, пока не наберется четыре километра.

— А я тоже пойду, — добавляю я, и мы оба смеемся.

6

День проходит весьма неплохо. Ватрушки у Ба реально получились вкуснее обычного. Просто бомбические. Если бы не космос, я, может, даже пошел в кулинары или хотя бы во флудблогеры, открыл бы свою пекарню, посадил бы за столик манекен космонавта. Фишка была бы такая. Типа космически вкусно. И сделать десерт в тюбиках, помимо плюшек и булочек, разумеется. Кажется, про завтракающего космонавта я видел в каком-то фильме, ну и что? Фишка-то хорошая.

Съедаю пять штук, и каждая вкуснее предыдущей. Определенно, у меня лучшая Ба на свете. Не только из-за ватрушек, конечно. Подхожу к ней и обнимаю. Стоим так целую минуту и молчим. Зачем что-то говорить, когда и так все понятно?

Потом мы вместе слушаем «Песняров» и Юрия Антонова.

«Море, море — мир бездонный».

«Мечта сбывается».

«В Вологде где-где-где-где-где-где-где».

И все такое.

Ваня Дмитриенко наверняка сделал бы крутые каверы, но так тоже пойдет. Душевненько.

Потом включаю «Иронию судьбы». Не новый год, но Ба заказывает именно эту киноху. Ок. Как только не надоест, конечно? Меня и то подташнивает, а уж она раз пятьсот его видела, если не больше. Но хочет — пожалуйста, мне не трудно. Пусть смотрит. Сам вспоминаю про Таню. Всего час назад она стояла тут напротив меня, трогала все, морщила переносицу. И улыбалась. У нее красивая улыбка. Хотя нет людей, которым не шла бы улыбка. Разве что клоун из «Оно», но он и не совсем человек. Может, зря я ей рассказал про папу? Надеюсь, она сохранит тайну. Надо и правда бы собраться и пригласить погулять.

Можно не в киношку. Можно в заброшку. У нас на Советской прикольная заброшка. Там раньше училище какое-то было, а до этого конюшня, а до конюшни чуть ли не бани. А вообще, здание историческое, но, как обычно, никому не нужным оказалось. Стоит потихоньку, разрушается. Одно время там квесты хотели проводить и всякие концерты. Но разрешение не дали. Сказали, опасно. Так-то, конечно, без ремонта там делать нечего. Представляю, идет концерт какой-нибудь, народ колбасится, барабанщик от души отрывается, гитары с примочками ревут. И тут раз — кирпич сверху летит прямо на голову кому-нибудь. Веселуха...

А так все ходят, фоткаются, просто висают, видосики снимают.

Наверняка Таня там не была и тоже захочет прикольную фоточку.

Замечаю, что Ба спит. Ну как замечаю? Всхрапнула она. Храпит она, конечно, не слабо. Хоть на чемпионат мира по храпу отправляй.

А потом уже и сажусь работать. И так целый день почти профилонил. Залезаю на сайт. Есть новые задания. Один срочный заказ — расшифровать интервью с шепелявым диетологом, то есть написано с дефектами речи, но у меня уже было такое. Не обратил внимания на это «с дефектами речи», думал, ничего сложного, главное, что платят норм. А там женщина так шепелявила, что проще речь младенцев разобрать, ну, не младенцев, а двухлеток, которые все слова коверкают. Заказ тоже срочный был, пришлось чуть ли не до часу ночи с ним мучиться. Я тогда чуть на мат не сорвался. Так эта тетка взбесила. Мог бы новый хит для группы «Ленинград» получить. При том, что рассказывала интересные вещи — про роботов и искусственный интеллект. Я потом перечитал, реально много нового узнал, но нельзя, что ли, было сразу в переписке с ней общаться? Там в самом интервью ее собеседник постоянно переспрашивал: «Что-что, простите?» Еще злее меня был. На самом деле это был подкаст и единственный случай в его истории, когда выпуск вышел не в аудио, а в письменном виде.

Так вот теперь я знаю, что значит «с дефектами речи», и больше не подпишусь на подобные задания, разве что только за миллион или чуть поменьше. Выбираю комментарии на сайте о кино. Я уже, наверное, фильмов про сто так написал, хотя ни один из них не видел. «Ржака, смеялись всем залом. Классная комедия, на уровне комедий Гайдая и Рязанова. Отличная актерская игра, интересный сюжет, крутая операторская работа» и все такое. Буэ... Главное — не забыть десятку или хотя бы девятку поставить, а то не заплатят. Сегодня пишу про очередной русский «шедевр» «Беспечный енот». Какая-то криминальная комедия неизвестного режиссера Василия Быстрова. Даже по трейлеру понятно, что это просто дичь, редкостное г, кринж и просто стыд, но мне нужны деньги, поэтому пишу: «Ярко, динамично, интересно, буду ждать новых творений молодого перспективного режиссера». Надеюсь, что такое вранье не отразится на карме, что новых «творений» у него на самом деле не будет.

Потом оставляю отзыв про очередной банк, голосую за юную Василису в образе лисички, тут же голосую за юную Инессу в образе феи и за юную Тамару в образе Чебурашки. Все трое заметно оторвались от остальных участниц. Удивительно, правда? Наконец, сижу десять минут на каком-то сайте для инвесторов, накручивая количество просмотров и посетителей.

Триста рублей заработано. Не так много, но тоже деньги. Всего сто восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре. Осталось... до фига еще, в общем.

Перед сном думаю только об одном: «Как же тебя не хватает, как же хочется тебя обнять и рассказать все это...»

7

На следующий день встаю, как положено, бегом в душ, включаю холодную воду. Б-рр. Почти ледяная. Аааааа! Никак не привыкну к долбаным обливаниям. Спасает то, что мозг не совсем проснулся и не очень соображает, что его ждет. Вода обжигает и бодрит. Но больше обжигает. Главное — потом хорошенько растереть себя полотенцем. Тру с усилием. Кожа становится красной, почти как полотенце. В здоровом теле — здоровый дух! И где он? Вот простыть — пожалуйста. Хоть завтра.

Поспешно завтракаю. Залипаю в телефоне. Смотрю на ютубе очередное видео с записью марсохода. Так-то, конечно, пустыня и пустыня, без скафандра только не погуляешь, но это пока... Марсиан нет, папы тоже. Но если полечу, надо понимать, к чему готовиться. Ну, и видео — это одно. Вживую — другое. Постоянные бури, например, на экране не так страшно смотрятся. Чай остывает. Ба ворчит.

— Можно хоть минуту без своего телефона прожить?

Можно, но зачем? На уроках же так не посмотришь. Пять минут спорим из-за телефона. В который раз? И явно не в последний.

— Чем это от твоего телевизора отличается?

— Я включила и своими делами занимаюсь, а ты весь в нем. Весь. Не видишь ничего, не слышишь. Завтрак стынет, а ты в экран уставился, того и гляди, с головой в него влезешь.

— Как же я тогда тебе отвечаю, если не слышу?

Подловил. Корчит злобные рожи. Не знает, что ответить.

— Не дело это. Сгорбился, глаза портишь. Хочешь в двадцать лет, как дед согнутый, выглядеть?

— Не хочу.

Правда неприкольно. Тут согласен. Откладываю телефон, пью холодный чай.

— Ватрушек с собой возьмешь?

— Ба, ты мне еще борща предложи.

— Налить? — суетливо вскакивает со стула она.

— Это был сарказм. Шучу я.

Насупилась, молчит. Можно даже сказать, наборщицалась.

— Ладно, одну ватрушку возьму.

— Другое дело, — тут же улыбается Ба и кладет в пластиковую емкость три ватрушки.

Беру и незаметно выкладываю две. Совсем отказаться сложно.

— Остановку не пропусти, а то опять в телефон уткне....

Не дослушав наставление, захлопываю дверь. Бегу по лестнице. Лифт долго ждать. И в нем воняет, как будто внутри поселился невидимый бомж. Откуда взялся этот вонизм — никто не знает, однажды, как всегда, с кряхтением открылись дверцы, а там «сюрприз». С тех пор чем только не пытались его вывести: и освежителями воздуха пшикали, и духами, и благовония поджигали, и хлоркой мыли — без толку. Ненадолго запах ослабеваает, а потом по новой. Но мне норм. Я все равно хожу пешком. Но мы, правда, и не на двадцатом этаже живем. На седьмом.

В школе ровным счетом ничего не поменялось. Хотя что может поменяться за сутки? Просто я ожидал косых и осуждающих взглядов, что Антон Игоревич выскочит мне навстречу, начнет выговаривать, мол, я все знаю, Климов. Это тебе с рук не сойдет! Решили тебя отчислить и все такое. «Бегом ко мне в кабинет!» Ничего такого. Даже обидно немного, как будто никому нет дела до меня. А если я вот так неделю пропущу?

Макс Крухмалев с Лехой Картавцевым разыгрывают очередную партию, девчонки разучивают танец из тик-тока, охранник дядя Толя пытается установить новый рекорд в «змейке» на своем телефоне. Ищу глазами Таню, но она в очередной раз опаздывает.

— Климов, хай! — кивает мне Леха.

Макс не реагирует. Сосредоточен. Сегодня намерен победить. Но даже я по расстановке фигур понимаю, что шансы у него — ноль целых, ноль десятых процента. Он ходит ладьей, задумчиво чешет ухо.

— Мат в три хода, — улыбается Леха.

— Да ну нет. Да как? — негодует Макс.

Леха разводит руками.

— Вот так. Слон СЗ — F6. Шах.

— Да, вижу, — соглашается Макс. — Поздравляю че.

Он грустно вздыхает, хотя мог бы уже привыкнуть, и собирает фигуры в доску.

Первой у нас биология. Не самый любимый предмет, но в целом не сложный. И учительница хорошая. Ангелина Васильевна — «Геля». У нее даже никнейм такой в вкашечке. Смеется без конца, хотя шутит так себе. Но мы ж не на стендапе, поэтому подыгрываем и смеемся вместе с ней. А еще у нее татушка на руке. Лес и птицы над деревьями. Красивая.

Захожу в кабинет. Здравуюсь с остальными. Класс у нас не очень большой, всего двадцать три человека. Киваю Кате Лезовой. Она что-то увлеченно печатает в телефоне. Ей явно не до меня. С каким-нибудь олимпиадником переписывается. Серега Бунзя залез на подоконник со своим свитчем, чтобы не мешали, запрятался под шторой, одни ноги торчат, и рубится в фортик. Как только начинает дрыгать ногой, значит, началась перестрелка. Сейчас тоже дрыгает. Он у нас крутой. По тридцать фрагов за одну катку выносит. С первого дня, как вышел фортнайт, играет. Я тоже пробовал, но мне не очень зашло. Во-первых, я не особо шутеры люблю, во-вторых, там еще строиться нужно, а быстро у меня не получается, а в-третьих, это сколько времени отнимает, так что я не гамаюсь, хотя иногда тоже хочется. Но мне надо работать. Иначе на Марс кто-то другой полетит.

Кстати, о Марсе. Вынимаю телефон, надо же досмотреть видос с марсохода. Как раз пять минут есть до урока. Марсоход неспешно едет по песку. Пейзажи там, конечно, не сильно разнообразные. Одиноко ему там, наверное. Ну, то есть понятно, что это просто машина и о чувствах глупо говорить, но я в целом имею в виду. Это же жесть. Вот так, в одиночестве, на другой планете. Едешь себе и едешь. И все. Никакого общения, ни в тцшку зайти, ни в кино, ни поиграть во что-нибудь. Еще думаю о том, насколько большая Вселенная. Огромная, безграничная. Сколько жизней нужно, чтобы ее всю облететь? Сколько времени нужно, чтобы ее изучить? Это вообще нереально. И как-то удивительно: смотришь на звезды, они кажутся точками, а эти точки могут быть в несколько раз больше нашей Земли. Солнце же тоже звезда. И это все удивительно. Если бы космоса не существовало, его обязательно надо было бы выдумать. Это же какое-то чудо, магия, фантастика. Даже не верится, что от взрыва могло появиться столько всего. Миллиарды галактик. И все разные. Все. Хотя вроде, наоборот, взрыв разрушать должен, а не создавать. Вот так смотришь на небо и понимаешь, что ни фига не понимаешь. То есть если с Землей и людьми более или менее ясно, что к чему, то там вообще ничего не ясно. Вообще ничего. А еще удивительно, как можно воевать буквально из-за клочка земли, когда вокруг тебя безграничное пространство. И для Вселенной наша планета не то что одна миллионная или миллиардная, одна секстиллионно-триллионная частица. А мы так и вовсе. Но пока эти пространства далеки и недосягаемы, так и будет продолжаться. Печально.

Если ты вернешься... Когда ты вернешься, ты все-все-все мне расскажешь про космос. Мне кажется, космонавты умнее тибетских монахов.

Входит Ангелина Васильевна. Улыбается, хотя сама в строгом костюме. Волосы собраны в пучок. Татушку под рукавами не видно. Бодро идет к столу, но замечает ноги Сереги и останавливается.

— Это кто у нас пугливый?

Серега молчит. Он в наушниках же играет.

— Бунзя, — отвечает за него Лезова.

А Серега дрыгает ногой.

— Бунзя, вылезай, мы тебя нашли! — шутит Ангелина Васильевна.

Серега не реагирует.

Тогда она подходит к подоконнику и хватается за ступню.

— Бунзя, ты проиграл!

— Где проиграл? Три подряд катки выиграл, — не сразу отвечает Серега.

— Какие катки? Плохо спрятался, тебя видно.

— Ой, — штора отдергивается, и Серега удивленно смотрит на биологичку. —

Здрасьте, Ангелина Васильевна.

— Здравствуй, Сережа, — улыбается она, — готов отвечать?

— А че сразу? — негодует Серега.

— Почему сразу? Могу и вторым тебя вызвать, — снова шутит «Геля». На этот раз действительно смешно.

Громче всех смеется Макс. Он даже хрюкает от смеха и пугливо прикрывает рот, но все уже заметили и хихикают над ним. В который раз подтвердил прозвище «Хрюк-малев». Лезова хихикает со всеми, но как-то по-особенному. Негромко, прерывисто, по-собачьи. Серега спрыгивает с подоконника и с грустным видом усаживается за соседнюю парту, открывает учебник, нервно перечитывает параграф. Мыслями он еще в фортнайте. «Геля» возвращается к столу, оглядывает всех.

Тут в класс врывается Таня. И через секунду начинает орать наш отвратительно громкий и мерзкий звонок. Таня... Внутри становится тепло и приятно, как будто только что выпил чаю. Я приветливо киваю ей, но она пронесется мимо и даже не смотрит в мою сторону. Кажется, не в духе. Машу ей рукой — ноль реакции. Ну, ок. Хотя как-то грустно. Сегодня я по-настоящему рад ее видеть, а она, похоже, нет. Обиделась, что ли? Но на что? Я ей, вообще-то, самую главную тайну рассказал, не говоря уже о докладе. Как и Серега, утыкается в учебник и даже уши заткнула, чтобы не мешали.

Весь день она в открытую игнорит меня. В чат класса не заходит, в вк тоже. Пишу ей по старинке записку — не читает. На перемене первой вылетает из кабинета, несется к туалету. Сидит там до следующего урока. Прогуливаюсь в районе туалетов. Вдруг удар по плечу сзади. Оборачиваюсь. Макс.

— Что, Климов, доклад подготовил?

И этот, что ли, будет просить поменяться?

— Молодчик. Может, партийку?

— А Леа чего?

— Да ну его, задолбал. Неинтересно уже.

Ну, вот и случилось. А я думал, Макс будет всегда стойко принимать поражения.

— Не. Я не очень по шахматам. Не моя тема.

— Ну да, ну да, шахматы для умных, — гогочет Макс и снова хрюкает.

И это меня спасает. Он поспешно отходит, а я караулю Таню. Не выходит. Хочется заглянуть внутрь. В принципе, интересно, как девчачий туалет выглядит, но я же не крейзи, конечно, не буду этого делать. Да и думаю, он не сильно отличается. Просто без писсуаров. Мне бы с Таней поговорить, узнать, что случилось. А то очень странно все это. Может, у нее с животом что-то? Или эти дни начались? Но даже со звонком она не появляется в коридоре.

Опаздывает на урок минут на пять. Теперь у нас геометрия. Татьяна Геннадьевна, маленькая такая, словно сама учится в классе в пятом. А ей уже за сорок. И голос

такой громкий. Волосы короткие, черты лица резкие. Нос острый. Она совсем не шутит. И очень строгая. Мы зовем ее «Тангенс».

— Белова! Опять? — сердито трясет она пальцем в сторону Тани.

— Простите, — еле слышно отвечает Таня и почему-то садится за последнюю парту. И снова, как на прошлом уроке, полный игнор.

— Таня! — говорю громко, решительно. Сразу, как умолкает звонок.

Нет ответа. Молча проходит мимо, но на этот раз идет напрямик к медпункту. Значит, точно неважно себя чувствует.

И правда, почти сразу за Таней приезжает мама. Высокая такая, стройная, с огромной черной косой. В модном синем пальто, сапоги до самых колен. Ботфорты, или как они называются? Таня в своем худи и кедах странновато рядом с ней смотрится.

— Пока, — но и в этот раз она ничего не слышит.

А дальше все тянется медленно, тягуче, пластмассово. Физика, литература, русский, англиш. Я автоматически что-то записываю, отвечаю, ем макароны с котлетой, ватрушку, смотрю видосы про Илона Маска, снова что-то записываю.

Наконец возвращаюсь домой. Ба кудахчет: «Обедать». Ем. Вкусно, как всегда, только много, много... Быстро делаю домашку, снова пишу отзывы, комментарии под пластинку ВИА «Пламя».

Такого снегопада, такого снегопада
Давно не помнят здешние места...

Время, конечно, было другое, и песни мегаспокойные. Без битов, без рэпа. Но для работы норм, от мыслей не отвлекает. «Надежный банк с удобным приложением...»

Ба на полную включает телевизор. Самое время свалить.

Гуляю с Ричи и Чарли. Два маленьких таких живчика. Басенджи. Интересная порода. Красивые. Небольшие, милые, шерсть гладкая. А главная их особенность — они не умеют лаять. Даже не тявкают и почти не рычат. Тетя Катя из соседнего дома — их хозяйка. Работает врачом. Сутки через двое. Она одинокая. Вот я с ними и гуляю, кормлю и все такое. Шел как-то из школы, а она объявление на двери расклеивает, ну я сразу и предложил. Платит не очень много, но тоже деньги. А Ричи и Чарли, как дети, бегут без остановки, поводки мне запутывают, обнюхивают все, дерутся. Так-то они безобидные, но все равно с поводка не отпускаю. Однажды был случай. Не опасный, больше забавный, но тем не менее. Я наклонился, чтобы прибрать за ними. У нас в городе это редкость, и на меня как на инопланетянина обычно смотрят, когда в пакетик собираю. Им, видимо, приятно самим по какашкам потом ходить, особенно весной, когда сугробы таять начинают. И вот глаза поднимаю, а навстречу нам малыш какой-то выбегает. Увидел басенджей и как вкопанный остановился. Трясется весь от страха.

— Ты чего, — говорю, — боишься?

Он кивает.

— Слафно. Укусят.

— Не укусят. Они сами тебя боятся.

— Ну канефно.

— Конечно.

— Можешь порычать?

— Как это?

— Ну вот так: «rrrr».

— Зачем?

— Ну порычи, порычи.

Он негромко начинает рычать, а сам пятится. Я рычу с ним. Ричи и Чарли сели и смотрят на нас внимательно.

— Видишь, — говорю, — как ты напугал их, они даже голос потеряли.

— Плавда?

— А то. Молчат же. Даже тявкнуть боятся.

И вдруг он и правда осмелел и даже рычать громче начал. А собаки молчат, чего им еще делать? Ну и все, разулыбался сразу.

— А можно, — говорит, — их погладить?

— Можно.

— Фабачки.

И довольный-довольный. Как и Ричи с Чарли. Хвостиками своими закрученными виляют. Все трое — так и хочется добавить.

А тут и мама его подбежала, на руки схватила.

— Егорка, сыночек, целый?

— Конечно, целый, что с ним будет? — улыбнулся я.

— На две секундочки отвернулась. Подружка набрала, — стала она оправдываться, осматривая сына.

— Да, он у вас шустрый.

— Больше так не делай, понятно тебе? Нельзя убежать, — стала уже выговаривать Егорке встревоженная мама.

— Я поэтому их только на поводке вожу, — пошутил я и словил столько хейта во взгляде, что почувствовал себя самым худшим человеком во вселенной.

Женщина потащила сына поскорее от нас подальше.

— Пока, фабачки! — замахал на прощание Егорка. А они замахали в ответ хвостами-колечками.

В этот раз гуляем без происшествий. Только «фабачки» опять спутали поводки. Распутываю, рычу недовольно вместо Ричи и Чарли. Отвожу их домой, кормлю. По дороге продумываю новую главу романа, хотя чего там продумывать? Она рождается практически сразу:

8

Планета диких кактусов. Пустынная. Усыпана кактусами, чем же еще? С виду милые, зеленые такие. С колючками.

Появляется Люк в своем скафандре. Внутри него играет тихая лирическая мелодия. Медленно, космической походкой Люк продвигается вперед. Полный штиль. Люк осматривается. Достает диктофон, записывает.

«Люк к. Прибыл на планету кактусов. Обстановка спокойная. Красиво. Кактусы милые. Начинаю исследование и поиски».

Люк подходит к одному из кактусов, осторожно трогает. И вдруг музыка смолкает. Кактус «просыпается». Люк видит, что у кактуса есть глаза и пасть. Более того, он подпрыгивает и набрасывается на Люка. Завязывается борьба. Люку удается отшвырнуть кактус, но он падает на другие кактусы, те тоже просыпаются и уже толпой бросаются на Люка. Тот достает бластер и руками, и ногами, и бластером отбивается от кактусов, пятится в сторону корабля.

«Люк к. Меняю показания. Никакие они не милые. Они агрессивные».

Люк пятится, пятится. И вдруг на что-то или кого-то натывается. Он оборачивается и видит фигуру, облепленную кактусами. Люк расшвыривает кактусы и видит, что под ними было человекообразное существо, очень милое существо с кошачьими ушками, клыками и носом. Это Тянь.

Кактусы активизируются и снова накидываются на Люка и Тянь. Та запрыгивает на спину Люку.

Люк. Эй, ты чего?

Но Тянь ничего не отвечает и бьет Люка ногами по бокам, как наездники прищипывают лошадь. Люк послушно ускоряется, подбегает к своему кораблю и вместе с Тянь запрыгивает в него. Люки корабля закрываются. Снаружи слышны звуки атак кактусов, но, не добившись успеха, они снова «засыпают». Тянь спрыгивает с Люка. Оба облегченно выдыхают.

Люк. Кажется, спаслись.

Тянь мило и одобрительно улыбается. И тут же, заметив, как интересно внутри корабля, без разрешения проходит в кабину пилота, рассматривает все: кресло, приборы, датчики, заглядывает в иллюминаторы, нажимает различные кнопки.

Люк. Эй, осторожнее. Лучше не трогай ничего, ломаешь!

Но больше всего Тянь заинтересовало кресло. Она пробует устроиться в нем и так и эдак. Наконец находит удобную позу и снова мило улыбается.

Люк. Ты кто? (Пауза.) Ты с этой планеты? (Пауза.) Не понимаешь, да? Я — Люк (показывает на себя). Люк. А ты?

Тянь (неразборчиво). Тятятятятятя.

Люк. Тянь? Ну ок. Будешь Тянь. И что мне с тобой делать, Тянь?

Но Тянь уже свернулась калачиком и сладко спит.

9

Я тоже вырубаюсь на последнем кадре. На автомате прячу роман в ящик стола, и меня буквально расплющивает по подушке. Я редко вижу сны, но сегодня почти сразу перед глазами возникают картинки. Сначала огромное озеро с красной водой, и это, разумеется, не от кораллов, но и на кровь не сильно похоже. Называется «насмотрелся видео с марсохода». Я с разбега прыгаю в озеро, плыву все дальше и дальше, доплываю почти до середины, тут вода уже скорее бирюзового оттенка, почти прозрачная. Теплая, как в ванне, только пены не хватает. Мне приятно, не чувствуется никакой усталости. Плыви и плыви. Но я чувствую какие-то колебания воды, останавливаюсь. Всматриваюсь вглубь. Ага. Подо мной кружит гигантская рыба, не дельфин, акула, русалка или какой-нибудь скат, а такая, похожая на сазана или даже карпа, только размером с человека. Рыба тоже меня замечает, притормаживает и неспешно размахивает тяжелыми плавниками. Я приветливо машу ей. Вроде безобидная. Она поднимает голову, внимательно смотрит на меня, и тут я понимаю, что у рыбы лицо Дани Милохина. А движения его плавников похожи на очередной танец из тик-тока. Не совсем въезжаю, почему мне снится именно Даня. С ним я точно давно никаких видосов не просматривал, да и никогда его фанатом не был. И пока я думаю об этом, рыба подплывает ко мне и, схватив плавниками за ногу, тянет за собой. Я вскрикиваю, брыкаюсь, пытаюсь сопротивляться, но Даня намного крупнее и сильнее меня и продолжает тянуть к самому дну.

— Здесь очень хорошо. На дне, — шепчет он.

Вообще ни разу не золотая рыбка.

Интересно, в баттле щуки и золотой рыбки кто победит? Понятно, что в жизни щука бы элементарно проглотила соперницу, и все. Но в сказке же можно и пофантазировать. Это уже почти как битва покемонов получается. Вдруг рыбка, как скат, может пускать молнии, а щука, например, как сабзиро, замораживает врагов. Или одна может летать, а вторая становится невидимой. Но я, конечно, ничего такого не думаю. Не успеваю. Мне просто страшно, и понимаю, что надо бороться до последнего.

— Ну и оставайся здесь сам, — отчаянно пытаюсь вырваться, но, кажется, так и не добиваюсь успеха.

Кажется, потому что на самом деле сон обрывается. К счастью, хочется добавить. Не знаю, чем все закончилось, но надеюсь, что сумел-таки изловчиться и уплыть от Дани Милохина. Зачем я ему только понадобился? Или он теперь всех так на свои концерты заманивает? Интересно, а он на Марс полетел бы? Ради контента. Танцевал бы там с Маском на пару. Жаль, что, когда Нил Армстронг якобы летал на Луну, не было тик-тока. С таким рилсом он мгновенно бы залетел в реки.

Следующий сон ненамного приятнее. Теперь я оказываюсь в зоопарке, внутри клетки с гориллой. И она очень недовольна, очень-очень. Просто в бешенстве. У гориллы хотя бы лицо гориллы, а не какой-нибудь знаменитости, но она тоже охотится на меня. А другие обитатели зоопарка из своих клеток и вольеров подбадривают ее криками, сопением, рычанием, постукиванием и бляением.

Не знаю, почему мне снится столько животных. Фрейд по-любому как-нибудь объяснил бы, но я же не Фрейд. Да и снова некогда разбираться в причинно-следственных связях. Может, потому что гулял с Ричи и Чарли? А может, это мозг так реагирует на то, что снова предстоит стоять в планке и бегать? Звериные нагрузки и все такое. Или просто не нужно было пририсовывать Тяну кошачьи ушки? Но ей правда они идут, и у нее вполне кошачья пластика.

В общем, горилла медленно надвигается на меня, отшвыривая и разбрасывая все, что попадает на пути. Я испуганно озираюсь. Хм... а слово «озираться» имеет какое-то отношение к озеру? Но сейчас нет времени на изучение данного вопроса. Прятаться некуда. Вот что важно. Есть невысокое деревце, но какой нормальный человек полезет на дерево спастись от гориллы? Тупо пячусь. Чертова беспомощность. Мысленно прощаюсь с этим миром. И вдруг передо мной появляется мама. Прямо из воздуха. Как в шоу иллюзионистов. Ну, во сне такое возможно, поэтому я и не сильно удивляюсь. И вот она смотрит на гориллу, та впивается взглядом в маму, задумчиво чешет макушку. А мама пускается в пляс, как у себя в студии. Любимый ее стиль — контемпорари. Откуда-то из динамиков играет музыка. Горилла, забыв про меня, бросается к маме, я заодно прощаюсь и с ней, но вместо жуткого разрывания ма на части обезьяна присоединяется к ее танцу. И вот они уже вместе отплясывают синхронно и очень уверенно, словно всю жизнь танцевали в паре. А «озарение» имеет отношение к «озеру» или «озираться»?

Я переворачиваюсь на бок, натягиваю на себя одеяло повыше и тем самым прерываю и это сновидение. А дальше мне снится, будто я вишу на фонарном столбе, болтаю ногами, а с неба без конца валит крупный пушистый снег. И все это в рапиде и под грустную мелодию, похожую на саундтреки Людовико Эйнауди. Послушайте, если не слышали. Такая нежная, проникновенная музыка с нотками легкой грусти. Весь сон — один застывший кадр и музыка на репите.

Просыпаюсь я не в особо хорошем настроении. Успеваю офотошопить портрет какой-то загадочной Мари777 для аватарки, завтракаю, прячу телефон, чтобы снова не спорить с Ба, и мчусь в школу. А там нет Тяны, то есть Тани. Грустно. День проходит медленно, однообразно. Не думал, что так будет ее не хватать. На сообщения не отвечает, хотя и в сети была недолго: утром около десяти и в полвторого. Может, спросить адрес у Галинфы? Но я не решаюсь. Подумает еще что-нибудь такое. Два дня назад Таня узнавала мой адрес, теперь я ее.

Макс по-прежнему ищет нового соперника по шахматам. Леха троллит его, говорит, что готов поддаваться до пенсии и дать фору в виде слона или двух пешек,

но Макс даже с таким преимуществом не хочет рисковать. Лезова пришла в странной розовой кофточке с большими широкими рукавами и в синей юбке в пол. Пририсовала себе зачем-то огромные веснушки. Все заметили, но проигнорили. Это ее бесит, и на следующей перемене она их смывает. У каждого свои странности. Серега при первой же возможности вытаскивает нинтендо свитч. Он даже телефон держит в руках меньше, чем приставку. А сегодня Серега нервничает и бьет кулаком по парте — никто не любит проигрывать. А я думаю о Тане и немного о беге. Даже умудряюсь получить четверку по химии, хотя помню все формулы кислот. Но это все, конечно, ерунда. Одна четверка не перекроет забор пятерок. Хотя химию я не люблю, но она проще, чем физика или русский.

Дома сначала вестибулярка, затем планка, затем уроки, отзывы, голосую за лучший патриотический рисунок — сразу за пятерых: Мишу, Ваню, Свету, Рената и Ангизу. Лидирует Ангиза.

Бег...

Зря я в прошлый раз пожалел себя. Ощущение, что пропустил целый месяц, а не два дня. Мышцы начинают болеть на первом же круге. Воздух обжигает ноздри и легкие. Ступни с трудом отрываются от асфальта. Нельзя, нельзя останавливаться, нельзя щадить себя, делать поблажек. Терпи, Леша, трудно, но терпи. Еле выдерживаю норму, но надо еще пятьсот метров. Сил нет никаких. Уже покалывает бок, виски надуваются от напряжения. Кажется, что голова может лопнуть или разорваться, как граната. Терпи. Ноги подкашиваются. Двести метров. Последний рывок. И неожиданно эти двести метров преодолеваю довольно легко. Как будто только начал тренировку. Второе дыхание. Главное, сразу не тормозить. Обратно иду счастливый, пыхтящий, краснучий. Я смог, я это сделал, не сдулся, я — красавчик!

В комнате валюсь прямо на пол. Несколько минут полежать, затем душ. Ужинаю. И снова смотрю видосики, вспоминаю Таню, прокручиваю в голове нашу самую первую встречу. Первого сентября она тоже опоздала, и сразу на три урока. Следующей была физра, и мы с «взшками» поделились на команды, и вдруг на поле выскочила она и как закричит:

— Я с вами.

Пацаны сразу скривились. Мол, девчонкам нечего делать на поле. Я был солидарен. А она:

— У-у-у, так и знала, что тупо испугаетесь.

Никто не понял, с чего мы должны испугаться, а она рассказала, что у нее папа футболист и она сама раз тридцать подряд мяч набить может. У нас даже Васька Семенов столько не набивает, хотя два года на футбол ходил, пока не бросил. А я стоял на воротах, и мяч у меня как раз был.

— Кинь мяч, я покажу!

И так она уверенно это сказала, что я сразу послушался. Она и правда стала очень ловко набивать. Не хуже Месси с Роналду. И естественно, потом с нами играла. Голов, правда, не забила, но отдала два паса, и мы выиграли пять—четыре. Сейчас мы в основном сдаем нормативы или в зале занимаемся. А в футбол после первого сентября играли раза четыре от силы, но без Тани никуда и без ее «Не трожь, мой!».

Решаю нарисовать, как она чеканит мяч. И только сажусь поудобнее, в комнату входит мама. Воздух наполняется ароматом ее духов. Сладковатые, но приятные. Я и забыл, что мама сегодня должна вернуться. Понимаю вдруг, как сильно соскучился. Рот сам расплывается в улыбке. Мама подмигивает в ответ, но тут же вздыхает.

— Вторые, — печально сообщает она.

— Эх вы. Но все равно молодцы.

Конечно, молодцы, в прошлый раз вообще третьи были, но это в этом году только. Последние три года можно было даже не спрашивать, как выступили. Больше кубков разве что только у тех же Месси с Роналду.

— Иногда можно для разнообразия.

Но я-то знаю, что мама так не считает. Участие ради участия это не про их «Импульс». Кстати, этой весной они как раз переименовались. До этого был танцевальный коллектив «Кометы». А «Импульс» пока не дотягивает до статуса «непобедимый».

— Там просто мурманские ребята очень сильные приехали, — рассказывает дальше Ма. — Номер у них очень крутой. Пластичный, с драматургией. «Свободное падение». Ну и вообще видно, что хорошо подготовились, ни одной помарочки. Синхрон, пластика, техника — все на уровне. А у нас Альбинка...

— Новенькая? — уточняя зачем-то.

Мама кивает и продолжает:

— Партию свою запорола. Дурында, говоришь ей, говоришь: держи ритм... Бесполезно...

Не быть ей звездой тик-тока. Я вот тоже с ритмом не сказать чтобы в ладах.

— Вы как? Бабушка хорошо себя вела? Опять ватрушками тебя баловала?

— Ну так, немного.

Да много, конечно, много. Немного она не умеет.

И тут замечаю, что мама что-то прячет за спиной. Это явно не диплом. Всегда она привозит какой-нибудь сувенир. То огромный карандаш, похожий на полено с надписью «Суздаль», то вязаный шарф, то тульский пряник, то кружку или альбом. Что на этот раз?

Пластинка. Мама протягивает мне конверт. Читаю название: «Angels and airwaves». «The dream walker». Сноходец? Странник по снам? Коряво звучит. Мне больше нравится «Мечтатель». И звучит красивее.

— Говорила же, что найду.

Офигеть, он минимум пять тысяч стоит. Это явно покруче шарфов с пряниками. Шикардос!

— «Ангелы»? Спасибо!

Я готов расцеловать маму. Такое не то чтобы часто случается. Но сейчас повод железобетонный. Аккуратно сдираю пленку. Руки слегка покалывает от волнения. Глажу картон. Гладкий. Нюхаю. Сквозь мамины духи сложно пробиться, но все же чувствую легкий приятный аромат. Обожаю запах новых книг и пластинок. Аккуратно вынимаю. Яркая, фиолетовая. Я бы даже сказал, пурпурная. Цветной винил. Мой первый в жизни собственный винил с современными исполнителями. Яркий, стильный, и звучание должно отличаться. Ретро, конечно, тоже прикольно, но слов-но другая лига.

— Ну, включай. Чего тянешь? — не выдерживает мама.

А я и правда оттягиваю момент. Пусть удовольствие длится максимально долго. Я почти год назад рассказывал маме про эту пластинку. Хотеть. Желать. Надеяться. И вот мечты, можно сказать, сбываются. Еще бы с папой так случилось... Наконец подхожу к проигрывателю, включаю.

Первый трэк называется «Teenagers and rituals». Звучат клавишные. И уже с первых аккордов я погружаюсь в удивительную атмосферу их песен. Я уже рассказывал. Я чувствую себя тем самым Люком, блуждающим по галактикам. Мама слушает с интересом, но видно, что это не ее стиль. Ей бы лучше Zivert или «Iowa». Выключаю. Перед сном обязательно послушаю весь альбом.

— Красиво, — говорит мама.

— Ага, норм.

— Эх ты, норм. Горе мое луковое.

Чего это вдруг она? Еще и подходит и начинает теревить волосы.

— Ма, ты чего? Мне что, пять лет, что ли? — автоматически возмущаюсь я.

Но вообще, можно обняться. Мне и правда очень приятно. Не только из-за пластики. Я же соскучился. И мама, словно прочитав мои мысли, озвучивает их.

— Соскучилась по сыночку своему. Целых пять дней не виделись.

— Вообще-то, шесть.

— Тем более. Потискать, что ли, нельзя? Защекочу, щекочу.

Она же не в первый раз уезжает. Но уже года три так не делала и не говорила. Это мегастранно.

— Ма, ну хватит! Я не маленький.

— Ах, простите-извините, ваше высочество, что потревожили. Не со зла мы. Не думали просто, что вырос наш сынулька.

Ноу комментс. А мама продолжает:

— Слишком большой стал для жмаканья, серьезный.

— Да просто зачем?

— Что зачем? Что зачем? Люблю тебя большого и такого сурьезного.

И тут как схватит меня за ноги и давай поднимать. Немного кринжа.

— Маааа.

— Ох, и правда вымахал.

— Да не надо. Счас надорвешься еще.

Похоже на сон с рыбой-Даней Милохиным. Только там он тянул меня вниз, а тут наоборот, от пола оторвать пытается. И не вырваться.

— Кто надорвешься? Я надорвешься? — шутиливо говорит она. — Да я супергерой, как эти твои. Супермама, понятно тебе?

Юмористка.

— Кричи: «Летим», давай громче: «Ле-тим!»

Раскомандовалась.

— Ма-а-а, — начинаю я, но не договариваю. Ноги взмывают вверх, ну ладно, не взмывают, но и правда отрываются от пола.

Подняла-таки. Супермама... Но насладиться полетом я не успеваю. Чувствую, как ослабевает хватка, она делает пару шагов, и мы с грохотом летим, к счастью, на диван.

— Летиииии! — успеваю прокричать мама за секунду до падения.

Хорошо, что Ба ушла, а то бы уже разворчалась. Ма пыхтит, совсем как я после пробежки, и трет локоть.

— Ударилась? — спрашиваю.

Но вместо ответа она начинает смеяться. Долго и заразительно. Но я не буду смеяться. Вот еще. Устроила кринж-сцену. Не хочу такое поддерживать. С трудом, но сохраняю строгость во взгляде.

И вдруг смех обрывается и, как ска-панк на похоронах, звучит:

— Лешик, а помнишь, ко мне коллеги на день рождения приходили.

— Ну, помню.

— Там еще Вадзим был — новый наш хореограф.

Ну и имечко. Такого попробуй забыть. Лысый, как бильярдный шар, и с мерзкими усиками.

— И что?

— Мы еще на квест с ним ходили, потому что только от трех человек пускают.

— «Темная сторона луны».

Квест, кстати, фигня полная. Никакого сюжета, и видно, что тупо пенопласт раскрасили. Тоже мне лунный грунт. И задания элементарные. Мы за двадцать восемь минут все прошли. Я потом жалел, что из-за него от хорошего заказа отказался. Двухчасовую лекцию какого-то препода, чуть ли не профессора, расшифровать надо было. А мама, наоборот, очень довольная была. Еще в КФС потом сидели.

— Ну да, было же хорошо?

Не то чтобы, но отвечаю «норм», чтобы ее не расстраивать.

— Он мне предложение сделал.

Чего? И глаза отводит. Еще сказала так невозмутимо, почти впроброс, как будто собралась в магазин и решила уточнить, брать пакет на кассе или не надо. Я не верю ушам, я не понимаю, что происходит. Максимум, что могу из себя выдавить:

— Как это?

Нет, я правда, сплю или как? Маааааа... А она так же невозмутимо продолжает:

— Ну, как предложения делают? Замуж позвал.

Але! Что происходит? Я надеюсь, это прикол? Он же знает про папу. Как можно замужнему человеку сделать предложение? Нафига мне вообще такое рассказывать? Но она ждет чего-то, хоть и смотрит виновато. Или это все-таки пранк? И она на камеру снимает мою реакцию?

— Как замуж? А ты?

— А я — согласилась.

Пожалуйста, пусть это будет что угодно, только не правда. Мам, я не верю, ты чего? Ты... ты... ты же не могла.

— Это прикол, да?

— Нет, все по-настоящему. Мы решили расписаться.

Хватит фигню нести!!! Решили они. Решительные какие. Жесть, просто жесть... Я сейчас взорвусь. Это невыносимо!

— А папа?

— Ну что папа? Ну что папа?

Все папа. У тебя с головой все нормально?

— Леш... Шесть лет уже прошло, — вздыхает и руки свои тянет ко мне.

Отпихиваю. Не надо мне вот этого.

— И что теперь?

— И все теперь.

Как у вас просто, однако. Раз — и все. Замуж позвали — надо идти. И вдруг доходит. Так вот к чему Ба откровенничала. «Гриша Тимченко, не приняла Маруся». Я теперь вместо Маруси? Но это же другое. Мы же не знаем наверняка. Или знаем? Да нет, не может быть... Мама в любой момент могла бы замуж выйти. Вон она какая... Что я, не понимаю, что ли? Не выходила же. А что сейчас поменялось? Мысли путаются в голове. Не трогай меня, пожалуйста, не трогай.

— Леш... Шесть лет, ты понимаешь? — не успокаивается она. — Сколько можно еще ждать? Десять лет? Двадцать? Сколько мне тогда будет?

— Это тут при чем?

— Да ни при чем, — тоже вдруг повышает голос. — И смысла нет никакого. Понимаешь? Всё...

Опять вылезло это «всё». Прямо как в песне у «ДДТ». Ничего не всё. Всё — это когда ничего не вернуть, не изменить, когда нет даже надежды. А она есть. И от свадьбы легко отказаться. Проще некуда.

— Очень жаль, что так получилось. Очень. Но что мы можем сделать? Тупая фраза, жизнь продолжается.

Наитупейшая.

— Но это так. У тебя, у меня...

Да, я вижу, как у тебя она продолжается.

— Нельзя все время страдать и ждать. Это неправильно.

А как правильно?

— Я еще молодая, и ты... я же вижу, как тебе тяжело.

И потому решила добить?

— А Вадзим... Он хороший, правда хороший, он...

— Пошел он на хрен, твой Вадзим!

Бесит!

Ма, безусловно, такого не ожидала. Застыла на месте и смотрит на меня не моргая. Ну а что? Как я должен реагировать? Как? «Добро пожаловать, Вадзим! Только тебя нам и не хватало?» Тупость. На что она рассчитывала?

— Так, что за выражения, молодой человек? — наконец приходит в себя Ма. Маруся... «Ватрушечка...» — Тебе кто разрешил....

— И ты тоже уйди отсюда! — я больше не хочу ее слышать и видеть.

— Сынок, не нервничай, пожалуйста, давай спокойно поговорим... — даже побледнела немного.

— Мам, уйди, пожалуйста!

Я правда на грани.

— Лешик, я же....

Ты же. Ты же, вы же, ниже, лыжи.

— Значит, я уйду, — подскакиваю к шкафу, открываю дверцы.

— Ты же несерьезно сейчас?

Хватаю худи, быстро натягиваю, на ходу. Ма преграждает мне путь, вытягивает руки.

— Леш, ну не надо. Сынок, дорогой, ну хватит, пожалуйста. Я понимаю, я все понимаю...

Как раз-таки наоборот получается.

— Ну куда ты пойдешь?

Да пофигу.

— Ну что за...

Пытаюсь проскочить у нее под руками. Не выходит.

— Так, Алексей Федорыч, прекрати немедленно!

Я, что ли, это начал?

Собравшись с силами, отодвигаю Ма от двери, бегу к выходу, выскакиваю в подъезд. Несусь вниз, перепрыгивая через ступени. Даже если выскочила следом, не догонит. Но кажется, не выскочила. Путаюсь в ногах, одна цепляет вторую, сейчас свалюсь и покачусь, как шар для боулинга. Страйк. Скорее сплит. Но нет, успеваю схватиться за поручень, крепко вжимаюсь. Кулаки бледнеют от натуги. Блииинииин.

10

Я зол, я очень зол, я просто в бешенстве. Колочу со всей силы кулаками об стену. Разве она виновата? Но мне плохо, плохо... Ты это видел? ТЫ ЭТО видел? Вот что бывает, когда не торопишься вернуться! Разбиваю руки. Боли не чувствую. Я очень зол.

Сверху раздается сердитый старушечий голос:

— Чего устроил? Руки поотрубить, чтоб знал. Сейчас милицию вызову!

Да хоть спецназ. Но в полицию совсем не хочется. Добегаю до первого этажа, нажимаю на кнопку лифта, двери сразу открываются. Задерживаю дыхание, нажимаю на верхний этаж. Пусть едет и грохочет. Хочется, чтобы всем сейчас было больно. Всем. Особенно Вадзиму. Замуж он позвал. Тебе кто-то разрешал вообще? Зрелый мачо... Приехала мама, отличный вечерочек. Спасибо. Выхожу на улицу. Темно. И прохладно. Натягиваю на голову капюшон, но ветер все равно продувает. Отлично, замерзну, подхвачу воспаление легких — и ариведерчи. Живите тут, как хотите. Хоть сто раз переженитесь.

Ба тоже молодец. Получается, знала уже. Пришла обстановку прощупать, почву подготовить, огородница. Нафиг мне этот Гриша Тимченко? Может, не было его вообще. Наплела что-то там. Но Ба вроде не такая. Она даже сказки мне только по книжкам читала, сама не рассказывала.

Ненавижу! Всех вас ненавижу. Понятно? Предатели. Как так можно? Как? Понимаю вдруг, что забыл телефон. Ну и прекрасно. Не нужен мне ваш телефон. И вообще ничего не нужно. Пластинку небось тоже этот купил. Вадзим. Что за имя такое тупое? Вадзилла. Водзитель...

Холодно. Ветер продирает до костей. Начинаю дрожать. До снега пока далеко, но деревья уже голые. Где-то каркает ворона. Хорошо ей, захотела — и улетела ото всех. А я... Недалеко, собственно, ушел. Метров через семьсот есть тцшка. Иду туда. Хоть согреюсь. Сто лет не был в «Соколе». Так себе название. И ТЦ не очень. Мелкий, в два этажа. Еще и закроется через полчаса. Но хоть немногочисленно. Поднимаюсь на второй этаж, дохожу до окна и тупо смотрю на улицу. Едут машины, в соседних домах горят окна, чуть дальше в небе виднеется зарево от прожекторов теплиц. Выращивают какие-нибудь огурцы или помидоры. Обычный вечер, для всех, кроме меня.... Злость куда-то исчезает. Остаются только растерянность и беспомощность. Ну почему все так?

— Парень, — раздается позади меня хрипловатое бурчание.

Оборачиваюсь — охранник.

— Через пять минут закрываемся.

— Закрывайтесь.

А на улице не стало теплее. С полчаса бесцельно кружу по району. Деваться некуда. Надо возвращаться. Но никаких разговоров. Хватит, наговорились. У меня даже Таня вылетела из головы от таких диалогов. Подхожу к подъезду. Но не решаюсь звонить в домофон. Ключи-то не брал. И к Ба не уехать. Со всех сторон засада. И вдруг из беседки начинает громко орать какой-то рэпчик.

«Хеч, кач, меч, флоу...» — слов не разобрать. Похоже на Скриптонита. Музыка приближается, но слова по-прежнему не различимы. Упс. Они явно идут в мою сторону, и там явно не два человека. Райончик у нас относительно спокойный, но офф-ников никто не отменял. Резко набираю номер квартиры.

— Лешик, ты?

— Угу.

Дверь открывается, прошмыгиваю внутрь. Пронесло. Хоть где-то. Медленно поднимаюсь на седьмой. Ма стоит в дверях. Под глазами красные круги. Что ж Вадзимку не позвала? Вместе поплакали бы... Молча прохожу мимо. Она тоже ничего не производит. Из кухни пахнет пиццей и какао. Обойдусь. От холода не получилось, попробую умереть от голода. Прохожу в свою комнату, с шумом захлопываю дверь.

Вадзим хороший. Лучший. Мегакраш... Чтоб он провалился.

Залезаю на сайт, проверяю заказы. Как назло — полно. Но я не в состоянии выполнить. Пусть другие голосуют, восхваляют банки, ретушируют морщины и прыщики. Я ничего не хочу. Ложусь на кровать и пялюсь в потолок. Отмечаю все мысли. Не хочу думать, не хочу. Я листик. Листик на ветру. Я листик, листик, листи... Вырубаюсь.

11

Утром молчим. Стараюсь не заходить на кухню, но желудок распевает арии. Еще один предатель. Не получишь ничего! Только чай. Без ватрушек. Без — я сказал. А пищей до сих пор пахнет. Четыре сыра — моя любимая.

— С собой хоть возьми, — не выдерживает Ма.

— Нас в столовой кормят.

И пока она не начала отвечать, несусь к себе в комнату обратно. Кидаю учебники в рюкзак. Надо двигать, но тут вспоминаю про доклад! А где он? Гдееее? Нервно мечусь по комнате, ударяюсь ногой о кресло. Тру. Смотрю на руки. Да, неплохо я вчера подубасил стену. Надо бы обработать. Достаю из ящика хлоргексидин, лью на ватку, растираю по костяшкам. Доклад же! Точно. Нахожу на подоконнике. Взгляд застывает на папиной фотке. Стоит в своем летном комбинезоне, улыбается... А мне вот не до улыбок. Один ты у меня и остался.

Вспоминается, как у меня зашатался первый зуб. Молочный, разумеется. Сколько мне было? Лет пять, наверное. И я что-то так испугался. Ел яблоко и вдруг чувствую: ходуном ходит, того и гляди, отвалится. Бегу к папе, он в кресле этом сидел, читал что-то. Повернул голову ко мне, смотрит удивленно, а я от испуга ни звука произнести не могу. Только за коленку его ухватил и пальцами на рот свой показываю, в зуб тычу.

— Болит? — спрашивает папа.

А я головой трясу. Зуб вообще не болел.

— А чего? — пожимает плечами папа.

Тогда я осторожно схватил за самый кончик и трясу.

— А-а-а, наружу просится?

Я кивнул.

— Так мы его сейчас в два счета! — улыбнулся папа. — Где мои большие пассатижи?

И с кресла встал. А я представил, как он этими здоровыми щипцами мне в рот полезет, еще и с ехидной улыбкой на лице. Затем представил леденящий душу блеск металла, и руки трястись начали. А зуб от бешеной тряски тут же сам выпал. Папа даже из комнаты выйти не успел.

— Вот так да, — удивился он, — и правду говорят: «У страха глаза велики».

Зуб этот я потом под подушку запрятал. Как и положено. А наутро вместо него зубная фея пятьсот рублей подсунула. Я так обрадовался, что и остальные резцы стал расшатывать и выдернул-таки еще два зуба. На этот раз было больно. Но мотивация, как известно, творит чудеса. Вот только за два зуба мне также пятьсот рублей прилетело. Я расстроился и пошел к маме.

— У них, видимо, акция была «Два зуба по цене одного», — пошутила она. Экономила, в общем.

Но папа незаметно от нее за завтраком мне еще пятисотенную подсунул.

Это, собственно, и был мой первый заработок. Не считая дней рождения и Нового года. А сейчас мне надо много и усердно работать. Чтобы накопить, чтобы скорее улететь отсюда нафиг.

Бегу за Ричи и Чарли. Ветер стал только сильнее и кружит почерневшие листья. Басенджи, как и я, сегодня не в настроении и не хотят резвиться. Даже не дразнят, как

обычно, друг друга и не толкаются. Быстро делают свои дела и вопросительно смотрят на меня. Погода их нисколько не радует. Ок-ок. Торопимся обратно.

В школе меня неожиданно накрывает совсем. Я ничего не вижу и никого не слышу. Даже Таню. Мимо плывут какие-то размытые картинки, а в голове крутятся мелодии «Ангелов». О, Таня пришла — доходит до меня не сразу. Тоже грустная. Мы переглядываемся и только печально вздыхаем. Галинфа что-то рассказывает. Я чувствую себя улиткой, которую придавило булыжником. А «лыжник» и «булыжник» как-то связаны друг с другом? Но сейчас мне даже это не хочется гуглить. Я как будто отсоединяюсь от своего тела и наблюдаю за всем со стороны. То есть что-то происходит, но мозг практически ничего не фиксирует. Макс шутит о чем-то, все смеются, Галинфа шутит в ответ, смех только усиливается, потом Лезова идет к доске, снова хохот, а я улетаю все дальше и дальше, высоко, к звездам. И хотя умудряюсь отвечать на вопросы, но читаю их по губам, а не воспринимаю на слух.

Наконец очередь доходит и до истории. Таня вызывается первой. Удивительно, но я не удивляюсь. Отвечает вроде вполне уверенно. Я соображаю, что даже не вытащил доклад из рюкзака. Наклоняюсь и ищу его, наверное, целую вечность. Перебираю учебники, тетради, один раз, второй. Забыл, что ли? Но я же точно клал. Роюсь по новой.

— Ты чего там копаешься, Климов? — не выдерживает Ольга Олеговна. — Отвечать готов?

— Готов.

Или не готов.

— Ну, давай. Просим.

А я просто тупо застываю и не знаю, что делать.

— Леша? — Ольга Олеговна озадачена.

И вдруг рука хватается доклад. Он был с краю, на самом виду. Ну или магическим образом там оказался. Отвечаю неважно. Нет, я помню: «Сергей Иванович Муравьев-Апостол», «Павел Иванович Пестель», бла-бла-бла, но запинаясь и перескакиваю с одного на третьего, с третьего на девятое.

— Пять с минусом, — говорит Ольга Олеговна, — ты сегодня какой-то не такой. Леша, случилось что-нибудь?

Леша, случилось что-нибудь?

В голове возникает картинка. Я стою, маленький, растерянный, в центре огромного города с небоскребами. И в небе над всеми этими бесконечными высотками появляется здоровенное облако, на котором написан этот самый вопрос.

Да нет, что вы! ВСЕ НОРМ! ПРОСТО СУПЕР! Спасибо вадзиму. Да-да, вот так, именно с маленькой буквы.

Она замечает разбитые костяшки кулаков.

— А что с руками?

— Ходил на бокс. Первое занятие.

Вру я не очень, но если подумать, это не сильно отличалось от бокса.

— Ладно, садись. Пять с минусом, — повторяет она.

Ловлю на себе взгляд Тани. Явно про бокс не поверила. Ну и пожалуйста. Сажусь за парту и вновь «улетаю» далеко отсюда.

На физре отпрашиваюсь. Обещаю, что подтянусь восемь раз. Снова вру. Я и три раза не всегда могу подтянуться. То же самое говорит и физрук, но отпускает. От гола подташнивает. Но есть я не буду. Если честно, уже и не сильно хочется. Выхожу на улицу. Через дорогу от нас дома под снос. Там уже несколько месяцев висят та-

блички: «Ваш дом будет расселен». Жильцы уже выехали, но до сноса дело пока не дошло. Там тусят все наши курильщики, не вейпщики, а именно те, кто курит сиги. Иду напрямиком туда. Несколько пацанов, девятиклашек, с важным видом, как будто делают что-то невероятное, затягиваются и выпускают из себя дым.

Меня трясет, сиги вроде успокаивают. Подхожу к ним.

— Парни, а угостите тоже.

— Мамка не заругает? — шутит самый низкий из них. Я его даже сперва не заметил за спинами остальных. Все смеются.

— Не заругает.

— Свои купи, — недовольно продолжает он.

— Да мне не надо пачку.

Может, и курить не надо? Но уже влез с просьбами, неудобно отступать.

— Давайте я у вас куплю. Двадцатки хватит? — протягиваю две монетки. Смотрят внимательно на кулаки, но ничего не говорят. Берут. Низкий вытаскивает сигу из пачки. «Кент». Вроде неплохие.

— Огня дать?

— Есть у меня.

Отхожу чуть в сторону. При них курить не хочется. Поймут, что ни разу не пробовал. Стыдно. Кручу сигарету в руках. Так, чуть надавить, и она лопнет. Ветер разнесет табак по двору. Кажется, и в моей жизни все так же хрупко. Одно небольшое усилие — и спокойствие разлетается на мелкие кусочки. Подношу сигу к носу. Не очень аромат у табака. Прямо такое себе. Может, выбросить? Но меня трясет.

Вот так и становятся плохими подростками. Приходит какой-нибудь вадзим, и хочется наделать фигни, если не сказать хуже. Хочется их рассорить, напугать его, чтобы, как говорится, душа в пятки, чтоб сбежал со скоростью света.

Парни выбрасывают бычки и неспешно возвращаются к школе. Достая зажигалку. Последняя возможность отказаться. Нет, пробую. Делаю глубокий вдох. Дым почему-то лезет сразу в нос, чихаю, кашляю. Горло сковывает и сушит. Горечь растекается по телу. Вспоминаю, как отвратительно у Ба в подъезде. Прокурено до невозможного. Раздражение только растет. Что тут может успокоить? Все равно отвратительная горечь во рту, тошнит даже сильнее, и слегка подкашиваются ноги. Как можно курить по несколько пачек в день? В голове на репите звучит всего одна строчка:

По полям, по полям,

По полям, по полям.

ПО ПОЛЯМ, ПО ПОЛЯМ...

И тут слышу знакомый голос:

— А, вот ты где?

Песня обрывается. Таня! Ты супер! Чуть не вырывается из меня признание. Но вслух произношу:

— Ну, ты меня напугала.

— Фига, ты куришь, что ли?

Но я уже и сам не рад, что попробовал. Тушу сигу о стену, выкидываю окурок к остальным. Он, как гильза, ударяется о землю и отскакивает.

— Нет. Фигня какая-то.

— А че тогда? — наезжает Таня.

— Ничего. Так, попробовал.

— Ага, я тоже пробовала. Мне тоже не понравилось.

— Следила за мной? — агрессия никуда не делась.

— Я тебе че, сталкер? Просто хотела за доклад спасибо сказать. А ты раз-раз и подорвался. Че-т ты странный сегодня.

А ты как будто нет? Два дня пропустила, на сообщения не отвечала, волосы перекрасила в угольно-черный. Это я только сейчас подмечаю.

— Заметно?

— Как бы да... Руки вон все... И грустный сам. Че случилось?

Мне очень хочется рассказать как есть, но почему-то отвечаю совсем по-другому.

— Да так...

— Емко.

А теперь и не знаю, как начать. Получится мегаглупо. Молчим. Таня ждет, но недолго.

— Не хочешь, как хочешь... Лан, до завтра, — резко разворачивается.

Громко и печально вздыхаю. Само вырвалось. Я не планировал. Но это срабатывает. Таня останавливается.

— Ага, слышу, как ничего не случилось. Ну, рассказывай, пока не передумала.

— Ты же идти хотела.

— Я много чего хотела.

Тоже емко. И в точку. Желаний у всех — завались. А Таня продолжает:

— Я, может, и на психолога учиться пойду, так что пригодится. Что там, типа по папе опять скучаешь?

— Не совсем... Там, короче, вообще полный...

Слова путаются, язык заплетается. Уже могло бы отпустить, а не наоборот.

— Всё? — хмыкает Таня. — А, ну теперь все понятно. Тогда и правда пойду.

Мастер манипуляции. 80 LVL.

— Подожди... В общем, он маме предложение сделал.

— Кто?

Логичный вопрос.

— Ну коллега этот, мамин. Вадзим.

— Вадзим?

— Ага, даже имя кринжовое. Реально бесит.

Таня внимательно смотрит на мои руки.

— Это ты с ним боксировал?

— Об стену... Короче, они на конкурс в Ярославль ездили, и он там ее замуж позвал. Вот...

Рассказал. Поныл, излил душу. Девочкам не особо нравятся нытики, то есть вообще не нравятся, но я об этом сейчас не думаю. Да и Таня меня не посылает куда подальше. Реагирует, правда, тоже довольно странно.

— Прикол.

— Ничего прикольного.

— Да я не в том смысле, что прикол, — тут же оправдывается она, — а что офигеть у вас в семье события развиваются.

— Угу. Почти как в кино.

— И че, че мама сказала? — начинает допрашивать Таня. Психологи с таким пристрастием не задают вопросы.

— Согласилась.

— Ну норм, на свадьбе погуляешь... — выдает она.

Чего? Я чуть язык не проглатываю от удивления. Что за тупое мегапозитивное мышление? Мы же не на семинаре «Добейся успеха».

— Ты серьезно?

— Да нет, конечно. Отстой полный.

Ну хоть так. По грани ходите, Татьяна.

— Но вообще, хрен знает, — продолжает она, — вдруг он мужик нормальный, не смотря на имя.

Да пусть хоть лучший на свете, только, пожалуйста, для другого кого-нибудь.

— Вы сговорились все, что ли? А папа?

— А че папа?

И хлоп-хлоп глазами своими. Смотрит, не отрываясь.

— Вдруг вернется? — говорю я и сам понимаю, что в голосе больше сомнения, чем надежды.

Стоп. Стоп. Стоп. Я знаю, я верю — он там. Он должен вернуться. Вы не заставляйте меня сомневаться. Понятно?

— А, ну да, неприятно, — соглашается Таня и отпихивает окурок носком кроссовки подальше от себя. — Но если вернется, тогда сами разберутся, че там и как. Ты-то тут при чем?

Отлично, Таня, ты победила в номинации «Мисс сочувствие».

— Действительно, при чем тут я вообще? Мои мама и папа. А я типа ни при чем. Может, посоветуешь еще забить на все и не париться?

Я, по-моему, сейчас кого-то ударю. Злость переполняет. Я огромный колючий сгусток агрессии. Шаровая молния в сравнении со мной отдыхает.

— Не парься... Ну, хочешь, парься. Главное, не кури больше.

Л — логика.

— Спасибо, полегчало. Ты прирожденный психолог.

— Да че я? У самой родители ругаются все время, — выдает Таня и прикусывает губу, чтоб не расплакаться.

Ну, реально некрасиво. Сочувствия начал требовать, жалейте меня, успокаивайте, как будто только мне плохо и никто на планете не страдает. А так-то у всех проблем достаточно. Удивительно, что мы с Таней вроде как сдружились, и у обоих такие стремные ситуации в семье. Хочу обнять Таню, сказать, что все обязательно будет хорошо. У нее, ну, и у меня, конечно. Хочу, но привычно не решаюсь. Тяжело вот так нарушить личное пространство, даже если и есть повод. Короче, тупо молчу и слушаю.

— Задолбали прям. Третий год уже, — передразнивая, — «бьябьябья», «бебебебе». Че не хватает вообще? Жили же нормально, нет, надо было начать. И хрен знает, когда это закончится. Папа еще с травмой — все время дома торчит. Раньше мне нравилось, когда он дома, а теперь бесит.

Я бы тоже так побесился, но не на кого....

— А маму еще больше. Я их помирить пыталась, но лучше б не лезла вообще. Только хуже стало. А теперь и домой идти неохота, каждый раз думаю, опять там конкурс «Кто громче и противнее вынесет мозг». Отстой. Отстой, отстой!

И давай остальные окурки распинывать.

Ну да, ни разу не каефно.

— Сочувствую. Я тоже домой не хочу, а надо.

— О, а хочешь, ко мне пошли?

Хотеть, хотеть, хотеть... Миллион раз да.

— Может, при тебе меньше орать будут...

А в голове: «Отзывы, работа, Марс»... Вот что важнее? Даже не так. Что мне СЕЙЧАС важнее? Ответ очевиден.

- Да я бы с радостью, но мне работать надо.
- Фига, ты работаешь?
- Три года уже.
- Охренеть.
- Да что такого?

Ну да, есть же дети, которые с двух лет уже в видео про распаковки снимаются или, например, в рекламе, для тик-тока видосы записывают, стримы ведут. Побольше меня зарабатывают. Намного больше. Я тоже стримить пытался. Но играю не супер, и надо ярко комментировать, я бы даже сказал, что это самое главное. А у меня с харизмой не очень, и материться не сильно хочется. Но мат сразу плюс четыреста очков магии придает. Просто редко кто ради цели, тем более такой, как у меня, работать начинает. Но Таня по-настоящему удивлена.

— И кем? — спрашивает она.

— Да типа фрилансер. В инете по объявлениям фотошоплю немного. Авки в основном делаю или фотосессии подправляю. И с собаками соседскими через день гуляю. Ричи и Чарли. Басенджи. Прикольные.

Показываю фото на телефоне.

— Ого.

— Да так, ничего особенного. Ну еще иногда тексты на расшифровку беру, печатаю, отзывы пишу всякие, опросы прохожу, комменты платные оставляю, майнить еще хотел, но пока возможности нет. Оборудование дорогое.

— Ни фига. Ты отдыхаешь вообще?

Как сказать? Ну, вот когда прогуливал, я же почти не работал. Но теперь не смогу такого позволить. Работать до седьмого пота, или как там говорят?

— Да это все в свободное время.

— Первый раз вижу, чтобы человек с десяти лет работал.

— Что ты, блогеров не видела?

— То совсем другое.

— Мне деньги нужны. Много.

— Зачем?

Я задумываюсь. Понятно, что уже выдал ей тайн на целую книгу, но про Марс вдруг она не поймет, скажет, что кринжатина какая-то. Да и там миллионов пять минимум нужно.

А Таня нервничает.

— Ну, ты, король интриги, рассказывай давай.

Король интриги. Опять она ляпнула. Можно, конечно, соврать, но... была не была.

— Только не смейся. Ладно? Я, в общем, коплю. На билет до Марса, — почти в одно слово выпаливаю признание.

— В смысле?

— С Илоном Маском полететь хочу.

— Круто, — неожиданно говорит Таня. На полном серьезе, даже уголки губ не дрогнули.

— Вдруг там папу встречу, — поясняю я.

— Ну да, че б нет? А я бы просто так смоталась. Там, наверное, прикольно.

Не супер, судя по видео.

— Ну, типа... Ладно, пойду работать.

Таня грустно вздыхает и ковыряет носком кроссовки землю. Окурки закончились. Эх, Тянь... Пытаюсь ее приободрить.

— А ты не грусти. Помиряйся твои. У всех кризисы бывают.

— Скорей бы. А то вообще отстой отстойный.

— Чего? — глупо переспрашиваю я. Отстой отстойный — что за выражение вообще?

— Ну, ...опа с ручкой. Так мама говорит. И так, кстати, тоже, особенно про футболистов.

— А, ну да, жиза...

И ухожу. Не хочется, но деваться некуда. Похоже, жизнь в основном и состоит из делания того, что не сильно нравится. Иду, думаю над этим. Столько всего, конечно, навалилось за последние дни. И Ба, надо ей тоже, что ли, позвонить, высказать недовольство. И тут буквально в десяти сантиметрах от меня как затормозит машина. Поднимаю глаза. Ну да, пошел на красный, не заметил. Не хватало еще вот так тупо попрощаться с жизнью. Водитель в бешенстве орет что-то, размахивает руками. Мата в его криках явно больше других слов. Виновато прячу глаза и бегу обратно к тротуару. Образуется небольшая пробка. Поздравляю, Леша, ты еще и затор на дороге организовал. Суперский день, чего и говорить! Машины сигналият. Водитель чуть не сбившей меня «весты» трогается с места, если бы не затор, он, конечно бы, вылез и раздал мне на орехи. А я даже не испугался, тупо не успел.

12

Захожу в дом. Прислушиваюсь. Тихо. Мамы нет. Отлично. Забегаю на кухню. Ем. А что делать? В животе уже такие вибрации, что чувствую себя звонящим айфоном. Еще немного, и будет взрыв. Может, Большой взрыв именно так и произошел? Кто-то был ооооочень голоден, а потом бах, и появилась Вселенная. Суп с фрикадельками — пойдет, грею пиццу в микроволновке, я бы, наверное, целого быка слопал. От запаха вообще голову сносит.

Ем быстро. Вдруг мама вернется, а я по-прежнему зол на нее. Хотя после разговора с Таней чуть меньше. Да и сытым сложнее злиться.

Надо настроиться на работу.

«Леша, соберись, заказы ждут». — «Сейчас-сейчас, — веду я диалог с самим собой, — только вкешечку проверю».

Открываю приложение. Ничего интересного. Сообщений ноль, и одно уведомление. В группе Илона Маска новый пост с видео. Как назло, на двадцать с чем-то минут. Открываю. Затем гуглю про Таниного папу. Воспитанник спортивной школы ФК «Чертаново». Играл в новотроицкой «Носте», астраханском «Волгаре», ярославском «Шиннике», «Кубани», волгоградском «Роторе», калининградской «Балтике», «Армавире», «Тосно», липецком «Металлурге», «Динамо» Ставрополь, Тамбов, рязанском «Торпедо». Солидно. Много поездил. Хотя Тане, наверное, это не очень по приколу. И тяжело заводить друзей. Маме Тани, видимо, тоже надоели постоянные переезды.

Так, стоп.

«Хватит! Работать!» — бунтует внутри меня голос.

«Ладно-ладно, уговорил».

Включаю комп, просматриваю список заказов. Любимые голосовашки. Беру! Это быстро. Щелк, щелк, щелк. Пятьдесят рублей заработано. Обзор новых пяти серий из списка. Триста рублей. А вот это уже интересно. Ни один из них я, естественно, не смотрел, но рейтинг никто не отменял. «Пищевлок» второй сезон. Что это? Так, пионерский лагерь, вампиры, по роману Алексея Иванова, мистика. О, что-то прикольное, надо будет потом самому глянуть. Пишу про динамичный сюжет, удачную экранизацию и неплохую актерскую игру. Надеюсь, ни с чем не промахнулся.

«Стрим». Жора вместе с родителями переезжает в другой город, бла-бла-бла, надевает на голову шлем со встроенной в него камерой и транслирует все в Интернет. Тоже вроде интересно. Эх, сейчас бы забить и вместо работы посмотреть, как Жора борется с несправедливостью и беззаконием. Такой Робин Гуд двадцать первого века, новый вид супергероя. Камера вместо суперспособностей.

Слышу щелчок входной двери. Надеваю наушники. Не хочу, чтобы мешали. Включаю «Ангелов», но негромко, просто фоном, чтобы не отвлекали, пишу дальше.

«Слово пацана». Сериал Жоры Крыжовника, автора легендарного «Горько» и «Горько-2». Не знаю, что там легендарного, ну ок. Я целиком не смотрел, спорить не буду, маме вроде нравится. А, тут про казанские уличные банды 80-х и начала 90-х. Тоже снят по книге. «Вся правда о суровых и лихих 90-х». Такое я вообще не люблю. Я тогда даже не родился. Но пишут, что большие ожидания и прочее. Пишу про интересные режиссерские находки, атмосферу и пугающий реализм.

И вдруг открывается дверь, и в комнату заглядывает этот долбаный усач. ЧЕГО? Ты что здесь забыл? Засада. Уйди отсюда, по-хорошему прошу. А то, как в сериале, придется драться.

Но нет. Заглянул и осторожно протискается. Лысиной своей посвечивает. Нарядился еще: брюки, рубашечка. Чего ж галстук не нацепил?

Делаю вид, что не замечаю. Может, сам поймет, что ему здесь не рады, и уйдет? Ну, давай, пойми, пожалуйста. Не нужен ты мне. Мешаешь только, и вообще. Покашливает. Может, он еще и больной? Бациллы тут свои распространяет.

Печатаю с двойным усилием. Хотя мысли о сериале уже переключились на него. Получается что-то типа: «В своем произведении Жора Крыжовнввффф 4кеапит о новмпкзл».

— Привет! Не помешаю?

Уже! Сбил, влез, испортил жизнь.

Молчу. Я же не обязан отвечать. Но и уже не печатаю. Надо будет стирать эту кашу и начинать заново.

— Да я ненадолго, Леш.

— Вам что здесь надо?

— Говорю же, к тебе вот зашел. И потом, что ты выкаешь? Давай на «ты». Зови меня просто — Вадзим.

Аааааааааааа! Help, help, help. Помогите!

— Я занят... ясно?

Ему не ясно.

— Уроки делаешь? О, или мемасики? Хочешь, помогу? Мы с дочкой вместе мемасики придумывали.

Вот и придумывай дальше. Мемасочник.

— Уйдите, пожалуйста! — сдерживаю себя на максимуме.

— Ну, погоди ты. Я только зашел, а ты уже гонишь. Где твое гостеприимство?

Блин, ты тупой? Ты реально тупой, что ли? Мама, тебе сделал предложение тупой мужчина. Прекрасный выбор.

— Классный халат, кстати.

Да пошел ты!

— И вообще, крутая у тебя берлога. Или как сейчас говорят?

Говорят, что кур доят — фольклор от Ба. Кажется, гнилой орех нам попался.

— Никак не говорят. Вы плохо слышите?

— Да вроде нормально. Слушай, я понимаю, ситуация довольно непростая...

Довольно непростая? Жесть, и то мягко сказано.

— И тебе, конечно, нелегко это принять.

— Уйдите, а. Вы мне мешаете.

— Ладно, ладно, Леш. Понял.

Аллилуйя!

— Не кипятись, накипь нарастет.

Ха.

Ха.

Ха...

Стендапер недоделанный.

— Я, говорю, на одну минуту и собирался зайти. Просто отдать хотел. Вот, держи.

И так же, как Ма, из-за спины пакет вытаскивает. Пакет еще максимально тупой, с Дедом Морозом.

— Типа подкупить хотите?

— Да какой... — чуть ли не возмущается он, но, заметив мой взгляд, сознается: — Ну да, да. Чего врать-то? Думал, и правда, может, прокатит.

Если ты не Хоккинг, то не значит, что все такие же.

— Не надо мне ничего. Себя подкупайте.

— Понял, заметано, — вздыхает он.

Ой-е-ей. Расстроился, что ли? Давай вместе поплачем.

— Надеялся, что пригодится тебе, но нет так нет.

Дробовик пригодился бы. Или самурайский меч.

— А что там?

— Набор брашпенов. Ты же вроде рисовать любишь. Хочешь — бери.

Достал, показал. Ну да, хороший такой набор. И правда бы пригодился. Но нет, не нужно мне ничего от тебя, вадзим. Понятно? Стоит тут, улыбается, подмигивает. Сама доброжелательность.

— Я хочу, чтобы вы свалили.

— Ну, что так грубо-то?

А как надо? Обниматься кинуться? Может, за ушком погладить, как кошечку? Цветов сбегать нарвать? Чай-кофе предложить, тату на груди набить «вадим 4ever»? Сказал же, на минуту. Вот и все, пока. Уже целых пять прошли. А он не торопится. Наоборот даже, на кровать садится, опять прокашливается.

— Леш, ты уже взрослый парень.

Допустим.

— Давай как взрослые и поговорим.

Какой разговорчивый...

— Ты уже влюблялся? Подружка есть у тебя?

Нет. Это невозможно. Сейчас, может, еще советы начнутся, как за девочками ухаживать?

— Вы что такой трудный, а? Я занят, я не хочу, понятно?

Как доступно объяснить человеку?

— Сам ты трудный, — опять делает вид, что обижается. — Уже давно бы обсудили всё и всё...

Нечего нам обсуждать. Нафиг мне ты? У меня папа есть. Дурдом какой-то. И он, словно прочитав мои мысли, продолжает:

— Я не претендую на роль твоего отца, его никто и никогда не заменит, по себе знаю.

Знает он. Вот и не надо. Папа вернется.

— Сам с отчимом вырос.

А я не собираюсь.

— Но и чужим человеком быть не хочу. Я люблю твою маму...

Заткнись уже. Я просто затыкаю уши. И все равно долетает про «подружиться», «вместе», «шанс» и «поддержку».

Не понимаю, как это закончить. Долбаный кринж. Вот что это. Просто тупо кричу от отчаяния, и вроде срабатывает. Встает.

— Ладно-ладно. Я понял. Наверное, и правда рановато. Я знаю, ты хороший парень. И опять он знает. Молодец какой. Профессор, эрудит, гений!

— И я правда хотел подружиться, надеюсь, когда-нибудь так и случится.

Не мечтай.

— Пока. Увидимся еще.

И пакет свой дурацкий оставляет. Дед Мороз лысоголовый.

— Для мемасиков. Или что ты там рисуешь?

Ага. Новый роман «Убийство тупого вадзима». Наконец-то дверь захлопывается. Можно выдохнуть, но меня снова начинает лихорадить, так и до успокоительных не далеко. Швыряю пакет об стену. Блин, блин, блин, блин!

Я понимаю, что это надолго. И нам действительно придется часто видаться. Он как грибок в ванной, фиг выведешь... Мам, ну почему нельзя было отказаться? Это же так просто:

«в а д з и м. Маша, ты выйдешь за меня?

М а ш а. Ты что, клюкнулся? Разумеется, нет. Даже не смей мне такое предлагать! У меня муж в космосе, и вообще».

Или даже проще:

«в а д з и м. Маша, ты выйдешь за меня?

М а ш а. Нет».

А она согласилась...

Надо писать про сериалы, настроение на нуле, состояние, будто придавило ро-
ялем или целым органом. И что я делаю? Правильно. Забиваю на все, вытаскиваю
роман и пишу новую главу. А как еще? Оно само рвется наружу.

13

Космический корабль Люка. Люк за штурвалом, управляет кораблем. Тян на-
цепила скафандр и походкой зомби разгуливает по кабине.

Лю к: Ты бы прицепилась ремнем. Входим в астероидный пояс. Будет немно-
го потрясывать.

Из динамика раздается голос Девушки с косой.

Девуш к а с к о с о й: Dragon-21, Dragon-21, прием, Земля на связи, прием.
Как слышно? Ответьте. Прием.

Лю к: Дракон на связи, прием, Земля, прием, слышу вас хорошо.

Девуш к а с к о с о й: Отлично, а то мы уже думали, что вас потеряли. Прием.

Лю к: Нет, все в порядке. Летим согласно курсу, прием.

Девуш к а с к о с о й: Dragon-21, у нас новое распоряжение. Прием.

Лю к: Какое? Прием.

Девуш к а с к о с о й: Согласно распоряжению Вадзила Георгича принято ре-
шение завершить миссию по спасению потерянного экипажа. Прием.

Лю к: Как прекратить? Вы что, рехнулись? А вдруг они живы? Мы не можем
их бросить, мы должны продолжать поиски. Прием!

В а д з и л а Г е о р г и ч: Послушай, сынок. Было потрачено очень много време-
ни, сил и средств. Поисковые работы не могут длиться вечно. У нас еще много дру-
гих миссий и ограничено финансирование. А главное, вы находитесь уже слиш-

ком далеко, случись что — мы не сможем прийти на помощь, а мы ценим каждого нашего пилота. Вы — это главная наша ценность.

Люк: Что за чушь? Вы кто вообще?

Вадзила Георгич: Я — ваш новый руководитель, Люк. Вадзила Георгич. И я приказываю тебе вернуться на Землю. Ты слышишь меня? Это приказ. Миссия закончена. Прием!

Люк: Да идите вы все! Я должен их найти, должен.

Люк отключает связь и тянет руль корабля на себя. Корабль ускоряется, его начинает трясти.

Люк: Держиись! Крепче!

Корабль стремительно набирает скорость.

Люк: Прощай, Вадзилла Георгич.

14

Кое-как заканчиваю обзор, отправляю. Время почти десять. Ужинать не иду. Мама заглядывает в комнату, ловит волну моего хейта и, не сказав ни слова, выходит. У меня, как говорится, все написано на лице.

Нет, так точно не вариант. Нужен план. Уехать? Куда? Деньги, конечно, есть. Но, во-первых, не сказать, что очень много, во-вторых, будут же искать. Листовки по всему городу расклеят. А мне ходить озираться, чтобы не поймали? Такое себе.

К Ба переехать? У нее однушка, и, вообще, она, можно сказать, с ними заодно. Но лучше видеть Ба, чем эти дебилы-устики. Типа из двух зол выбирают меньшее.

Засыпаю. Опять дурацкие сны. Кошмары. То иду по какому-то туннелю или шахте метро, и ее начинает заливать. Вода за пару секунд добирается до самого верха, и я долблюсь-долблюсь в потолок, но бесполезно. То наша школа. Вроде обычный день, а потом всех собирают в актовом зале, и оказывается, что Антон Игоревич — вампир, и он накидывается на меня и пытается укусить. То я маленький и внутри стеклянной банки вместе с квашеной капустой. А снаружи великаны, и они собираются ужинать и ставят эту банку прямо на стол и огромными вилками лезут внутрь, пытаются выцепить капусту. А я всячески уворачиваюсь. То, наконец (и это самый отвратительный сон), я последний волос на голове вадзима. Он подходит к зеркалу, тщательно приглаживает меня и, видимо, даже не понимает, что это не просто волос, а я. И, глядя в зеркало, он что-то приговаривает типа: «Мой прекрасный, мой любимый, единственный волос, спасибо тебе, что ты остался со мной. Я так счастлив, что ты у меня есть, ты лучше всех, ты моя радость и опора».

Просто сюр. Он даже во сне меня преследует.

С утра первым делом звоню Ба. В ванной, чтобы никто не услышал. Воду включаю на полную мощность. Вообще я стараюсь экономить воду (на МКС и в ракетах душа нет), но сейчас-то все оправданно. Идут гудки.

— Лешик? — у Ба удивленный голос. Звоню я действительно нечасто.

— Ба, я сегодня к тебе приеду.

— Когда?

— Ну, не сейчас же. К вечеру, после уроков.

— Хорошо, тесто замешу.

— Да не надо. Ба...

— Ась?

— Я с вещами. В смысле с сумкой.

— Лешик...

- Что?
- Приезжай, — не сразу отвечает она.
- До вечера.

Поняла, что с «орехом» у нас не сложится, хотя мама наверняка ей сообщила уже. Пожаловалась на Лешику, какой он невыносимый. Переходный возраст и все такое. Дело же исключительно в этом.

Возвращаюсь в комнату, осматриваю. Да уж. Переезд — дело непростое. Не очень понятно, что брать. Кресло же я не утащу, например. А проигрыватель? Комп. Книги. Что делать? Оставлять тупому вадзиму? Ага, счас. Тут же каждая вещь, каждый предмет связан с папой, хранит о нем воспоминания.

Даже расческа. Синяя, порядком уже потрепанная, без одного зубчика, широкая. Смотрю на нее, и тут же в памяти всплывает, как мы с папой устроили концерт для мамы на Восьмое марта. Мне было лет пять. Я надел свитер крупной вязки (Ба свя-зала), затем папа нацепил мне на голову парик и включил на проигрывателе пластинку Валерия Леонтьева. Песня «Дельтаплан».

Меж нами памяти туман,
ты как во сне, ты как во сне.
Наверно, только дельтаплан
поможет мне, поможет мне.

Мама сидела в этом самом кресле, хлопала и улюлюкала. Я вышел на середину комнаты, поклонился, вытащил из кармана расческу и начал петь в нее. То есть я не пел, а открывал рот, как под фонограмму, и кривлялся. Слов я практически не знал, поэтому и не попадал в слова, но маму это только сильнее веселило. А на припеве вышел и папа в халате, постоял немного, а затем начал танцевать «веревочку». Ну, это смешной танец, когда руками перебираешь по воздуху, будто лезешь по канату, и подпрыгиваешь по очереди, задирая ноги. А у папы получался вообще угар. Он тот еще хореограф. Мама потом так и сказала: «Спасибо, любимые, номер просто бомба». Там и другие песни были: «Казанова», «Исчезли солнечные дни», «А все бегут, бегут». И мы с папой бежали то медленно, то быстро и никак не могли «добежать». В конце мама сказала, что это был лучший подарок, круче цветов или духов. И в этот момент папа как раз собирался подарить ей букетик мимозы и флакончик «Chanel № 5». Было неловко, но очень смешно. А потом мы вместе сидели в кафешке, я рубился в «Angry birds», а эти двое держались за руки, как школьники, ворковали и хихикали без остановки. Мама была очень довольна, просто светила от счастья...

Или картина Ван Гога «Звездная ночь». Они тогда рассорились чуть ли не до развода. Мама просила выделить время и повесить репродукцию на стену. Долго просила. Неделю, если не больше. Папа обещал-обещал, но не вешал, не помню почему. Может, просто не любил Ван Гога и считал, что ему не место в детской комнате, неважно. Короче говоря, мама закатила скандал, даже грохнула пару тарелок для убедительности. А я тогда так перепугался, что сам схватил молоток и побежал вешать. Залез на стул, колочу стену. Про гвозди я даже не подумал, вернее, не знал, что они нужны. И вот они ссорятся в соседней комнате, а я со всей силы колочу по обоям, чтобы погромче было. Услышали, прибежали. И в этот момент я как по пальцу себе саданул. Как завизжу, конечно. Они ко мне кинулись. Мама давай под кран ушибленный палец совать, ощупывает меня всего, вздыхает, папа за льдом в холодильник побежал, в тряпку засунул, маме протягивает. Боль быстро прошла, а вот ноготь

надолго почернел. Я потом в саду им всех пацанов и девчонок пугал. Ну, и Ван Гог почти тут же на стене оказался, на этом самом месте.

Но картину я точно с собой не попру. Но и чтобы вадзим на нее смотрел, не хочу. Вообще ему тут делать нечего. В квартире и тем более в моей комнате. Хоть табличку вешай: «Разрешено всем, кроме лысых усачей со странными именами» — или так: «Вход вадзимам строго воспрещен».

Ладно, пока соберу самое нужное. Остальное потом. Пока что загружаю очередные учебники в рюкзак. Вылетаю в коридор. На кухне никого. Завтрак на столе. Тут же начинают течь слюни. Нельзя есть, это будет как поражение. Но не могу удержаться. Один маленький кусочек. Организм требует. Нафиг нам вообще это чувство голода? Нельзя, что ли, было как-то иначе придумать, как силы восполнять? Создатель, кто бы ты ни был, дизлайк тебе за голод.

Ну ладно, маленьким кусочком не наестся. Съедаю половину, а рядом стоит накрытая тарелка с блинами. Ма, это подло. Два пористых треугольника вслед за глазастыми овалами отправляются в рот. Кажется, я объелся.

Тепло, как сгущенка, медленно растекается по всему телу. Слышится шорох, кажется, Ма открыла дверь. Пулей выскакиваю в коридор, за секунду обуваюсь, на ходу натягиваю ветровку и оказываюсь в подъезде.

В школу захожу за три минуты до звонка. Кажется, так поздно я ни разу не являлся. Первой стоит физика. Контроша. Но к ней я готов. Только мысли опять не дают сосредоточиться. Трачу на каждую задачу раза в полтора больше времени, чем обычно. А еще надо помочь Тане. Хорошо, что у нас одинаковый вариант. Замечаю ее беспомощный взгляд, жестами показываю, что все ок. Незаметно передаю ей листок с решением. Намеренно делаю две элементарные ошибки, а то сразу будет понятно, что решала не она. А после бесцельно смотрю на доску.

На перемене Таня проходит мимо меня, останавливается, бросает грустное «спасибо», и больше за весь день мы не говорим друг другу ни слова. Я грущу, она грустит. Каждый погружен в свои мысли.

Как назло, перед последним уроком в класс заглядывает Галина Федоровна.

— Восьмой «Б», после литературы не расходимся. Проведем классный час.

Я пытаюсь отпроситься, меня же все равно никогда не ругают, а про остальное Лезова скинет в чате. Но Галинфа напрягается, не хочет отпускать.

— Леша, я как раз хотела с тобой поговорить.

Ну, елки... И чего все со мной захотели разговаривать? Я что, особенный какой-то? Может, еще посоветуете обратиться к психологу?

— У тебя все в порядке?

— Как у морковки на грядке.

Что за выражение? Само придумалось или опять народное творчество от Ба? Даже не вспомню. В любом случае такой ответ намекает на то, что совсем не в порядке.

— Ты какой-то странный стал в последнее время. Что-то случилось?

Я вру, как могу, что нет, что это просто Луна в Тельце, ретроградный Меркурий, магнитные бури плюс дополнительные нагрузки. На оценки же практически не повлияло, а для Галинфы это главный аргумент. Пусть хоть в кабинете полиции состоит на учете, лишь бы успеваемость не понизилась.

— Но ты, если что, не молчи, мы же как семья и всегда готовы выслушать и прийти на помощь, — говорит она и едва сама не плачет — так растрогалась.

Это уже не семья, это уже секта какая-то. Но кто знает, возможно, вскоре только эта «семья» у меня и останется. Тьфу, тьфу, тьфу. Не хочу про такое думать. Глав-

ное, что в итоге от классного часа удастся отмазаться, и сразу после литературы на всех парах мчу домой.

Мама нет, она у себя в клубе. Достаю чемодан с антресоли. Запылился. Сдуваю пыль, чихаю. Давненько я никуда не ездил. Даже летом не укатил в лагерь. Работал. Ноутбука нет, а с компом далеко не уедешь. Мама всячески пыталась сплавить, мол, лето же, как можно дома сидеть? Можно, раз сидел, хотя, врать не стану, было сложно. Летом хочется гулять, плавать в речке, рассекать на велике, прохладиться, расхаживать по лужам, есть мороженое, валяться в траве, читая какого-нибудь Толкиена или Пратчетта, загорать, лазать по крышам и много чего еще, но уж точно не писать про отлично работающие приложения банков или реально избавляющий от перхоти шампунь. Но это когда нет цели.

Ладно, неважно, лето давно прошло. Сгребаю все, что понадобится в первую очередь: белье, одежду, роман, фото папы, учебники. Комп придется забрать завтра, я же не уташу столько за раз.

Сам себя подгоняю, лишь бы успеть до ее прихода. Вроде все. Захожу в приложение. Черный «киа-рио» через десять минут. А что так долго? Ладно, как приедет, так приедет. Пока в очередной раз осматриваю комнату.

Пока, кресло, пока, абажур, проигрыватель. Грустно оставлять их. Внутри начинает щемить. Да как так-то? Что за несправедливость, вообще? Почему кто-то нагло врывается в твою жизнь без разрешения, топчет все, что тебе дорого, и, можно сказать, безжалостно выпинывает на улицу? Он даже в роман влез, который совсем про другое. Кому я что плохого сделал, что вселенная решила мне отомстить?

Таксист приезжает лысый и тоже с усиками. Только у него почему-то вся шея красная, и сам он низкий и толстый. Зовут Вадим Волненко. Вы сговорились, что ли? Это знак или что? Хоть поездку отменяй. Он еще и говорливый. Начинает диалог с погоды, переходит на цены, тупых пешеходов, тупых водителей, тупых пассажиров, тупых врачей, тупых продавцов, ленивую и наглую молодежь, дурацкий ковид. А это только половина пути. Смотрю на рейтинг. 4,85. Сразу не обратил внимания. Такие монологи — обязательная часть поездки с ним. Ну, такое... Но вдруг понимаю, что сейчас меня бесят абсолютно все. А что если и у него совсем внезапно появился отчим? Какой-нибудь восьмидесятилетний Эраст Альбертович или Аристарх Вениаминович? Что за слово такое тупое? Отчим. Жалкая подделка отца. Что в фонетике, что в жизни. Так же как «Абибас», «сниперс», «samzong», и «ttc-ttc». Назвали бы своими именами — «папазаменитель», так больше по смыслу подходит.

Молчу, перебарывая желание расспросить Вадима про отчима. Вдруг я за сорок буду таким же? Не буду. Я же улечу на Марс. Теперь хочу не только к папе, но и подальше от вадзима. У миссии появляется двойной смысл.

— Вы приехали, спасибо за поездку, не забывайте свои вещи в салоне автомобиля, — извещает знакомый голос «Алисы».

Да уж, не хотелось бы что-то забыть. Это точно будет с концами. Выгружаюсь минуты три и едва успеваю захлопнуть багажник, ворчливый Вадим срывается с места. Кажется, сегодня рейтинг у него понизится еще на несколько сотых...

К счастью, лифт у Ба без каких-либо ароматов. Загружаюсь, еду на четвертый этаж. Ба уже караулит в подъезде. Но первое, что я чувствую, до боли знакомый аромат ватрушек и наваристого борща. Ба из тех людей, которые начинают варить борщ сразу же, как опустеет кастрюля от предыдущего.

— Сколько всего набрал. Как же ты тащил? — всплеснув руками, восклицает она. Кидается помогать.

Заносим рюкзак, чемодан, четыре тяжелых пакета. Действительно, только сейчас понимаю, как много у меня вещей. И это даже не половина. У Ба и так маловато места. Одна столетняя стенка чего только стоит. Полкомнаты сразу занимает. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Разместимся. Буду у окна на диване. Здесь же поставлю комп.

— А с руками что?

— Да на физре упал. Не страшно.

— Ну, с приездом, — говорит Ба и крепко обнимает меня, как будто мы не делились целый год, а не три дня.

Долго обнимает. Это даже подозрительно, то есть просто непривычно. Не так часто мы это делаем. Но мне приятно, правда приятно. Возможно, объятия — как раз то, чего сейчас мне и не хватало. Конечно, Ба как бы с ними заодно, но если выбирать между мной и тупым вадзимом, она же явно выберет меня. Ну, правда же? Кто он ей? Это как в «Простоквашине», только там папа говорил: «Между тобой и котом я выбираю тебя, я тебя давно знаю, а этого кота впервые вижу». А тут я так-то ее внук, родная кровь... И мне становится чуточку легче. Хорошо, что есть Ба и можно к ней переехать, иначе был бы полный абзац.

— Ну, хватит, хватит, — сама себя поторапливает Ба, — обедать. Борщ стынет. Мой руки.

Я не возражаю. Умираю от голода. И хотя вечером надо бегать, съедаю полную тарелку супа со сметаной и целых две ватрушки. Желудок тут же начинает петь благодарные арии. Так и слышу его голос: «Ну наконец-то. Чел, где ты был все это время?» Ну сорян, сам видел, не до тебя было.

Разбираю чемодан.

— Ба, а одежду куда?

— В шкаф, куда ж еще?

Действительно глупый вопрос. Но шкаф у нее вроде под завязку. Она тот еще Плюшкин.

— У тебя там все забито же.

— Я освободила.

Открываю дверцы. Ну да, стало заметно свободнее. На целых три малюсеньких вешалки.

— Мне не хватит.

— Не хватит, в комод уберем.

Вроде частенько гостил и ночевал у Ба, но не задумывался, что жизнь в однушке может оказаться настолько неудобной. Ладно, все равно лучше, чем вадзим. Хотя что угодно на свете лучше, чем вадзим, даже апокалипсис.

И тут до меня доходит. Комп я привезу. Но у Ба же нет Интернета. Фиговенько. Говорю ей:

— Я на завтра мастера вызову.

— Какого мастера?

— Интернетчика. Интернет тебе установит.

— Да зачем он нужен, Интернет этот ваш?

Тебе, может, и незачем, а мне без него никуда.

— В «Одноклассниках» тебя зарегаем, — пытаюсь говорить крайне убедительно, — будешь с одноклассниками переписываться, пока я в школе.

— Так мы и так каждый день у подъезда видимся все, — хмыкает она.

— Так уж и все? Целый класс в одном доме живет? — пытаюсь шутить. — Или вас пять человек выпускалось?

Молчит.

— Ну, не знаю, — продолжаю я, — сериалов тебе накачаем. Этот твой «Жесткий Стамбул»

— Жестокий, — вроде оживилась.

— Ну да. Жестокий. Или «Поле чудес» там.

Точно, это «Поле чудес» она, сколько себя помню, смотрит. Молодец, Леша, нащупал весомый аргумент.

— Так их и так по телевизору показывают, — все еще возражает Ба.

Я задумываюсь. Понятно, что согласится в любом случае, но надо так, чтобы она сама поверила, что без инета ей ну никак. Ага, вот:

— А так в любое время сможешь, как захочется. И без рекламы, и любой выпуск. Захотела, и раз тебе — «Крутите барабан». Я же рассказывал уже.

— Ой, что ты хочешь от меня? — машет рукой она. — Доживешь до моих лет, я на тебя посмотрю, что у тебя с памятью будет.

И она слово в слово уже так отвечала.

— Так я хоть помню, что «Поле чудес» каждую пятницу идет, а так еще запутуюсь. Каждый день за пятницу считать начну.

А это что-то новое. Пока что вроде нет признаков деменции. Тьфу-тьфу-тьфу.

— Не начнешь. Это же с компа, а не с телика.

— Ох, не надо мне ваших интернетов, еще сломаю чего, не дай бог.

— Не сломаешь. Я научу.

— Ай, — машет рукой, — ну тебя. Садись лучше уроки делай.

Не совсем, конечно, убедил, но будем считать, что сдалась. Завтра вызову мастера. А пока забиваю комод до отказа и сажусь за домашку. Ба уходит на кухню, закрывает дверь, включает телевизор. Как всегда, чуть ли не на полную громкость. Типа мне не мешает. Мешает. Нацепляю наушники, открываю алгебру. Задачи несложные, но опять не могу сконцентрироваться. Думаю о кресле. Я обычно сажусь в него, качаюсь минуты три, настраиваюсь на работу и только потом делаю уроки. Это уже ритуал. И мне как-то не по себе, надо бы скорее перевезти сюда кресло. Интересно, а как я буду на Марсе? В корабль же явно не позволят взять мебель.

Так, все, забыли. Нет и нет его. Зато и мамы нет. Пусть тоже выбирает, как в «Простоквашине», кто ей дороже.

И тут звонок в дверь. Подхожу к глазку. Мама, собственной персоной. Накаркал. Стоит хмурая, как небо во время шторма.

— Открывайте!

Вот надо было вконец настроение испортить. Не открою. Звони хоть до посинения. Она и звонит. Но не синее. Ба выходит из кухни.

— Лешик...

— Ладно-ладно, открываю.

Мама решительно проходит в комнату. Дышит глубоко и громко. Ба виновато разводит перед ней руками. Сердитый взгляд впивается и в меня. Хочется отвести глаза, но нельзя. Это слабость, это значит, что я признаю ошибку. Но никакой ошибки нет. Я не хочу так жить, имею право. Вспоминается мем «тварь я дрожащая или право имею?».

— Так, путешественник, давай собирайся обратно, поедем домой.

Ага, счас. Поворачиваюсь к Ба. Получается, все же предатель? Зачем тогда соглашалась приютить?

— Ба, я же просил никому не рассказывать.

— Леш, это же мама, она волнуется.

Волновалась бы, эта сцена никогда бы не произошла.

— Ну, Ба...

Шмыгает носом. Мама на нее цыкает. Так-то Ба лучше не нервничать.

— Закончили с театром. Тоже мне загадка века. Или ты думал, я не замечу пропажу? Думал, да ничего я не думал. Сейчас понятно, что реально очень тупо. Дебильный план. Провал века. Молчу, не знаю, что ответить. Но буду держаться до последнего.

— Заметила, сразу бабушке и позвонила.

Ба теперь передо мной разводит руками. Ну да, что она, врать, что ли, будет? Хотя, наверное, могла бы.

— Все, давай собирайся.

— Не поеду я. Понятно?

— Да что ж такое-то, а? — и неожиданно меняет тон, говорит ласково, как с малышом каким-нибудь. — Лешик, сыночек мой. Иди сюда. Ну не бойся.

— Я и не боюсь, просто не хочу.

— Господи. Переходный возраст, что ли? — снова закипает Ма. — Никогда себя так не вел же.

И лезет обниматься. Сегодня не всемирный день объятий. Я вырываюсь. Не надо мне этого. Хватка у Ма крепкая. Чуть не рву футболку. А еще улавливаю запах успокоительного. Пустырник или корвалол, что-то такое. Не сильно их различаю. Значит, тоже нервничала. Когда корабль папы пропал с радаров, этот неприятный кисловатый запах полгода или больше не выветривался у нас в квартире. Вот бы это были страдания по пропавшему вадзиму, но нет же...

— Не надо. Хватит! Прямо как с маленьким.

— Да вот именно что, как маленький, и ведешь себя, — опять спокойно и ласково говорит и гладит по голове. — Вымахал с меня почти, а концерты устраиваешь.

Смотрю на Ба. Она в растерянности. Только, как зрители на теннисном корте, крутит головой из стороны в сторону, а мы с Ма перекидываем друг другу мяч претензий, пока кто-то не попадет в сетку или в аут. Ну и, конечно, не сильно приятно, что наши «разборки» происходят у нее на глазах, в ее квартире. Хотя обычно так и происходит, две воюющие стороны ведут переговоры на нейтральной территории. Но ни о каком перемирии и речи быть не может.

— Ничего я не устраиваю. Я отдельно жить хочу, — мяч отправляется на сторону противника.

— Вот будет тебе восемнадцать, езжай хоть в Новую Гвинею, — хлестким ударом возвращает мяч на мою сторону Ма. — А пока что ты несовершеннолетний. Ты мой сын, и я за тебя отвечаю.

Засада.

— Бабушка пусть за меня отвечает, — пусть не так убедительно, но все же дотягиваюсь до желтого попрыгунчика и бью в ответ.

— Ну что за глупости-то?

— Марусь, — неожиданно вклинивается в поединок Ба. — Может, и правда пусть остается, поживет, пока не надоест...

Да-да, спасибо, бабуль! Еще бы убедительнее это предложила. Но вдвоем, может, получится продать. Смотрю на Ма, даже бровью не повела. Почему я должен слушаться маму, а она свою не обязана? Очередной вопросик...

— Ну что ты, боишься, что будет все по-другому?

При чем тут это? Мне нафиг не сдался какой-то чужой мужик. У меня есть папа.

— Ничего не поменялось, — один за одним посылает на мою половину корта мячи она, — ты по-прежнему мой любимый и единственный сыночек, сынулька, Лешик.

— Фу, блин. Хватит сюсюкать, — я на пределе. — Езжай домой. А я тут останусь. Молодчик. Так ее. Главное — говорить короче и решительнее.

— Ок, — с необъяснимым спокойствием отвечает Ма. — А ты не подумал, что элементарно можешь стеснить бабушку?

А, так вот в чем дело! Поединок не закончен.

— Она, понятно, не откажет, ты же внук, но ты и, на секундочку, уже юноша, а она женщина, и у нее должна быть отдельная, своя комната, которой ты сейчас пытаешься ее лишить.

Блин, весомый аргумент, но Ба снова подставляет свою ракетку.

— Да чего мы, вместе не разместимся, что ли?

— А у тебя есть СВОЯ отдельная комната. И никто тебя не гонит из нее, — говорит непробиваемая Ма. — Не хочешь общаться, не надо. Запрись в ней и сиди сиднем хоть сутками, никто тебе слова не скажет, но бабушку-то зачем стеснять?

Лицо Ба вытягивается от удивления. Такой атаки она не ожидала и, будто поняв, что у меня нет шансов в этом матче, переходит на сторону соперника.

— Леш. Действительно, я ж храплю и поясницу тройным одеколоном мажу, телевизор громко смотрю, а тебе учиться надо, уроки делать.

— Вот именно, ты все уроки сделал? — довольная победой, снова повышает тон Ма.

— Ненавижу! — единственное, что могу выдать из себя, но тихо и неубедительно.

— Так, давай быстрее собирайся, тебе уроки еще делать. Ну, давай, давай, не тяни время, — победителей не судят, победителям дозволено все. Вот она уже и командует вовсю.

Блиииииииин. Нехотя собираю учебники, подхожу к комоду, вытаскиваю все обратно. На душе так тоскливо. Как будто ночь, как будто никого, а ты сидишь один на крыше или у окна, смотришь на луну, и только где-то далеко слышно, как тихо и печально играют скрипки. Много-много скрипок. Грустно-грустно играют.

Ма же, как надзиратель, наблюдает за моими сборами и продолжает разговор с Ба.

— Мам, извини за беспокойство...

— Да какое беспокойство? Ты чего, перестань, — кудачет Ба. — Ватрушек возьмете?

Самое время для ватрушек. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу.

— Ты опять на целый табун наготовила? — ворчит Мария Андреевна Климова.

— Да немножечко совсем, — отвечает Кизикова Анна Сергеевна и выносит, как всегда, свой желтый тазик, набитый до краев ватрушками.

Мария Андреевна закатывает глаза.

— Свеженькие, — поясняет Анна Сергеевна.

С отвращением смотрю на чемодан. Скорей бы эти долбанные восемнадцать. Скорей бы 2029 год. Почему так долго? Когда уже изобретут машину времени?

— Собрался? Пошли, — вовсю уже командует она.

— Пока, Ба.

Молча перекрестила и качает головой.

Двери лифта с грохотом открываются и «проглатывают» нас вместе с чемоданом. Стоим вплотную друг к другу, нас разделяют ватрушки, с трудом поворачиваясь спиной. На стенке написано «Юра Б., чемпион по нырянию в бетон». Слышу, как она вздыхает, и наверняка тоже качает головой.

Леша-Леша.

Я тоже так могу: «Маша-Маша», но не отвечаю. Думаю, где и когда проходил чемпионат мира по нырянию в бетон...

15

Выходим на улицу. Первое, что вижу, — вадзим стоит у машины. У своей тупой старенькой «мазды». Замечает нас, подсакивает к женщине с тазиком и пакетами.

— А мы с ватрушками, — говорит она.

Усач хватает пакеты, бежит к багажнику. Помощник... Мне тоже хочется бросить чемодан и убежать. Тем более я сегодня не бегал. Неважно куда, просто сорваться и нестись по дороге, пока хватит сил. Просто бежать, просто бежать... Еще немного — и действительно сорвусь. Но нет. Бессмысленно. Догонят, поймают, вернут. Никому ничего не докажешь. Стою. Вадзим подходит ко мне и тянет руки к чемодану. Вот так он и прибрал нас к рукам. Отдаю, куда деваться?

Женщина подходит к пассажирскому месту спереди, по-хозяйски открывает дверцу, усаживается. Я офигеваю. Смотрит на меня.

— Так и будешь стоять?

А можно? Лысый открывает мне дверцу. Меня сейчас вырвет от такой любезности. Затем усаживается на водительское место, включает дворники. Черные рогатинки ритмично скользят по стеклу. Им, как и мне, не вырваться, не убежать дальше стеклянного прямоугольника. Вадзим сигналил, поторапливает.

Забираюсь в салон и со всей мощи хлопаю дверцей. «Мазда», конечно, не винувата. Но я протестую.

— Ты сдурел? — вскрикивает она. — Машина развалится, хлобыстать так.

— Да ладно, она крепкая, — бесяво улыбается усач, и мы выворачиваем со двора.

Ватрушки едут рядом со мной. Я так зол, что хватаю одну и быстро жую. Кормить еще всяких такой вкуснотой. Не смотрю в его сторону, пялюсь в окно, там серый, унылый пейзаж. Как и вся моя жизнь.

Он включает радио. Из динамика доносится:

Don't worry, be happy.

Спасибо, Бобби Макферрин, очень в тему...

16

Бесит.

.....

Аааааааааа

Блодпорпноаеангпанпамгнаенакнгпшнаке5кеанпнгеаеаепаква

Усики эти вонючие...

17

Захожу в комнату. Бросаю вещи. Первым делом баррикадирую дверь. Спинка стула встает ровно на уровне ручки. Как будто на заказ делали. Бросаю чемодан посередине. Четвертый раз за день возиться с ним — это ту мач. Говорю же, не посидел в кресле перед началом домашки, и вот, пожалуйста. Нельзя нарушать ритуал. Залезаю в кровать прямо в одежде. Лежу калачиком и смотрю в потолок. Потом смотрю видео с «Вояджера-1» и «Вояджера-2». Сколько они видели звезд, невероятно. Совсем в детстве я считал, что снежинки — это звезды, которые падают к нам с неба. И что там, наверху, они кажутся намного больше, а не наоборот и что если проглотить сне-

жинку, то она не растает, а так и будет светиться внутри тебя. Разумеется, по ночам. И вот однажды я проглотил, наверное, десять, если не больше, снежинок. И стал ждать, когда стемнеет. Но ничего внутри меня не светилось, тогда я подумал, что нужно дождаться, когда будет совсем темно, когда закончится «Спокойной ночи, малыши», но и тогда никакого свечения не появилось. Я сильно расстроился, разнылся, как девчонка. Папа это увидел и стал расспрашивать, что не так. Я сначала побоялся рассказывать, думал, он будет ругаться, что съел снежинки, но потом все же признался. Он так смеялся, сильнее, наверное, чем на концерте Алексея Щербакова. А мне было стыдно, но сейчас тоже без улыбки не могу вспоминать эту историю.

18

Космический корабль Люка. Люк снова за штурвалом, управляет кораблем. Его прилично трясет. Тянь вцепилась в кресло, и все равно ее шатает из стороны в сторону.

Люк: Я отключил связь. Теперь не должны потре-воооо-жить.

Тянь: Тя. Тя, тя-тя.

Люк: Вырулим куда-нибудь.

Люк умело управляет штурвалом, корабль выходит из зоны метеоритов, полет вновь становится плавным. Люк смотрит в мониторы, затем поворачивает голову направо. В космосе недалеко от их корабля пролетает «Вояджер-1».

Люк: Привет тебе, о «Вояджер №. Вот так встреча! Столько раз про тебя читал и смотрел, и вот пересеклись. Можно сказать, вживую. (Тянь.) Гляди. Видишь тот летающий аппарат?

Тянь: Тя, тя, тя, тя, тя, тя...

Люк: Это «Вояджер».

Тянь: Тя.

Люк смотрит в мониторы. Камера показывает задний обзор. Отчетливо видно, что за кораблем Люка гонится еще какой-то огромный космический аппарат.

Люк: А это еще кто?

Тянь: Тятяття тя?

Люк: Вряд ли за тобой, но это точно погоня, попробую оторва...

19

Не дописываю главу. Тупо вырубаюсь. Потом как-нибудь добыю. Так и не бегал, два дня почти не работаю. Так нельзя. Буду теперь выходить только в школу, бегать, гулять с Ричи и Чарли и в туалет, конечно же. Кстати, о птичках, то есть собачках. Надо как раз торопиться, гулять. Хорошо, что не успел сообщить о переезде, а то уже кто-нибудь другой выгуливал бы этих шалопаев.

Осторожно выхожу в коридор. Вроде тихо. Лысого товарища, надеюсь, нет? А то если он тут ночевал... Нет, не хочу думать про это.

Как назло, песики долго не могут настроиться. Бегают, оглядываются, словно стесняются, гоняются друг за другом. Ну, камон! Поторапливаю их. Так они и послушались... Пора бы уже смириться с тем, что с моими желаниями никто не намерен считаться.

— Даю одну минуту! Или вы сейчас же присядете у или под ближайшим кустиком, или еды вы сегодня не получите. Ни крошки! Ясно?

Подействовало. В школу мчусь на всех парах. Мне и раньше, в общем-то, было там неплохо, а теперь это чуть ли не единственное место, где можно расслабиться и на время забыть обо всей фигне, что на меня навалилась.

И тут, будто бы в продолжение размышлений, слышу знакомый голос. Таня. Вот бы забить на все-на все и рвануть с ней куда подальше. Вместе. На Марс тот же самый. Нет, лучше даже совсем вдвоем, чтобы больше никого. Но разве она поедет?

— Я не знаю, че с контрольной по матише делать, — переводит она тему. — Поможешь?

— Да пофиг мне сейчас на эти уроки...

Не то чтобы совсем пофиг, но правда подбешивает, что Таня из-за них сейчас парится. Тем более что я всегда ей с контрошками помогаю. Можно подумать, теперь перестал бы. Чисто из вредности хочется и ей как-нибудь напакостить. Наказать, так сказать. Пусть поволнуется. Даже не спросила, как я, чего...

— Фига ты дерзкий стал. Что совсем... с Вадзимом этим?

О, напросился. Отличный вопрос. Теперь выслушивай.

— Да, вообще. Я из дома свалить хотел.

— В смысле?

— Ну, к бабушке. Насовсем.

— А вы что, не вместе живете?

С чего бы? А, да, точно, она же приходила, когда Ба у нас оставалась.

— Ну нет, — разъясняю я. — Она отдельно, в однушке.

— Да ну, в однушке неудобно вобще.

— Вот и мама так же сказала, — горько вздыхаю я. — Пришлось, короче, домой обратно ехать. А я не могу там больше. Еще и смотрит так на него... Парочка. Гусь да гагарочка.

— Че за стихи? — удивляется Таня.

— Да бабушка так все время раньше говорила. Влюбленные, типа.

Про Ба можно отдельную страничку завести. Или сразу сборник издать. «Фразы и поговорки Анны Сергеевны Кизиковой».

— Прикол. А мои, наоборот, вообще в пух разругались. Папа такой: «Ой, не знаю, че делать». А мама взяла и на развод подала.

Мы уже практически людей клонируем. Роботы не сегодня-завтра по улицам расхаживать начнут, цифровое сознание. ИИ книги пишет, картины рисует, с онкологией почти уже можем справляться, но отменить разводы, научить людей жить «в мире и согласии» — это не к нам, это на грани фантастики. И только в свадебных клятвах. М-да уж...

— Сочувствую.

— Угу. Так что мне на уроки теперь тоже класть, — пинает ногой невидимый мяч Таня. Глаза у нее мегагрустные. Большие, выразительные, как у героинь аниме. Ну, разве что посмотрят такие (Таня-то у них супердочка, почти уникум, хорошистка, спортсменка и вообще бодрая): нельзя, мол, такое чудо нормальной семьи лишать.

— Может, передумают еще? — пытаюсь ее приободрить.

— Не, — крутит головой она, — люди за тридцать редко передумывают. Ма себя мучить не хочет. Я, говорит, как птица в клетке, ты обламываешь мне крылья, ты меня душишь. Но у нее по ходу просто свой кризис. Классическая ситуация. Типа не реализовала потенциал, не нашла себя, закопалась в быту и тэ пэ. Начала за феминизм продвигать. Мол, все из-за токсичной маскулинности, «абьюзеры волосатые», «конченные сексисты», «тупые семяносители». Хотя папа ее никогда вроде не шеймил. Сама от карьеры отказалась.

Я слушаю, не перебиваю. У нас в классе, кажется, ребят семь пережили развод родителей. Причины, в общем-то, одни и те же.

— Ладно, че тебя грузить? Уже все сделано. Главное, чтобы меня делить не начали.

— Это да...

Представляю, как родители делят Таню. Папа тянет в одну сторону, мама — в другую, пока Таня не рвется на части. Это как с караваем на свадьбе, кто больше оторвет.

— Короче, на Марс можем вместе полететь. Еще один билет найдется? — вдруг сама спрашивает Таня.

— Наверное...

Опять напрямую не могу сказать. Уау, круто! Ну конечно, полетели!

— А я все равно сбегу.

— Куда?

Вот-вот, Леша, куда бежать-то?

— Да пофиг... В Москву, в Америку. В хостел хотя бы, — убеждаю скорее самого себя.

— Кто тебя туда без паспорта пустит?

Ну так-то да. Хороший вопрос.

— Может, договорюсь, — но снова не сильно уверенно предполагаю я.

— Да никто связываться не будет, — машет рукой Таня.

— Что за жесьть вообще? — вздыхаю я. — Это что, мне еще полгода минимум ждать надо?

— Тип того. А свадьба когда?

— Да скоро. Месяца через три.

— Ну, может, передумают.

Если такое случится, обедаю этот день в кружочек и буду каждый год как самый главный праздник в жизни отмечать.

— Да не передумают. Сама же сказала.

— Это да, — соглашается Таня. — Вряд ли.

Оба грустно молчим. Каждый о своем. Кажется, только что прозвенел звонок. Даже с улицы слышно.

— Да пребудет с тобой сила! — цитирует старый известный фильм «Таня».

— Ага. Буду, значит, работать по максимуму, — делюсь уже планами я. — Паспорт получу и свалю сразу.

— Че там роман твой, кстати? Почитать дашь?

— Нет.

— Не очень-то и хотелось, — обижается она.

Ну, сорян. Там уже Тянь. Такое точно не стоит показывать.

— Ну, может, потом, — ради приличия обещаю я.

— Ладно, го на уроки.

— Го.

20

Уроки проходят довольно скучно. На английском только включаюсь по полной. Вдруг свалю куда-нибудь за границу. В солнечную Португалию или снежную Исландию. Ну, и в космической экспедиции без английского никак. На переменках немного шутим с Таней. Рядом с ней спокойнее и приятнее. И вообще, вместе трудно-сти намного легче переносятся. Сегодня она еще разговорчивая, в последнее время — это редкость.

Регистрируюсь на очередном ресурсе для фрилансеров и даже успеваю выполнить пару новых «голосовалок». К счастью, поток конкурсов и желающих их выиграть не иссякает. А уж про честную победу можно и вовсе забыть.

После уроков прощаемся на крыльце.

— Может, ко мне? — предлагаю я.

— Да ну, мешать буду. И мне на басик, — отказывается она.

Ладно, не судьба.

— Не кисни, — хлопает по плечу.

— Ты тоже, — хлопаю в ответ.

— До понедельника.

— До понедельника.

Только сейчас соображаю, что сегодня суббота и завтра в школу не нужно. Значит, можно работать допоздна и не бояться, что не выплусь.

Медленно иду к остановке. Ветер подталкивает в спину, поторапливает. Даже стихии уже против меня. Спасибо, мир. Не хватает только дождя. Вскидываю голову, небо затянуто тучами так же плотно, как кровать покрывалом. Стихи стихии стихли — крутятся в голове. Вот только в рифму я еще не писал.

Я стойкий оловянный солдатик,
Стою на своем, и точка,
Вместо мундира халатик,
Не пули в ружье, а листочки.
Меня отовсюду гонят,
Не место тебе здесь, ты лишний,
Завис, словно в мертвой зоне,
Шумел бы ты, ветер, тише...

Не очень понимаю, что это... Типа грустно, когда ты один против всех? Нет, я этом точно не буду. Да и стихи не сильно люблю. Поэтому придумал и забыл. У нас, кстати, Лезова стихи пишет, выкладывает даже где-то в Интернете, в конкурсах участвует, я, говорит, хочу, как Вера Полозкова¹. Но это не мое.

Автобус приезжает забитый до отказа, втискиваюсь на последнюю ступеньку. Дверь захлопывается, и меня прижимает так, что одно лишнее движение — и внутри все просто полопается. Небо трещит от взрывов грома. Крупные капли дождя барабанят по крыше и стеклам. Хотя бы дождь мне пока не страшен.

21

Дома никого. Эти двое в студии. Танцоры-хореографы. Сушусь, греюсь чаем, обедаю. Уроки. А дальше работа-работа-работа.

Таня присылает в вк какую-то грустную песню то ли Адель, то ли Билли Айлиш, не сильно разбираюсь. Шлю ей в ответ «ангелов», надеюсь, заценит. Она присылает смайлик «класс». Сам надеваю наушники и включаю погромче. Альбом «I-Empire» 2007 года. Для романа такая музыка лучше подходит, но ничего, главное, что я в ней растворяюсь и печатаю, ни на что больше не отвлекаясь. Первый заказ — отзывы, второй заказ — отзывы, третий — отзывы. Сегодня день отзывов. Ну, ок. Только деньги не особо быстро накапливаются.

Зубная электрощетка. Не царапает эмаль, чистит аккуратно, вибрирует хорошо, за такие деньги — просто огонь. Рекомендую. — Сделано.

Кафе «Комадей». Шикарная кухня. Отличные цены. Красивый дизайн. Шустрые и вежливые официанты. Были приятно удивлены обслуживанием и атмосферой. Меню разнообразное. Однозначно придем сюда еще, и не раз.

¹ Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Сделано.

Роман Кирилла Рябова «Дирижабль». Интересно написано. Читать было легко. Яркий язык, интересные персонажи. Давно слежу за этим автором и ждал выхода этой книги. Автор не повторяется, и это хорошо. В отличие от автора рецензии, хотелось добавить мне.

Сделано.

Подписываюсь на какого-то финансового аналитика в дзене, затем в телеграм, затем на ютубе и рутубе. Осталось только взять у него автограф и повесить на стену. Зато просто и быстро выполнить. Затем берусь распознать плохо отсканированный текст. Что это? Похоже на книгу по черной магии. Какие-то привороты, ворожба. «Смешайте волос возлюбленного с пером куропатки...» Чего? Кринж какой-то. Заказчик пишет, что работает сценаристом на сериале «Гадалка» и ему очень нужны новые магические обряды для следующих сценариев. Ну, ок. Главное, что платит целую тысячу.

«Ангелы» давно прослушаны. Все альбомы. Их сменил Ваня Дмитриенко, а затем и Билли Айлиш. Неплохая, оказывается, певица. Надо будет добавить в плей-лист.

А заказы не заканчиваются. Снова отзывы. Автоматически щелкаю. Беру. Беру. Выполняю. Магазин обуви «Голиаф». Сейчас как напишем... Но чувствую, что глаза начинают слипаться. Смотрю на время. Двадцать три тридцать семь. Поздновато, но терпимо. Так не пойдет. Шлепаю себя по щекам.

— Не спать, не спать, не спать, Леха! — приказываю сам себе.

Пишем дальше. «Широкий ассортимент пнананапппппппи».

Блин, тело не обманешь, сейчас усну прямо на клавиатуре. Нельзя, нельзя, терпим. Кофе, что ли, попить? Снимаю наушники. Зеваю. Так непривычно. Тихо. Подхожу к двери. Снова зеваю и снова прислушиваюсь. Тихо. Выглядываю. В ее комнате горит свет. Дверь закрыта. Отлично. В третий раз зеваю и осторожно пробираюсь на кухню. Включаю свет. Проверяю чайник. Водички надо долить. Открываю кран, доливаю. Зеваю в четвертый раз. Ставлю чайник на место, нажимаю на кнопку. Минуты три нужно подождать. Зеваю в пятый раз. Стараюсь не шуметь, но гремлю чашками. Одну из них чуть не роняю на пол. Поймал. Тьфу. Повезло. Моя любимая с небом и кометой Хейли—Боппа. Яркая такая, с двусторонним свечением, похожим на галочку. Как будто кто-то проголосовал в космическом бюллетене. Уф. Руки-крюки. Скорей бы вода закипела.

Сыплю кофе в чашку, сижу, жду. Щелк. Заливаю кипятком, размешиваю. Надо идти, но так хорошо сидеть с горячей кружкой в руках, вдыхать кофейный аромат, оттягивать момент, не стучать по клавиатуре... Зеваю в шестой раз. И тут заходит он.

Усиленно моргаю. Может, показалось? Нет. Стоит и на меня так же уставился, как будто только что слушал какого-нибудь музыканта, а тут раз — и живьем увидел.

— Алексей! А ты чего не спишь?

Алексей. Скажи еще Федорыч. От злости сжимаю кружку крепче. Обжигает.

— А вам-то че?

Смотрю на него с вызовом. Я, вообще-то, не ожидал, что он тут... в соседней комнате... эти усики. Ненавижу! Если бы на меня так смотрели, я пошел бы и застрелился. А он нет. Стоит как ни в чем не бывало.

— Да хватит выкать. Стариком каким-то себя чувствую.

Ага, а на самом деле младенец. Такой же лысый и несообразительный.

— А вы и есть за тридцать или даже больше.

— Ну, положим, немного за сорок.

Ничего мы класть не будем. Положит он тут...

— Но вообще-то, я, как Карлсон, в полном расцвете сил.

И подходит к столу, берет чашку, наливает из кувшина воду, пьет без разрешения, прямо как у себя дома.

— Карлсон был маленький и толстый абьюзер.

Понял ты? Надо же поставить на место человека. Но снова предательски зеваю, половина фразы съедается, глаза слипаются. Кофе не помогает ни разу.

— Чего? Так, ты уже вырубаешься. Иди нормально ложись.

Раскомандовался. Папазаменитель...

— Мне заказ надо выполнить, — зачем-то разъясняю я. Это мозг не але. Я ни при чем.

— Какой заказ? Ты что, киллер?

В номинации «худшая шутка года» приз достается лысому папазаменителю.

— Очень смешно... Мне писать надо.

Ну, камон. Мозг, прекрати это делать. И зеваю.

— Завтра напишешь.

И кофе мой к себе тянет. Совсем, что ли?

— Какой завтра? У меня час всего остался, иначе не примут.

— Ничего не понимаю. Кто не примет? Что писать?

Я и не сомневался, что ты тупой.

— Заказчик. Отзывы надо написать.

А, мозг, я понял твой замысел. Тебе просто нравится наблюдать за тем, как у него округляются глаза от каждого нового факта.

— Десять штук. Про обувной магазин «Голиаф» и про пену для бритья. А то не заплатят.

— Про пену? А ты ей пользовался вообще?

Вот-вот, глаза уже размером с мячики для гольфа.

— А вы?

Молодец. Подстебал!

— Регулярно, — опять обиделся. — И что, хорошо платят?

— Нормально.

Тянусь за кофе обратно. Он крепко держит кружку, но, подумав, отпускает.

— Молодец, уважаю.

Так уважает, что вернул мне мой кофе.

— Я сам с двенадцати лет машины мыл.

Представляю, как двенадцатилетний лысый вадзим бежит вдоль машин, стоящих перед светофором, с намыленной губкой в одной руке и с ведром в другой. Под носом уже начали пробиваться едва заметные усики.

— Кто бы сомневался? Все, я пошел.

Резко вскакиваю со стула, но ноги подкашиваются, и валюсь обратно. Ну, правда хватит. Детское время же. Ну, почти. И я же не склад в озоне разгружал.

— Сейчас, одну минутку.

— Да бог с ним, с этим заказом, ложись спать!

Опять отнимает кофе, кладет руки на плечи. Эй, кто разрешал вообще? Отбиваюсь.

— Мне работать надо.

Качает головой. Лысина блестит в свете лампы, я жмурюсь, а когда открываю глаза, вытаскивает из бумажника пятисотку и протягивает мне.

— Ничего не надо. Вот!

— У меня там рейтинг исполнителя пять ноль. Мне больше не закажут ничего... — заплетающимся языком поясняю я, но, вообще-то, я негодую.

— Ну давай я за тебя напишу, — не может успокоиться он.

Реально достал. Можешь не пытаться мне понравиться. Ясно? Просто уйди в сторону. Будь мужиком. Все плывет перед глазами.

— Не надо мне ничего от вас. И вообще, я с вами не разговариваю... — выдавливаю из последних сил и проваливаюсь в пустоту. Лечу целую бесконечность. Он что-то говорит, но слышится только бу-бу-бу. Будто я в воде и не могу разобрать ни одного звука.

Сон так и начинается. Я аквалангист. Исследую подводную пещеру. Заплываю внутрь. Там темно, как... Собственно, как в любой пещере. Но в руках у меня большой тяжелый фонарь. Включаю. Стены пещеры покрыты илом и водорослями. Какие-то рыбы пугаются и уплывают, быстро размахивая хвостом и плавниками. Пока, чешуйчатые! Я подплываю поближе к стене и вижу наскальную живопись. Странно, как она могла в воде сохраниться? Ответа, разумеется, нет. И не будет. Как-то. Чем не ответ? Разглядываю картинки. Очень похоже на главы моего романа. Вот корабль, вот Люк, вот Тянь... Кажется, я так и не дописал последний отрывок. Чувствую колебания воды. Поворачиваю голову. Слева от меня Ричи. Справа — Чарли. Как всегда, бесятся, играют друг с другом. В воде им нравится больше. Никто не спросит: «А что, правда бассенджи не умеют лаять?» Вдруг Чарли подплывает ко мне и, разинув пасть, набрасывается на меня. Я пытаюсь отбиться, фонарь выпадает из руки. Резко темнеет. Чувствую спиной какое-то шевеление сзади, затем бурление. Вода пузырится, как в чайнике после закипания. Я понимаю, что мне не хватает кислорода. Задыхаюсь. Хочу крикнуть: «Помогите!», но не могу произнести ни слова. Получается только глухое всасывание, как будто пылесос с забитым пылесборником пытается заглотить ворсинки с ковра. Снова начинаю терять сознание.

Но неожиданно становится светло, я вижу трос прямо перед собой. Я дергаю за него со всей силы, и кто-то начинает тянуть меня вверх. Перед глазами все плывет, но я чувствую, что поверхность приближается. Вот чьи-то руки, большие, с толстыми кривоватыми пальцами, вытаскивают меня наружу. Я пытаюсь понять, кто же меня спас, и в этот самый момент просыпаюсь. Кстати, раньше папа мне снился практически каждую ночь. Но сейчас раза два в год, не больше. Почему так, я не знаю. Я предпочел бы встречу с ним, а не вот это вот все.

22

Я просыпаюсь от громкой противной музыки. Голова трещит и пухнет. Не сразу соображаю, кто я, где я, что происходит. Я — это я, я — у себя в комнате, лежу в кровати, как положено. Стоп. А как я тут оказался? Вчера, кажется, вырубился на кухне. Напрягаю память. Вот я сижу за столом с кружкой, вот заходит он. Мы разговариваем, хотя не должны, ок, я был не в состоянии себя контролировать (чистая случайность), потом, потом... Вспоминай, Леша. А, ну да, я вырубаюсь там же, за столом. А сейчас в кровати. Получается, он меня перетащил. Логично, конечно, спать надо в кровати, а не на стуле, но кто его просил? Кто разрешал?

А музыка не стихает. Тупая латина. Так-то она ничего, ритмичная. Просто мы с папой ее наслушались до отворачивания, когда мама репетировала. Счас-то она сама уже не выступает, а раньше постоянно дома тренировалась. А сейчас чего решила? Это ж явно из соседней комнаты. Ну да, и топот появляется. Выхожу в коридор. Дверь нараспашку. Скачут, как ненормальные. И он весь из себя выделяется. Хореограф. Держит маму за руку, переступает ногами, виляет бедрами. Ча-ча раз, два, три, ча-ча раз, два, три... Фу, кринжатина. И она — вся такая раскрасневшаяся, довольная, топает вместе с ним. Ча-ча раз, два, три, ча-ча раз, два, три...

Бесят. Раз, два, три.

Бесит. Раз, два, три.

Бесит!

А им так хорошо. Аж светятся, как дискошар. Ма так вообще будто в лотерею джекпот выиграла. Не могу, не хочу это видеть. Возвращаюсь в комнату, со всей мощи захлопываю дверь. Шлепс! Пусть слышат. Надо же понимать, что не одни в доме. Фиг ли им вообще в клубе своем не танцуется? Выходные, кому-то поспать хочется. И вообще, теперь так каждые выхи, что ли, будет? Или они свадебный танец репетируют? Затыкаю уши. Не хочу думать про это. Не хо-чу.

Сижу так, прижимаю руки к голове, смотрю на комп. Выключенный, даже не в спящем режиме. И вдруг доходит. А заказы? Я же не дописал вчера отзывы. Бросаюсь включать. Эти перешли на румбу. Прямо мистер и миссис энергичность. Скорей бы уже выдохлись. Комп, как назло, тормозит. Натягиваю наушники, хоть немного потише.

Ну, давай же! Есть контакт. Залезаю в личный кабинет. Задания выполнены. Отзывы приняты. Чего? Когда? Как? Или я все-таки успел поработать, а сам ни фига не помню? Может, я луначу? Или правда вчера так много работал, что все в голове перепуталось? Да не могло, я точно помню, что вырубился и что не успевал.

О, есть какое-то сообщение от заказчика. Отзыв. Открываю. Спасибо. Отлично справился, креативно подошел к заданию, нешаблонно, с юмором, хороший слог. Однозначно рекомендую исполнителя. Это точно я? Прикольно. Отзыв на отзывы. Открываю задания.

Магазин обуви «Голиаф». «Люблю ходить в магазины. Я, в принципе, люблю ходить, а в магазинах чувствуется празднично-торжественная атмосфера, ощущение, что тебе всегда рады и ждут. У меня нестандартная стопа, довольно широкая, и довольно тяжело всегда подобрать подходящую обувь. Можно сказать, не в чем ходить по магазинам. Вот такой парадокс...»

Что это? Действительно, нестандартно. Это явно не я писал.

«Ну, давай я за тебя напишу», — всплывает в памяти. Ну, понятно. Отнес меня сюда, полез в комп. Может, он еще в роман лазил и в нем пару сцен добавил? Открываю ящик. Роман на месте. Жирных следов не обнаружено, дополнений тоже. Надеюсь, и правда обошлось без него. Не, это какой-то беспредел, в самом деле. То есть, конечно, спасибо, что не дал пропасть заказам, и даже похвалили, и денег, получается, заработал. Но нарушение личного пространства. Это почти как поставить родительский контроль на телефоне или найти и нагло прочесть чей-то дневник. Вообще не супер.

Румба сменяется пасодоблем. Вы всю латину, что ли, оттанцевать решили? Тогда на конкурс поедут? Теперь есть с кем... Пишу Тане. «Привет, ты как?» Но она не в сети. Мой успокоитель Лезова в сети, пишу ей: «Ты знала, что расстояние от Земли до Луны почти 385 тысяч километров?» Отвечает: «Климов, привет! Нет, не знала. А что?» — «Да так просто... Факт. Если взять, что в среднем в день человек проходит около трех километров, в год около 1000 получится. То есть чтобы дойти до Луны, чисто теоретически понадобилось бы 385 лет». — «И чего?» — спрашивает Лезова. Я и сам не знаю. Надо как-то отвлечься. «А если идти целенаправленно, то можно не по три, а по 30 километров в день проходить, и тогда уже получится не 385, а 38 с половиной лет». — «Я умею считать». — «Ну то есть вполне достижимо. Почти 40 лет идти...» — «Слушай, Климов, я не могу интересную рифму к слову „прокрастинация“ подобрать». — «Обляпаться», — пишу я.

Пользователь Катя Лезова вышел из сети.

Ну и пожалуйста... Подхожу к серванту, фотки выстроены в ряд. С них папа смотрит на меня приветливо, улыбается. Весело тебе, да? А мне вот не очень. Беру ту, на которой мы все вместе. Стоим на пляже. Закат, солнце медленно тонет в море. Папа держит меня на руках, мне года четыре. Я смотрю не в камеру, а на море, кто-то крикнул «дельфины», и, естественно, ничего не могло уже перетянуть мое внимание. Мама в красивом купальнике, обнимает папу, ветер треплет ее волосы. Она кричит «чаааайка», это чтобы улыбаться, хотя улыбка у нее тогда всю поездку не сходила с лица. Так же вроде говорят? Короче, улыбалась она постоянно. Помню, как я просто обалдел от пальм и их количества. Ощущение, что находишься в другой стране. Тропики же ну совсем не ассоциируются с нашей страной. Мы как вышли в аэропорту, так я потом от одной пальмы к другой так и бегал. Трогал все, проверял, настоящие ли? И те настоящие, и эти, и вон те, и третьи. А еще кукуруза. Так-то я не очень люблю, но там почему-то все время хотелось и нравилось, как продавцы звонко так кричали: «Кукуруза, вареная кукуруза». А еще я сильно удивился, когда увидел, насколько узкие там пляжи. Бесконечные и узкие. Я думал, они чуть ли не до центра города будут, но нет. Метров сорок или сколько там? Зато практически в любом месте можно плавать.

А в тот день с утра мы ходили в аквапарк. Вот я нанярялся, наглотался воды тогда. Разве что из ушей не лилась. Но зато все-все горки попробовал. Ну, те, на которые детей пускали, разумеется.

Вообще, тогда только прошла Олимпиада, и там было очень красиво. Сейчас вроде тоже, но уже не такое новое. А еще мы ездили в Красную Поляну, поднимались в горы на фуникулере. Ух, я сначала испугался такой высоты. Схватил папу за руку, то есть вцепился. Прямо трясусь, вниз боюсь смотреть. А там просто нереальные пейзажи. Горы, покрытые шапкой леса, небо, до облаков чуть ли не рукой можно дотянуться. И папа как начал меня стыдить: «Леха, ты чего? Ты же сын космонавта, не должен высоты бояться!» И я правда успокоился. А потом на вершине они пили кофе, а я сок. Мама сначала для вида поворчала, мол, как дорого, но сама тоже, как ребенок, всю дорогу радовалась.

И маршрутки там смешные. Ну то есть не сами маршрутки, а просто нужно всегда было уточнять, куда именно едет автобус. Потому что неважно, что у него написано на табличке. Расстояния там огромные, и водители могли запросто куда-то не заезжать или поворачивать совсем в другую сторону. По настроению...

Ну и главным удивлением для меня было то, что в Сочи растут гранат, хурма и мандарины. Правда, когда мы были, им еще долго было до созревания, но я сначала даже не поверил, когда папа остановился возле какого-то дерева и сказал, что оно хурмовое. Да уж — звучит так себе. Хурмовое дерево. Я решил, что он, как обычно, шутит, но нет, потом через пару лет загуглил, когда научился читать. И гранат, и мандарины — все на дереве. Я думал, что хурма, как и кокосы, где-нибудь в Африке растут. А тут вообще столько открытий зараз... В общем, удивительная была поездка. Мне казалось, что так будет всегда, вот оно, счастье, и по-другому быть не должно. Казалось... А кукуруза только на море удивительно вкусная.

Убираю фотку на место. Говорят, нельзя цепляться за прошлое. Ок. А что делать, если оно реально лучше? Если тогда все было супер, как должно быть, а сейчас просто жуть и мрак. Как в каком-нибудь дурацком сериале. Только я не хочу быть героем сериала.

Открываю роман. Перечитываю последнюю сцену. Нет, мне не нравится, решаю совсем убрать. Выдергиваю листы. Надо будет потом сжечь, а то, не дай бог, увидят некоторые. Вырванные страницы убираю в ящик.

Танцы утихают, а я долго думаю над следующей главой. Наверняка подсознание опять уведет в другую сторону. Иногда возникает такое чувство, что это не я пишу роман, а он меня. Читал у разных писателей, что с ними тоже такое бывает. Приставляю стул к двери, приступаю к работе.

23

Космический корабль Люка трясет с невероятной силой. Тян что-то испуганно кричит. Люк вцепился в руль, тянет его на себя, но вдруг один из астероидов на полном ходу врезается в корабль, пробив в нем огромную дыру. Люка и Тян тут же высасывает в пустоту космоса. Их швыряет из стороны в сторону, слышны какие-то взрывы, мелькают вспышки света, всюду кружат каменные обломки. Словом, настоящий хаос.

Становится совсем темно. Это Люк теряет сознание.

Приходит в себя он уже на какой-то другой, неизвестной ему планете. Открыв глаза, он обнаруживает, что лежит под грудой камней. Рядом, также под обломками, лежит и стонет Тян. Люк пытается выбраться из каменной ловушки, но ничего не получается. Камни слишком тяжелые.

Люк: Тян.

Тян негромко стонет в ответ.

Люк: Ты прости меня. Это я виноват, получается.

Тян: Тятятятятяття.

Люк: Да-да, я хотел как лучше. Я обязательно его должен был найти. Обязательно, понимаешь? (Пауза.) Ты совсем не можешь двигаться?

Тян: Тятятятятяття.

Люк: Да, я тоже. Получается, это конец?

Тян: Тятятятятяття.

Люк: Как же так? Это глупо. Черт побери! Я даже не знаю, где мы... Тян?

Но Тян перестает отвечать.

Люк: Ты меня слышишь? Тян, ответь. Тян, Тяяяя! Черт! Кажется, меня оставляют силы... Неужели это все? Но почему, почему вот так?

Люк кашляет и тоже умолкает. Тихо и безмолвно вокруг. И вдруг откуда-то сверху возникает сияние. Оно стремительно приближается, и становится понятно, что это космический корабль. Он приземляется неподалеку от Люка и Тяна. Открываются люки корабля, и из него появляется Вадзила Георгич в скафандре в виде скорлупы от ореха. Он ловко спрыгивает на землю, быстро изучает обстановку, замечает Люка и ловко и довольно быстро раскидывает камни, освобождая его. Затем так же ловко освобождает Тяна. Та практически сразу приходит в себя и встает на ноги. Вадзила Георгич склоняется над Люком. Трясет его, хлопает по шлему. Тот приходит в себя, открывает глаза.

Люк: Папа. Это ты?

Вадзила Георгич: Нет, Люк, я твой орех!

Люк: Кто?

Вадзила Георгич: Я говорю, что миссия закончена. Приказы надо выполнять, Люк.

Люк: Чего?..

24

Вот именно. ЧЕГО? С какого бока он тут спасать всех начал? Он антагонист, а не наоборот. Написал пару отзывов и сразу герой? Так не пойдет, Леха, что с тобой? Ну-ка соберись, надо снова переписывать. Вскрываю, хожу по комнате. Ре-

шаю сделать планку. А то совсем спорт забросил. Выдыхаю, раз, два, три. И тут раз — танго на полную громкость. На «европу» перешли. Точно без соревнований не обойтись. Бальные танцы кому за тридцать. Теряю концентрацию и валюсь на пол. Да сколько можно? Нельзя потише, что ли? Задрали. Сосредоточиться не даете. Хочется открыть дверь и проорать это в миллион децибел. Но им же пофиг. Я вообще для них существую?

И так сцена тупая получилась. Вспоминаю про роман. При чем тут орех? С чего он вообще вылез, вадзила этот? Танго — это танец страсти, вы в курсе? Але, хватит топтать. Соседи, вы-то чего терпите? Давно бы уже побарабанили по батарее. Выходной же. Или все из дома свалили? А это идея. Быстро одеваюсь. Выскакиваю в коридор. Вижу Ма. В шикарном красном платье. Я же говорил, что она мегакрасивая, а сейчас просто невероятно. Она медленно и пластично вытягивает ногу, усач откидывает на себя назад. Танцуют они реально неплохо. Эффектно, но Ма... Нельзя, что ли, было хотя бы посимпатичнее хахалю найти? Что я несу? Не надо нам никаких хахалей.

Выбегаю в подъезд, пулей сбегая на первый этаж. Выглядываю на улицу. Моросит мелкий дождь. Прохладно и неприятно. Мотаюсь бесцельно по улицам. Таня не отвечает. Может, все-таки стоит снять квартиру? Сейчас на авито можно без всяких договоров и хозяев. Оплачиваешь по карте бронь, тебе присылают код от сейфа с ключом. Заходи и живи. Там, правда, на профиль смотрят, а у меня видно, что несовершеннолетний. Без паспорта вообще никаких прав.

Захожу в блинную. Я не собирался, но, во-первых, не завтракал, во-вторых, промерз, в-третьих, мимо просто невозможно было пройти. Аромат обволакивает, он гипнотизирует мозг, в голове крутится одно только слово «еда», и я чуть ли не захлебываюсь от слюней. Беру два. С вишней в шоколаде и с яблоком и корицей. Латте на миндальном молоке. Мне на самом деле больше нравится на обычном, но на миндальном модно, к тому же на него акция. Надо себя как-то побаловать, тем более что спонсором нашего завтрака можно считать усатого товарища.

Сажусь за столик у окна. Стулья мягкие, широкие. Эх, я бы тут поселился. Были же раньше дети полка, почему не может быть Лешик блинный? На табло высвечивается номер моего заказа. Несусь за подносом. Рыжая девушка по имени Айгуль кладет на него две тарелочки. Смотрю на блины, и снова во рту водопад слюней. Румяные, пропитанные маслом, с дымком... Возвращаюсь за столик, фоткаю. Отправляю Тане. Пусть порадует за меня. Когда-нибудь она же объявится?

Осторожно хлебаю кофе. Никогда не задумывался. Слово «хлебаю» явно произошло от хлеба. Захлебнуть, захлебнулся. Но при чем тут хлеб, когда речь идет о жидкости? Вряд ли же имелся в виду жидкий хлеб? Тогда почему? Ладно, неважно, лень гуглить. Главное, что с первым же кусочком мне становится так хорошо, так приятно и, можно сказать, уютно. Конечно, проблемы никуда не делись, но сейчас можно отвлечься, не думать о них и хотя бы пару минут побыть счастливым. Я даже закрываю глаза от удовольствия. Жаль, что рядом нет Тани. Она бы снова что-нибудь ляпнула, мы оба бы засмеялись, и у нее на носу появились бы маленькие миленькие морщинки.

Однажды я съел двенадцать блинов. Со сметаной, с клубничным вареньем, со сгущенкой, с вареной сгущенкой, без всего, с маслом, с абрикосовым джемом, с гречишным медом, с кленовым сиропом, с малиной и сахаром, с шоколадным топпингом и с карамельным топпингом. Просто факт. Ничего не слиплось. Конечно, они были домашние и не такие большие, как здесь. Кофе тоже оказывается неплохим. Может, реально, перейти на миндальное молоко? Потом подумаю.

Таня молчит, доедаю последний блин. Дождь, кажется, прекратился. Вспоминаю, что сегодня тоже собирался весь день работать. Надо возвращаться. А мог бы побегать... Заменяю на прогулку по лестнице, вверх-вниз, вверх-вниз и снова на седьмой этаж. В пролете между пятым и шестым замечаю свежую надпись «Костя Д. — чемпион по нырянию в бетон». Челлендж, что ли, какой? Или что за новая тема, непонятно.

Останавливаюсь перед дверью, надо отдышаться. Сердце колотится с такой же скоростью, как барабан внутри стиралки в режиме отжима. Вдох... выдох, вдох, выдых... Удивительно, конечно, как за пару минут активности с телом происходят такие изменения. Вставляю ключ, осторожно вхожу.

Тихо. Ни латины, ни танго, ни вальса с квикстепом. Да и вообще дома никого. Достая телефон. Замечаю четыре пропущенных. Оказывается, стоял на беззвучном. И эсэмэска: «Уехали в „Ленту“. Суп на плите, пюре под подушкой. Лешик, не будь букой. Целую».

Вадзима своего целуйте... Бук не нужно целовать.

И еще одна эсэмэска. «Вадзим спрашивает, отзывы твои приняли?»

Приняли. Пусть медаль на шею повесит «король нешаблонных отзывов». Жаль, что у блинов такой короткий эффект радости.

А Таня по-прежнему молчит. Ух, получит у меня завтра...

На роман не могу настроиться. Самое время переделывать, пока никого нет, но, во-первых, фиг знает, когда они вернутся, во-вторых, опять куда-нибудь занесет, а я так не хочу.

Включаю комп. Как вот теперь садиться за работу, когда понимаешь, что похвалили не меня? Это получается, я не креативный, а шаблонный исполнитель, легко-заменяемый, а ждут чего-то такого нестандартного. Угу, но не за тридцать же рублей за отзыв. А то, может, им какого-нибудь Иванова или Водолазкина подавай? Чтобы мегакреативно было. Или хотя бы Мишу Токарева.

Бесит. Ладно, сегодня попробую совсем без отзывов обойтись. Есть же голосовалки. Там вообще ничего писать не нужно и никакого креатива не требуется. И тут же перед глазами возникает картинка с отзывом от заказчика. «Прекрасный исполнитель. Нешаблонно голосует. Интересный слог и все такое. Рекомендую». Аха-ха-ха, хоть монолог для стендапа пиши.

Но голосовалок, как назло, сегодня нет. Тщательно пролистываю ленту заказов. «Отфотошопить фотографии для розыгрыша коллег». Это что-то интересное. Тем более давненько не фотошопил. Тысяча рублей. Тоже неплохо. Пишу заказчику. Отвечает довольно быстро. Нужно найти интересный фон для трех фотографий его коллег и вставить их лица. В целом несложно, самое главное — фоны. А с этим как раз нужно повозиться. Заказчик из какой-то компании канцелярских товаров, и нужно что-то супергеройское, но не из вселенной Марвелы или ДС.

До самого вечера просматриваю миллион разных картинок, перебираю всего Миядзаки, отправляю на утверждение, но заказчик постоянно недоволен, то слишком мрачно, то заезжено, то «че-то не то».

Эти двое возвращаются из гипермаркета, шумят, смеются. Ррррр. Завожусь, как мотор. Выдыхаю. Снова натягиваю наушники. Затем в комнату заглядывает она, приносит тортик, ставит на стол.

— Я не буду.

— Ну, хватит уже, сынок. Вкусный же. «Наполеон», твой любимый.

Это точно, «Наполеон» обожаю. Но он мне в горло не полезет.

— И суп не ел.

Молчу.

— Худеешь, что ли?

Молчу.

— Уроки сделал?

Молчу.

— Может, оторвешься уже? Глаза пожалей, — и опять по голове гладит.

Вот не надо. Есть кого гладить. Или лысину не сильно приятно трогать? Фу... Отдергиваю голову.

— Ну, давай-давай поешь, — отламывает кусочек ложечкой и чуть ли не запихивает мне в рот.

Пробую, кривлюсь. Реально не лезет в горло.

— Ну, потом доешь, — успокаивается она. — Леш...

Я не реагирую, она не продолжает. Пауза затягивается. Что еще ужасного она хочет сообщить? У меня будет братик? Завтра апокалипсис? Или почему завтра? Сегодня, прямо как в фильме?

— Хотим с Вадзимом «Чебурашку» смотреть. Ты с нами?

О, да, лечу, бегу вприпрыжку. Самый лучший фильм для такой ситуации. Добрый, позитивный, семейный.

— Мам, я занят. Ты мешаешь.

Вздыхает. Смотрит укоризненно, тут же ласково, тут же печально, снова вздыхает. А я вспоминаю Таню. «У тебя хотя бы мама довольная». Да, мама, радуйся. Побольше позитива. Таня одобряет.

Вот куда она сама опять пропала? Все девчонки так часто пропадают или это только она такая особенная?

Ма выходит. Я вскакиваю со стула. Спасибо... Выбесила. Хожу по комнате, не могу успокоиться. Живот предательски урчит. Поесть и правда было бы неплохо. Выношу торт на кухню, чтобы не соблазнял. Сами ешьте и радуйтесь. А нам что попроще сойдет, менее праздничное. Открываю холодильник, вижу сыр, колбасу. Делаю бутер, быстро съедаю, даже крошек не остается.

Возвращаюсь к компу.

«А есть получше качества?» Нет. «Может, еще поищем?» Ищем. «Вот эта ничего, давай пока отложим». Откладываем. «Давай следующую». Даю. И не одну. И не две...

Ровно в одиннадцать он переводит оплату. Аллилуйя. Чувствую себя настоящим победителем. Выключаю комп. Прислушиваюсь. Тихо. Подхожу к зеркалу. Глаза жутко страшные, кровавые, как будто внутри их прошили красными нитками. Это называется «капилляры полопались». Добро пожаловать во взрослый мир, Леша! Лицо осунулось. Щеки сдулись. И это я почти три дня не бегал, а то бы ух... Желудок тут же заводит жалобную песню: «Покорми меня, Лешечка, не будь badmanом». Ну, ладно, так и быть... Делаю еще один бутер. Съедаю и вырубаясь.

25

Снова вижу сон. Темная комната. Или даже лабиринт. Я иду. Влево-вправо, прямо. Ничего не видно. Иду, иду, иду. Упираюсь в стену. Изучаю. Просто стена. Большая гладкая стена. Ну, ок. Фрейд, что расскажешь про стену? Ничего? Жаль. Ты сегодня какой-то неразговорчивый. Из стены вылезает Фрейд, почему-то в кимоно и тапочках, кивает головой, кланяется, как китаец.

— Так и есть, — и лезет обратно.

Я снова изучаю стену, но никаких отверстий, откуда можно было вылезти, не нахожу. Ладно, не удивляюсь. Во сне вообще редко удивляешься.

И тут передо мной высвечивается улыбка. Такая, как у Чеширского кота. Большая, широкая, прямо в воздухе. Я приглядываюсь и понимаю, что это мамина улыбка. Лучезарная, заразительная, позабытая ею, но такая знакомая мне. Исчезнет слева, появится справа, снова исчезнет, появится сверху.

Мама — Чеширский кот. А я тогда кто? Алиса? Алиса, включи песню «От улыбки станет всем светлей». Нет, я — это я, а мама — это мама, и она улыбается. Везде.

Улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается, улыбается. И сейчас меня это нисколько не раздражает. Даже наоборот, хочется, чтобы улыбка не пропадала. Как-то легко и приятно внутри. Рефлекс младенца. Открываешь глаза, первым делом ищешь ее. Где мама? Вот она. Грустная? Нет. Смеется же. И ты смеешься и дрыгаешь ногами, как будто мчишь на велосипеде, как будто хочешь угнаться за временем, обойти на повороте, скорее вырасти и выползти из этой тупой бежевой коляски. Улыбайся, мама. У меня же нет никого роднее и любимее тебя. Улыбайся!

Улыбайся, мама!

Улыбайся, мама!

Улыбайся!

Мммм

Аааа

Мммм

Аааа!!!

Палиндром.

Папин дом.

Папин дрон.

Пападром...

Улыбка исчезает.

26

Просыпаюсь со странным чувством. Как будто я еще во сне, как будто он никуда не ушел, а я продолжаю находиться в двух реальностях одновременно. Надо реально заканчивать по столько сидеть за компом. А то, того и гляди, и сами глаза полопаются, не только капилляры. Или начну постоянно видеть глюки. Не хотелось бы. Зажмуриваюсь. Вроде никаких видений нет. При свете тоже. Но ощущение, это странное ощущение, словно ты не совсем здесь, словно кто-то стоит за спиной и наблюдает за тобой, словно в любой момент все в округе начнет крушиться, как в фильме «Начало» (вот какую киноху я хотел бы посмотреть, и с папой, а не с папазаменителем). Неприятное ощущение остается. А может, и приятное. Я пока не очень понимаю.

Кстати, о кино. Я же так и не пригласил Таню. А надо бы. Надо решиться, выбрать день и пригласить. «Пошли в кино, Таня!» Твердо и уверенно, а не как в мультике «Пять сантиметров в секунду». Конечно, она согласится.

И пора возвращаться к тренировкам. Решительно откидываю одеяло, без всякой разминки встаю в планку. Мышцы недовольны. Действительно, с чего бы им радоваться? Жили себе спокойно, не напрягались, а тут... Болят, руки трясутся. Не люблю спорт. Пару раз пропустишь, а на следующий уже так трудно, будто и вовсе никогда не занимался. Нет, я выдерживаю свои полторы минуты. Но тут же валюсь на пол без сил и долго не могу отдышаться. Мышцы, ну камон? Не подводите, почему вы еще не стальные? Могли бы и окрепнуть, хоть немного.

Несусь в ванну. Ледяной душ.

Брр.

Это я только руку подставил.

Снова зажмуриваюсь и шагаю под струю. Ааааа.

Три-четыре, закончили водные процедуры. Тщательно растираюсь полотенцем. Чай. Бутер. Короткая дуэль взглядов с мамой на кухне.

— Привет.

— Привет.

— Привет, Алексей, — а это уже наш лысый товарищ. Тоже явил себя миру. Улыбка — шире, чем у мамы во сне.

Бррр. Как будто еще один душ принял. Выбегаю в подъезд, пролет за пролетом. Улица. Ричи и Чарли машут приветливо своими крендельками. Соскучились.

Гуляем. Я думаю про сон. В последнее время только и делаю, что думаю. Почему желания так редко исполняются? У кого-нибудь вообще день проходит так, как он запланировал? Или это такой прикол? Парьтесь, старайтесь, но по большому счету все зависит не от вас. От нас хоть что-то зависит? Или всегда есть выбор, и мы должны его сделать? Вот прям всегда-всегда? А если летишь в самолете и он падает, какой у тебя может выбор? Молиться или не молиться? Бояться, не бояться? Ну такое.

Поэтому многие любят гаматься? В играх хотя бы есть возможность перепройти эпизод, если что-то не получилось, есть возможность сохраниться. В каком моменте сохранился бы я? Пожалуй, там, в Сочи. Ну, то есть мы уже есть в той фотографии, я могу на нее смотреть и раз за разом возвращаться к пальмам, к палящему солнцу, кататься у папы на плечах, нырять с разбегу в море, бояться накатывающих волн и восхищаться одновременно... Все это, как день сурка, может повторяться бесконечно, все это останется со мной. Но только в памяти. А времени на воспоминания все меньше и меньше. Впереди вроде как куча всего.

И все говорят «нельзя жить прошлым», не только мама. Ок. Как это сделать? Вот так, по щелчку, забыл, и все? Ну нет же. Когда-нибудь, может, и можно будет что-то стереть из памяти, как файл на флешке, но пока мозг сам выбирает, что ему дороже, что интереснее.

А еще нужно отпускать желания. То есть надеяться, но не думать о них постоянно, каждую секунду. Мол, живи спокойно, получай эмоции, учись, развивайся и все такое. А оно само сработает или не сработает. Сбудется — хорошо, не сбудется — тоже норм, ты же уже отстранился от него, стал независимым, как минимум, не умрешь, если ничего не случится. Но разве это не предательство? Разве ты не предаешь мечты? Разве они не обидятся? Или это как раз от обратного и работает? Они обижаются, и такие: «Ах, так? Тебе на нас наплевать, гаденыш? Не ждешь и не лелеешь? Ну все, сейчас придем и посмотрим, что ты будешь тогда делать!» Было бы круто, если так... Ладно, попробую и правда не думать про папу. Увидимся — будет супер, это будет лучшим днем в моей жизни, а нет... Хотя бы слетаю на Марс. Много людей могут похвастаться тем, что побывали на другой планете? Мама мне тоже дорога, и она рядом. И если ей так лучше...

Тяжело принимать и оправдывать чужие поступки. Но это типа и есть взрослая жизнь, когда думаешь не только о себе, когда стараешься разглядеть хорошее в том, что на девяносто девять целых и девяносто девять десятых процента состоит из плохого... Допустим, они поженятся. Вот у Тани же родители разводятся, и ее мама так же может потом найти кого-нибудь. Не факт же, что если бы папа сейчас был с нами, то все было бы так же круто, как в Сочи. Может, они тоже ругались бы по любому

поводу. Конечно, я не хочу в такое верить, но в теории же возможно. В теории что угодно возможно, разве что кроме очередного чемпионства «Спартак».

А что если они вообще года три бы уже как развелись. Жесть. Нафиг такие мысли. Все-таки мама действительно долго верила. Шесть лет — это почти две тысячи двести дней. Дольше только фанаты GTA ждут выхода шестой части.

Ну, ок, ок. Так получилось. Он влюбился в маму, что, в общем-то, нетрудно. Бла-бла-бла.

«— Маруся, выходи за меня.

— Я согласна...»

Мама же хорошая, я знаю, что хорошая и не могла выбрать гнилой орех. По крайней мере, я надеюсь, что не могла. Для меня не супер много должно поменяться. Ну то есть вообще все поменяется, но я имею в виду в плане будущего и ориентиров. Просто нужно стараться меньше обращать внимания, меньше реагировать. Трудно, конечно, не замечать эти усики. Но я представляю, что он решил подружиться с адекватностью и взял в руки бритву. Вот он сбрасывает их, напевая какую-нибудь дурацкую песню. Типа «и снова седая ночь, и только ей доверяю я...». Волосы падают в раковину, рука аккуратно водит станком над губами. Уже получше. А что с лысиной? Можно прикрыть париком. Клоунский парик. Самое то, рыжий такой, пушистый. Ему идет. А-ха-ха. И красный нос для полноты образа. Только так теперь и буду представлять. Действительно, не такой бесчестный. Вадз... нет, с этим пока рано. Имя никаким париком не прикроешь.

Но мне уже чуть веселее, даже улыбаюсь. Чарли улыбается мне в ответ. Ричи валяется на спине и смешно перебирает лапами. Все бы проблемы так решались. Придумал что-то в своей голове, как может быть по-другому, и норм, можно жить дальше.

Но это опять же теория. На практике они выходят из подъезда. Он придерживает дверь, он берет маму за руку, обнимает... И мне становится невыносимо больно. Просто отвратительно. Тяжело смотреть на это... Хотя в парике представляй, хоть без. Мозг дико сопротивляется. Сворачиваю к другому двору. Ричи и Чарли не слушаются, тянут назад, упираются, как будто все понимают и заставляют наблюдать дальше. Ты должен перебороть себя, смотри. Смотри. СМОТРИ! Уууу. Тупые собаки, ненавижу.

— Я сильнее, это я вас выгуливаю, а не наоборот, понятно вам?

Наконец-то слушаются. Слышу, как заводится мотор «мазды»... Мам, ну почему?

И снова в голове бесконечный поток мыслей. Они путаются, как нитки в клубке. Без чужой помощи трудно распутать. За этим и ходят к психологам. Вопрос только, где найти хорошего, чтобы помог распутать, а не наоборот.

И тут я понимаю, что не взял с собой пакетика. Две небольшие коричневые кучки красуются посреди газона. Обычное дело для нашего двора, но не для меня. Один раз вроде бы не страшно, но из-за того, что все так думают, никто в итоге не убирает. А как потом ходить, вам по кайфу, да? Нет, так нельзя. Бежим до квартиры втроем.

— Пока, песели, до вечера.

А сам возвращаюсь назад. И что? Рядом с этими двумя обнаруживаю еще одну, невероятно здоровую, отвратительную. Спасибо. Когда успели? Быстро вдыхаю воздух, задерживаю дыхание, собираю, уношу, выкидываю. Что тут сложного? Почему другие так не делают? Вот из-за таких «хозяев» потом сплошные траблы и возникают.

Все, «минутка» философствований и нравоучений закончена, хоть статусом в вк выкладывай. Дальше стараюсь вообще ни о чем не думать. Вообще. Я в дзене. Гармония, просветление и все такое.

27

В школе в коридоре меня ловит Галинфа. Еще метров за пятьдесят вижу, как блестят ее очки с невероятно огромными линзами. В телескопах, наверное, не такие мощные линзы, как у нее. Берет меня за локоть. Отводит в сторону.

— Леша...

— Да все в порядке со мной, Галина Федоровна.

— Точно?

— Точно.

— Хорошо. Я надеюсь. Старайся, Леша, старайся. Ты очень способный, главное — не ленись.

— Я стараюсь.

Раз в трехсотый слышу от нее про старания.

— Я вот что еще спросить хотела. Вы же с Беловой дружите?

— Ну, не совсем.

— Что значит не совсем?

— То есть да. Дружим, — говорю я и чувствую, как краснеют уши, и добавляю: — Просто дружим.

— Меня беспокоит ее посещаемость.

Меня тоже.

— На прошлой неделе всего два раза была.

— Три вроде.

— Да и отпросилась один раз с третьего урока. Я думала, болеет. Но никаких справок она не принесла. Звонила матери, она сказала, что вообще не в курсе. Таня говорила, что в школе. Ты что-нибудь знаешь про это?

Значит, Таня просто прогуливала. Понятно. Сказать про развод или не сказать? Выбираю второе.

— Нет. Она ничего не рассказывала. Я тоже думал, что болеет.

— Врала, получается? Хорошая вроде девочка... Придется все-таки родителей вызывать, пока до отчисления не дошло.

Нет, лучше сказать.

— У нее дома непростая ситуация.

— Что такое? — Галинфа удивленно вскидывает брови так, что они наконец-то показываются из-за линз. В принципе, там, где им и положено быть.

— Родители разводятся.

— Поняла, поняла, — вздыхает классная, — действительно, непросто. Надо с ней поговорить, показать, что мы рядом, поддерживаем ее, чтобы не замыкалась в себе. Я попрошу Елену Владимировну, пусть возьмет под контроль.

Ну вот, дело и до психолога дошло... Молодец Леша... Очередной косяк.

— Может, и нет. Я не знаю. Не особо мы дружим, — пытаюсь исправить ситуацию. — Точно. Я перепутал. Она фильм пересказывала, а я подумал, что про себя.

— Леша...

Звенит спасительный звонок.

— Извините, Галина Федоровна. Мне на урок надо.

И убегаю.

— Леша, подожди. Ты совсем меня запутал. Климов!

Сенсация! Новый мировой рекорд по убеганию от классной руководительницы поставил восьмиклассник Алексей Климов. Четыре целых тридцать три сотых секунды.

М-да...

А Таня опять не приходит. К счастью, не приходит и Галинфа. А то думал, что погонится за мной. Весь урок сижу как на иголках. Еще и Макс напрягает. Рисует какие-то ребусы в тетрадке и показывает мне. Мы, что, на квизе каком-то? Мне не до этого, но он не отстает. Опять какая-нибудь шахматная задача? Я-то тут при чем? Была бы хотя бы физика. Но он еще и Леху Картавцева подключает. Теперь они вместе с разных сторон и рядов меня одолевают.

Да отстаньте уже! И Таня не в сети.

— Можно выйти?

— Климов, пять минут до звонка осталось.

— Ну, Ирина Петровна, я ж не виноват, если хочется...

— Давай только без подробностей, чего тебе там хочется. Иди.

Макс что-то рофлит, все смеются, но я уже не слушаю.

— Спасибо.

Выскакиваю за дверь. Набираю Таню. Не отвечает. Она же ничего такого... Да нет, конечно. Просто где-нибудь грустит, отключила телефон и сидит в какой-нибудь кофейне с ореховым рафом. Надо ей сообщить про Елену Владимировну.

Понимаю, что не супер, но записываю голосовуху. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Нажимаю на микрофончик, но не сразу начинаю. Вернее, начинаю совсем не так, как хотелось бы:

«Таня, хай! Не понял, ты че не отвечаешь? Или я у тебя в игноре? Нет же? На голосовуху-то хоть ответишь? Тут...»

Решаю перевести разговор на себя. А то вдруг и правда в игнор кинет, и что делать? А так подготовлю хотя бы. После пятиминутного рассказа злиться явно меньше захочется. Тупо устанешь.

«Короче... Так неприкольно без тебя, оказывается. И так ...опа, еще и ты не пришла».

Зачем я это ляпнул? Для жалости? Надо хоть в шутку перевести.

Туповатый смех, но и шутка не так чтобы очень. Сойдет.

«У тебя же все норм? Ты типа болеешь? Или случилось что? Надеюсь, просто прогуливаешь. Я бы тоже прогулял. Но эти реально задолбали. Представляешь, вчера с утра как начали дэнситься. Поспать вообще не дали. Этот... Весь такой хореограф. А мама только рада. Папа-то с ней вообще не танцевал. На свадьбе вроде только — танец молодоженов. Все платье ей еще истоптал. А тут хоть каждый день отжигать можно. И дома, главное. Ну, камон, в клубе у себя танцуйте. И мама вся такая прям светится. Она в последний раз только при папе так улыбалась, когда смешил ее. Бесит...»

Да уж, о своем, конечно, легче намного рассказывать.

«Ты и контру, получается, пропустишь, а я уже настроился решать за нас обоих. Хотя тебе, конечно, тоже сейчас не до контроши... Слушай...»

Нет. Пять минут пока не прошло, тем более я опять вспоминаю о своем.

«А этот, усач еще, короче, отзывы за меня написал. И самое фиговое, что мне потом коммент от заказчика пришел. Типа круто справился, профессионально написано, нешаблонно и все такое, растешь на глазах. А теперь я не беру у него заказы, а то напишет потом „че-то рано я тебя хвалить начал, или это не ты писал?“ Не врать же. Бесит... Кто вообще помогать просил? Тоже мне человек-паук...»

И это... Слушай, я сдал тебя случайно. Я не хотел, просто Галинфа подошла, стала спрашивать... Мол, вы же общаетесь... ну, говорю, типа того, да. А она дальше спрашивает. Мол, ты не в курсе, почему Таня так редко ходить стала? Я сначала „нет, не в курсе“ сказал, она такая, ну ок, надо, значит, родителей вызывать, пока

до отчисления не дошло. Ну тут я тупанул что-то и говорю, мол, в семье проблемы, развод и все такое, а Галинфа за голову схватилась, мол, „да-да-да-да-да, это ужасно-ужасно, надо с Таней деликатно, тут без Елены Владимировны не обойтись“, ну помнишь, психичка наша. Короч, сорян. Я не хотел. Просто рассказываю, чтобы ты знала и готова была, если Елена Владимировна поговорить с тобой захочет».

Не, дичь какая-то. Кринжометр зашкаливает. Удаляю голосовуху, пока не отпраздновалась. Надо записать новую. Может, сразу про Галинфу рассказать? Нет, она точно обидится, и все. Нам так не нужно. Выбираю просто вариант: покороче пересказать о танцах и отзывах и потом про мой косяк.

Записываю как раз к концу перемены. Возвращаюсь в класс за минуту до звонка. Серега опять не выпускает из рук свитч, Лезова что-то пишет в блокнотик, прикусив губу от напряжения. Видимо, очередной печальный стих. Макс и Леха бросаются ко мне наперехват.

— Ну что, ты идешь? — с надеждой спрашивает Макс.

— Куда?

— Мы же тебе показывали, — разъясняет Леха, хотя яснее от этого не становится.

— Эти странные ребусы? Не, я ничего не понял.

— Говорил же, он не допетрит, — теряет ко мне интерес Макс.

— Ну, подожди, — не унимается его товарищ, — на квиз с нами пойдешь?

— Какой?

— Исторический.

— Твоя же тема, — начинает убеждать меня Макс.

— Типа того. Точно не к-рор.

— На к-рор мы бы Сашу Березину позвали. А тут греки, египтяне, Наполеон — все, как ты любишь.

Не сказать, чтобы прям люблю...

— Там приз — билеты в кино, — поддакивает Леха.

— «Последний стрелок».

— А про что? — уточняю я.

— Да какая разница? Название хорошее.

— Короче, ты нам нужен, чтобы выиграть, — подытоживает Леха.

— Отказ не принимается, — басит Макс и добавляет: — В пятницу, в шесть, гриль-бар «Живаго».

Довольные собой пацаны возвращаются к своим партам.

Вот только квизов мне сейчас не хватало. Ладно, раз коллектив просит...

— Нарастала моя боль, / Как наст снега, исподволь, — вслух произносит Лезова последние строчки своего гениального стихотворения.

Серега победно вскидывает руки. Опять выиграл катку.

В класс входит Ольга Валентиновна в своих неизменно красных и высоких, почти до колен, сапожках.

— Здравствуйте, дети!

Жизнь продолжается. Вот только Таня по-прежнему не в сети...

Оставшуюся часть дня я прячусь от Галинфы то в подвале, то под лестницей, то в туалете. Она вроде не охотится за мной, но лучше проявить бдительность.

Контрошу пишу довольно быстро. Она как раз помогает отвлечься от мыслей и сконцентрироваться на заданиях. Не зря же говорят, что лучший способ забыться — уйти с головой в работу. А вот оставшиеся десять минут, когда сдаю листочек, меня опять накрывает. Может, самому поговорить с Еленой Владимировной, а то вконец

запутаясь. Но если честно, больше мне никому не хочется про это все рассказывать. Хочется забраться в раковину, как рак-отшельник, и бродить в одиночестве по дну Черного моря, а рядом пусть будет Сочи...

На последнем уроке приходит сообщение от Тани. Открываю. Смайлик «застрелись». Да... Но тут же: «Да ладно, мне пофиг. Сорян за все, надо было собраться с мыслями».

Думаю о Тане, а не о теме «Народ в изображении Тургенева». Шлю ей кучу сообщений в ответ, но она снова не в сети.

28

Возвращаюсь домой. Живот урчит. Терпи, бро, нам еще бегать. Быстро переодеваюсь, делаю разминку, выбегаю на улицу. Погода резко испортилась. Люди тут же становятся хмурыми и печальными. Черные скелеты деревьев подходят больше для фильмов ужасов. Того и гляди, из-за какого-нибудь ствола выскочит злобный клоун с воздушными шариками и с огромным наточенным ножом в руках. Возвращаюсь за дождевиком. Борюсь с желанием остаться дома, наесться супа, налить горячую ванну и под тех же «Ангелов» или плей-лист «Топ 50 треков для купания и принятия душа» валяться в ней, пока кожа не скукожится и не станет похожей на грецкий орех. Опять этот орех всплыл.

Но ванны не будет, будет душ, и то после пробежки. Бежится, кстати, вполне нормально. Может, потому, что из-за дождя снижаю скорость до минимума, а может, состояние такое, что мозг просто не обращает внимания на усталость.

Бегу и думаю о Тане. Когда-нибудь все наладится. Хоть бы, хоть бы... Я приглашу ее куда-нибудь, скажу как есть, мы начнем встречаться. Надо быть решительнее.

А вот последние пятьсот метров даются с трудом, но я не сдаюсь. Я борюсь, я молодец. Леша — молодец! Леша — молодец! Ле-ша — МО-ЛО-ДЕЦ! Добрый мо́лодец.

Приятно хоть где-то не сдаваться.

Дома душ, уроки. Суп! Наконец-то. Новые видео от Илона Маска. Смотрю, ем. Если машина — то только «тесла». Включаю комп. Привет, заказы! Голосовалки — отлично! Диана в костюме подсолнуха. Прелесть! Ты выиграешь! Логично, у ближайших преследователей на две тысячи голосов меньше. Саша Подольская со стишком про дырявый носок, который просит каши. Голосую! Подрастет и будет конкуренция Кате Лезовой. Алина Гапасова с картиной «Аля», и тебе победы!

Очередной заказ на увеличение просмотров и посетителей. Просят полазить по сайту, а потом включить видео и обязательно досмотреть до конца, не переходя на другие окошки браузера. Ок. Двадцать восемь минут сорок четыре секунды. Включаю видео, а сам открываю книгу «Первая работа» Юлии Кузнецовой. Начал, наверное, месяца два назад, но дальше десяти страниц так и не продвинулся. Здесь героиня работает репетитором по испанскому. Эх, рано мне пока для репетиторства.

И только успеваю отправить заказчику скриншоты с отчетами, в комнату заходит Ма. Замечаю на пальце новое кольцо. Видимо, обручальное. Только сейчас подарил? Или она просто не надевала? Ма подходит к столу, садится рядом. Я молчу.

— Леш. Ты занят?

— Угу.

— Совсем от монитора не отлипаешь. Так разве можно?

А куда деваться? Где я еще могу работать без паспорта?

— Можно. Нужно.

— Так, ничего не знаю, давай оторвись, — начинает командовать она. — Перерыв надо сделать.

— Не хочу.

— Что за «не хочу»? — сердится она. — Ты будешь слушаться или нет? Я, в конце концов, твоя мама.

Правда? А я думал, ты Клава Кока, поэтому и не слушался...

— Глаза испортишь, будешь потом всю жизнь жалеть. Выключай давай!

— Не буду.

— Так, все, я сказала! — и сама выключила монитор.

Ну не драться же с ней. Молчу. Смотрю на фотки, а не на нее. Выражаю свое недовольство.

— Так мало времени стали проводить вместе, — вздыхает Ма.

Ну да, как будто я в этом виноват....

— Тебе есть с кем проводить...

— Ну зачем ты так? — как спичка, вспыхивает она, но так же быстро и гаснет. — Ты же мой сыночек....

Сыночек с коровий носочек... А, нет, там про кусочек было. Тоже из лексикона Ба. Ма неожиданно начинает рассказывать про Ба. Совпадение? Не думаю...

— Бабушке таки дали путевку.

— Хорошо. А то как это она и без санатория?

— Ну, да. Ворчит, конечно, что так поздно. Холодно уже.

— Можно подумать, она там гулять будет. Ну, зато поедет, а то так ждала. Как маленькая.

— И не говори. Ой, у меня же есть кое-что для тебя, — вспоминает она.

Что? Второй отчим?

— Счас, — говорит Ма и выходит.

Я жду. Мама возвращается.

— Вот, примерь, — и протягивает мне плавки. Обычные. Синие такие, как шорты.

— Чего? Осень же. Какие плавки? Не буду я ничего примерять.

— Ну, что опять разворчался? Прямо бука стал какой-то.

Чем больше она со мной как с маленьким, тем сильнее я выбешиваюсь.

— Из старых же вырос уже. А как ты без плавков пойдешь?

— Куда пойдешь?

Я реально не догоняю куда. Не на церемонию же вручения наград в конкурсе «Мать и сын года».

— В аквапарк. Нас Вадзим приглашает с тобой на выходных в аквапарк, — добавляет она после паузы. — На весь день. Наплаваешься, наныряешься.

— А, ну понятно...

На моем лице все написано.

— Что тебе понятно? — опять закипает она.

Сказал же твой вадзим: «Не кипятись, накипь нарастет».

— Леш. Шесть лет прошло. Я ждала, я все подушки обрыдала, ты же знаешь...

Да помню я. И я пытаюсь понять. Честно. Даже про сон чуть не признаюсь. Но... Это сильнее меня. Вижу его — и все, внутри аж дымится.

— Ты думаешь, я бы не хотела? Я бы очень хотела, чтобы он... чтобы папа вернулся... Но это не случится. Ты же сам понимаешь. Это космос...

— А вдруг? — очень неуверенно возражаю я. Решил же отпустить. Пусть само там вертится и исполняется.

— Сколько еще ждать? Еще шесть лет? Десять? Двадцать?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. Не знаю, понимаешь? Я не верила, что смогу кого-нибудь еще полюбить. Я ведь очень любила папу и люблю...

Мама любит папу, папа любит маму, я люблю маму и папу. Это так просто. И ни фига не просто, когда все не так. Одно слагаемое выпадает, пример тут же рушится.

— Но это случилось очень внезапно и так же сильно, — продолжает она.

— Фу... Мам, не надо...

— Прости, тебе трудно... Нам всем непросто... Но надо принять.

Да, принять, как таблетки перед едой. Выпил, и норм. Можно жить дальше.

— Надо двигаться вперед. Ты заикнулся на ожидании, а это неправильно...

Как раз с утра думал про это. Но не буду ничего рассказывать. Может, она права, не знаю...

— Зачем все время себя мучить? В мире столько всего, нельзя только страдать...

— Я не страдаю. Я просто жду, — все-таки возражаю я. Или уже не жду?

Смотрю на фотки. Папа там, мама там. И тут. Почти как в мультике: «Вашу маму и там и тут показывают». Только она к нам на лыжах не пришла, а, скорее, наоборот, уходит. Обнимаю ее. Великая вещь — обнимашки.

— Мне так хорошо сейчас на душе, ты бы знал.

— Да уж вижу.

— И тревожно за тебя... Я так хочу, чтобы вы подружились. Он хороший, правда. Он сам потерял и жену, и дочку.

— Угу, мученик какой. Давай вместе поплачем.

Хотя, конечно, глумиться не над чем. Но и сочувствовать не буду. Кому сейчас легко? Всех не пережалеешь.

— Да что ты все слова передергиваешь? Ты же не такой...

А какой я? Добрый? Милый? Занудный? Душный? Истеричный? Нужно подчеркнуть.

— Да ничего, мам. Все норм. Все вообще норм. Не парься.

Смотрю на нее. Чуть не плачет. Доводить маму я точно не планировал. Хочется обнять ее, успокоить, что все будет хорошо. Все обязательно должно быть хорошо. Беру плавки и напяливаю на голову. Строю какие-то рожицы, кривляюсь.

— Видишь, как раз. Спасибо за плавки.

Мама хмыкает. Мама улыбается. Мама смеется.

— Дурачок, ты что делаешь? Сними. Весь в отца. Тот еще был любитель подурачиться...

Мы оба смотрим в окно, туда, где виден кусочек неба, туда, выше, над ним, в космос, где, может быть, есть папа, где, может быть, он останется навсегда... Мама снимает с меня плавки, мама лохматит мне волосы.

— Дай ему шанс, — говорит она и выходит из комнаты.

Я включаю монитор, но тут же выключаю, достаю альбом и пишу, но не новую главу, а просто отдельную сцену. Почти спин-офф. Что-то рассказывала мама, наверняка приукрашив, но в целом, мне кажется, именно так оно и было.

29

Свидание Мамы и Папы

Мама вся такая красивая, в красивом платье, на каблуках, прическа, макияж — все как надо. По классике стоит в парке возле лавочки. Вытаскивает из сумочки еще кнопочный сотовый телефон, смотрит на время. Недовольно оглядывается по сторонам, сердито выдыхает, нажимает несколько кнопок на телефоне, подносит

к уху. Не дозвонившись, убирает телефон в сумочку, собирается уходить. И вдруг откуда-то, чуть ли не из кустов, появляется Папа в спортивном костюме. Он идет пошатываясь, словно пьяный. Останавливается возле мамы.

Папа: Мадам, простите, то есть, конечно же, мадемуазель... Встречайте, прямиком из звездного городка. Легендарный Федор Климов.

Мама: Так уж и легендарный?

Папа: Хорошо, пока еще не легендарный, но уже без пяти минут командир корабля «Союз У» приветствует вас.

Мама: Ага, здрасьте. Нет, ну... я как приличная девушка опоздала всего на полчаса, даже чуть меньше, но я не думала, что самой еще час ждать придется.

Папа: Увы, увы, мадемуазель, сам гендиректор Роскомоса со своей свитой и всеми подданными ждали нашего приземления почти полтора часа, так что час — это недолго. Поверьте. Но я, конечно же, приношу свои глубочайшие извинения и в знак примирения позвольте лобызнуть ручку... *(Хочет взять Маму за руку, но у него подкашиваются ноги, и он падает на землю.)* Черт, вы сногшибательная девушка.

Мама: Сударь, может быть, просто вы пьяны?

Папа: Если только от вашей красоты.

Мама: Ну, хватит тебе, засмущал *(помогает Папе подняться)*.

Папа: Мадемуазель, поверьте человеку, полторы тысячи раз облетевшему вокруг нашей планеты. Вы самая красивая девушка во Вселенной.

Мама: Дурак... Нет, ты правда не пил?

Папа: Какой там.

Мама: А что с походкой тогда?

Папа: Мадемуазель, я, на секундочку, из космоса вернулся.

Мама: На секундочку? И уже улетаешь?

Папа: Подловила, подловила, смешно! Да нет, Маш, я правда три дня как вернулся. Три месяца в невесомости. Как думаешь, какая у меня должна быть походка? Обыкновенная, космическая. Почти что лунная.

Мама: Да? А я не знала. Думала, приземляешься и, как обычно, ходишь.

Папа: Скоро так и буду.

Мама: И что, тебя так легко из Звездного городка отпустили?

Папа: Как видишь, не очень легко, иначе бы не опоздал.

Мама: А у тебя проблем не будет?

Папа: Будут, но только если не предъявлю твое фото в оправдание.

Мама: Да ну тебя. Я же серьезно.

Папа: И я серьезно. С тебя фото.

Мама: Мм. И часто вы так после космоса на свидание ходите?

Папа: Впервые.

Мама: Прямо уж впервые?

Папа: Ну я же первый раз с орбиты прилетел.

Мама: Аааа.

Папа: И кстати, не с пустыми руками. Цветов, прости, не нарвал, и вот почему.

Мама: Почему же?

Папа: Счас-счас *(Настраивается.)* Ромашки для Наташки, барбарисы для Ларисы, тюльпаны для Светланы, мимозы для Розы, гвоздики для Вики, Георгины для Ирины, лютики для Анютика, пионы для Илоны, хризантемы для Эммы...

Мама: А настурции?

Папа: Какие настурции?

Мама: Тоже цветы такие.

Папа: Да погоди ты! Какие настурции? Ну вот, сбила. Все утро придумывал.

Мама: Ого! Вот это подвиг. Сударь, вы настоящий поэт.

Папа: Подожди. пионы для Илоны, хризантемы для Эммы... а для Мани, внимание! *(Лезет в карман.)*

Мама: Говорит Германия?

Папа: А для Мани — лунный камень. *(Достает из кармана небольшой осколок камня на веревочке, протягивает Маме.)*

Мама: Ого, вот это перформанс. Прямо с Луны? А ты разве на Луну летал?

Папа: Нет, конечно. Из музея космонавтики свистнул.

Мама: А тебе ничего за это не будет?

Папа: Нет. А еще вот. *(Из другого кармана достает небольшой тюбик, подкидывает в воздух, тот падает на землю.)* Да елки... *(Нагибается, поднимает тюбик, снова подкидывает, тот падает.)* Привык, что они там сами в невесомости летают. Это тебе, в общем.

Мама: Что это? Гель для бритья?

Папа: Как гель? Суп.

Мама: Написано же — гель.

Папа: Да еклмн... В темноте собирался, видать, тюбики перепутал. Ладно, давай сюда.

Мама: Ну уж нет. Подарки не отдарки. Пригодится.

Папа: Неудобно получилось. Хотел понтануться — супом угостить...

Мама: Можешь угостить мороженым — тоже неплохо. *(Берет Папу под руку, так и идет — Папа, пошатываясь на ходу, Мама с трясущимися от смеха плечами.)*

Конец

30

В аквапарк мы не едем. Вечером я сижу за компом. Фотошоплю очередную аватарку. Слышу шорох в коридоре, тут же грохот, как будто кто-то тычется в темноте и, наткаясь на мебель, валит на пол стулья, полки, картины. Выбегаю, Ма. Видно, что растеряна, даже напугана, уронила как раз обувницу, нагнулась, пытается поднять, снова роняет, махнув рукой, оставляет как есть.

— Ты чего?

— Вадзим.

— Что вадзим?

Тишина. Ма в какой-то прострации. Смотрит, словно сквозь меня, зрачки расширились максимально.

— Что Вадзим? — повторяю вопрос.

— Попал в аварию, — говорит мама дрожащим голосом и пугается еще сильнее.

— Живой?

— Сплюнь...

Ну, ок. Тьфу.

— Живой-живой, — убеждает она больше себя, чем меня, — в больницу отвезли. Надо ехать, надо ехать, — и садится на обувницу.

Я поднимаю ее, я вызываю такси, отправляю маму до больницы, сам не еду, вот еще — помогать всяким вадзимам. Пытаюсь смотреть видосики, пытаюсь читать. Не получается. Переживаю за Ма. Только за нее. Она присылает смс: «Ложись спать. Останусь у бабушки, от нее ближе. Все нормально, сломал ногу, ушибы несильные, оставили до утра, понаблюдает. Обнимаю, мама».

Эх, только нога, а я уж думал, карма и все такое. Думал, может, все наладится, заживем, как раньше, дружно и почти счастливо. Хотя за маму я точно испугался. Не за него же. Но хотя бы аквапарк отпал. Не очень туда хотел на самом деле. В итоге ложусь мегапоздно, утром впервые в своей жизни просыпаю (забыл завести будильник).

Успеваю к третьему уроку, но не хочу. Тупо не хочу никуда идти. Не хочу работать. Валяюсь на кровати. Смотрю в потолок. Что делать? Почему все именно так, кто

и когда решил, что моя жизнь должна измениться? Пишу маме: «Я проспал и чувствую себя не оч, слабость, тошнит, можно не пойду в школу?» Через три минуты ответ: «Ничего не болит? Вызвать врача?» — «Да не надо, просто тошнит, как Вадзим?» Мне пофиг, если честно, как он там, но это такой ход. За него Ма сейчас явно больше переживает, поэтому и меня доставать не станет. Так и есть. Пишет: «Выпили, все нормально, закрытый перелом. Хорошо, я позвоню Галине Федоровне».

Вот и прекрасно. Можно целый день валяться. Работать тоже желания нет. Вечером засяду, а пока надеваю папин халат, укутываюсь в него, включаю проигрыватель, группа «Самоцветы», сажусь в кресло, качаюсь и слушаю. За окном дождь. А мне тепло и уютно. Мысли успокоились, словно пригрелись и уснули, как Ричи и Чарли на своих зеленых ковриках. Еще бы кофе. Не вопрос. Завариваю, вдыхаю ароматный и тонкий дымок кофе, качаюсь. Время словно застыло, как на старой выцветшей фотографии.

Колышется дождь густой пеленой,
Стучатся дождевики в окошко твое.
Сегодня мечта прошла стороной,
А завтра, а завтра ты встретишь ее.

Дождь, правда, не такой густой и, кажется, совсем закончился, но в остальном подходит. И «встретить ее» было очень даже неплохо.

Не надо печалиться —
Вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди —
Надейся и жди.

Ага, впереди. Прикол, если бы это пели восьмидесятипятилетние пенсы. Но так-то, конечно, да. Впереди еще много всего. Странно, я вроде и раньше слышал эту песню, но про «надейся и жди» вообще не задумывался. Может, так и надо, раз даже в песне поют? Или это просто устарелые аффирмации? Когда ее писали? Лет пятьдесят назад, если не больше? Ладно, пофиг.

Беру альбом и просто рисую. В смысле не новую главу романа или переделываю старую, а все подряд: блуждающую комету, девочку на краю обрыва. Увлекаюсь. Пластинка давно закончилась, а я даже не заметил. Рисую, рисую. И вдруг звонок.

Кто? К кому? Зачем?

Подхожу к двери. На пороге Таня. Ого. Встреча века. Открываю.

— О, знакомый халат, — хихикает она.

— Таня... Ты бы хоть предупреждала.

— Да ладно, не парься. И давай только без переодеваний.

— Ок.

— Чаю нальешь? Можно без ватрушек.

— Налью. Но вроде и кола была.

— Да лан, давай чаю.

Провожая ее к себе в комнату. Она тут же усаживается в кресло, я иду на кухню. Быстро ставлю чайник. Таня! Сама пришла, каеф. Мне реально ее не хватало, и хорошо, что не обижается.

— Что там в школе? — кричит она, чтобы я услышал.

— А ты не была, что ли? — кричу удивленно в ответ.

— Неа. Ты, получается, тоже?

— Да я сегодня чего-то...

— Да лан. Тебе не страшно. Ты ж все равно отличник-ботан.

А вот это немного обидно. Хотя и правда.

Чайник закипает. Несу ей кружку.

— Роман опять рисовал? — спрашивает Таня, кивая на альбом.

— Типа. То есть не совсем. Показать?

— Да лан, не надо. Ты вроде и так все рассказываешь, — отмахивается она и делает осторожный глоток.

Вроде пьет, как все девочки. Ничего необычного. Но мне приятно смотреть на то, как она расправляется с чаем. Сам не замечаю, как губы растягиваются в улыбке.

— Чего довольный такой?

— Да так. Просто.

Таня хмыкает.

— Ну давай врубай, — говорит она, откинувшись на спинку.

— Кого?

— Ну этого... Француза. Как там... — она закатывает глаза, пытаясь вспомнить песню, которую поет тот самый француз.

А я думаю о том, как было бы здорово и офигенно каждый день видеть эти удивительные глаза, зеленые, как изумруды, наблюдать, как разгораются в них искорки от смеха, растворяться в них, как в утреннем солнечном свете...

— Такату твою, — вспомнив, добавляет Таня.

— Аааа, Дассена, что ли? — соображаю я, что за француз. — Сча.

Нахожу нужную пластинку, ставлю вместо «Самоцветов». Веселенькая песня, но Таня снова кривится.

— Че-то тоже такое себе.

Не зашло. По музыке пока у нас непросто. Надо найти, в чем мы можем совпасть.

— Ну, это ж дедушкино, — оправдываюсь я. — Могу «Ангелов» включить. Тебе вроде зашло.

— Не, не надо, — говорит Таня, допивая чай. — Че там Вадзим? Все бесит тебя?

— Ага. Но он, это, в аварию вчера попал, прикинь?

— Ого, — искренне удивляется Таня. — Живой?

— Вот я так же вчера у мамы спросил, она чуть не наехала на меня. Да живой, че с ним будет? Ногу только сломал. В гипсе теперь. Мама не удержалась, в больницу вчера к нему уехала. Тоже мне трагедия века.

— А я думала, вы уже вместе отзывы пишите и в лазертаг играете, — подкалывает меня Таня.

— Да иди ты!

Делаю вид, что замахиwaюсь на нее пластинкой, она вскидывает руки, защищаясь от воображаемой угрозы. Я понарошку запускаю пластинку. Она понарошку отбивается. Все это мы озвучиваем, как удары в фильмах про кунг-фу. Чуф-чуф-чуф-чуф, чвонг. Смеемся. Так хорошо внутри. Тепло и приятно.

— А мои всё, разъезжаются, вообще разговаривать перестали, — неожиданно говорит Таня.

Настроение снова портится.

— Хреново.

— Яп, — соглашается Таня и задумчиво разглядывает свои носки. Оранжевые, с коричневыми пятнышками. В виде жирафа. Вспоминаю про кигуруми. С кигуруми носки сочетаются просто идеально. С черным худи тоже неплохо, но не так мило.

Молчим. Что тут скажешь? Но я таки нахожу шутливо-сочувственную фразу:

— Добро пожаловать в группу лузеров!

— Да лан, у тебя хоть мама довольная, — не соглашается Таня/Танчик/Тян... — Моя задолбала уже. С таким лицом ходит, как этот, Сквидвард из Спанч Боба. Сама решила разводиться, сама страдает теперь.

— Жиза... — вздыхаю я. Это правда, мы сами создаем себе целую кучу проблем. Без лишней помощи.

Неожиданно Таня вскакивает, накидывает на плечи рюкзак, решительно идет к двери, останавливается. Я смотрю на ее брюки, худи и думаю, что в платье, а не в этом оверсайзе она выглядела бы просто бомбически, как настоящая модель.

— И мы, это... уезжаем, короче, — не оборачиваясь ко мне лицом, тихо и грустно произносит Таня.

Я не могу поверить. Пожалуйста, хоть бы мне послышалось. Хоть бы она сказала «мы это уважаем», «мы лето провожаем» — что угодно, но только не эти ужасных два слова: «Мы уезжаем...»

— Чего?

— В Краснодар, — чуть громче рассказывает Таня, но по-прежнему не оборачивается, не хочет смотреть мне в глаза.

Я просто туплю, я не знаю, что делать. Я снова на краю, и кто-то незаметно столкнул меня с обрыва, я кричу, отчаянно машу руками, но не помогает. Я лечу, но не вверх, а в бездну. А как же вместе на Марс, как же... Краснодар — это так далеко. Таня, ну нет, ну пожалуйста, не надо! Что я сделаю? Что я могу сделать?

— К маме домой, — каждое слово выбивает почву из-под ног, пол начинает ходить ходуном, словно свирепствует землетрясение. — Она оттуда. Я, в общем, попрощаться пришла...

— Офигеть... — только и могу выдавить из себя.

Таня разворачивается. Я вижу, ей тоже очень грустно. Закусила губу, чтобы сдерживать слезы. Может, я придумываю, но было бы чуточку легче, если бы ей хотелось плакать. Да ни фиги не легче, ни на секстиллиардную грамма не легче. Я просто почему-то считаю, что это имеет значение. Это ни фиги не имеет значения. Ничего не имеет значения, кроме факта «Таня уезжает». Хоть новый роман пиши. Мне не хватает воздуха. Я задыхаюсь. Я вновь придавлен органом. Просто не могу пошевелиться.

— Пока, что ли? — шмыгает носом Таня.

— Так, может, обнимемся? — сам сейчас расплачусь, как трехлетняя девчонка.

— А смысл? — вздыхает Тян.

— Не знаю, — вздыхаю и я.

— Вот и я не знаю.

И вдруг как сорвется с места. Не успеваю сообразить, как оказываюсь в ее объятиях. Обнимашки... Прижимаю крепко-крепко. Чувствую аромат ее шампуня. Нежный такой, как рафаэлки. В смысле кокосовый. Не отпущу, не отпущу, не уезжай, пожалуйста, не надо... Вот, вот какой фрагмент нужно остановить. С нежным прикосновением, теплом, запахом кокоса. Теперь все рафаэлки на свете будут мне напоминать о тебе. «Вся жизнь впереди». Вот только таких моментов больше не надо. Спасибо. Пусть лучше приятные встречи, а не наоборот. Прижимаюсь губами к ее щеке. Мягкая такая, тонкая...

— Это уже лишнее, — говорит Таня и отстраняется.

Беру ее за руку.

— Ну, ты, это... Будешь же писать?..

— Само собой, в вкашечке споемся.

Отпускаю руку, вздыхаю.

— Фигово, блин.

Молчим. Грустно и больно. Невыносимо.

— А, да. Это тебе, — снимает рюкзак, расстегивает, вынимает из него мяч и протягивает мне, — Он, это, с чемпионата мира, с автографами там всяких Неймаров, Месси, Суареса.

Вспоминаю, как Таня гоняла мяч по полю. «Пасую, пасую!» — и как лупанет до штрафной сразу. У нас же скоро намечался матч. Без нее играть совсем не хочется.

— Ого, спасибо, а зачем? — не втыкаю я. Это очень неожиданно и приятно.

— Не знаю, в музей тебе. Или продашь, в копилку на Марс добавишь. Лан, пока, — скороговоркой произносит Таня и быстрее ракеты вылетает из комнаты, обувается.

Я выхожу вслед за ней, но вижу только, как ее рюкзак мелькает в проеме входной двери. Секунда, и все, буквально растворилась в воздухе, как фея.

— Пока, — прощаюсь я, но вряд ли она уже это слышит.

Да что за нафиг? Так и стою с мячом в руках, даже не догадываюсь подойти к окну, в последний раз посмотреть, как она уходит, убегает, исчезает навсегда. Когда соображаю-таки, распахиваю створки, высовываюсь на улицу, там никого, и снова идет дождь. Бесконечный, густой, теперь уже как в песне.

31

ТАНЯ!

Т

А

Н

Я

Тян.

Кардиограмма прощаний.

32

Планета шерстяных клубков

Люк стоит напротив Тяни. Неподалеку от них корабль Вадзилы Георгича.

Люк: Может, еще передумаешь? Тебе же явно не за тридцать.

Тян: Тятятятятятятя. (*Качает головой.*)

Люк: Ну... Я так привык к тебе уже, к этому твоему тятятя.

Тян обнимает Люка, резко разворачивается, Люк стоит растерян, так и не опустив руки. Тян останавливается, подбегает к Люку и обнимает его крепко-крепко.

Тян: Тятятя.

Люк: Угу. (*Еще крепче прижимает к себе Тяню.*)

Наконец объятия прерываются. Тян уходит вдаль, по пути схватив клубок, и начинает с ним играть, как настоящая кошка. Люк провожает ее взглядом, пока она совсем не исчезает из виду.

Голос Вадзилы Георгича: Люк, пора. Надо уметь отпускать. Так лучше для всех.

Люк: Да много вы понимаете. Это же Тян... Как теперь без нее?

Люк бросает взгляд на горизонт, за которым пропала Тян, резко идет к кораблю Вадзилы Георгича.

Вадзила Георги ч: Сначала всегда больно, но...
Люк: Да заткнись ты!..

33

Дальше все как в тумане. Что-то происходит, а я будто вне этого, меня тупо несет течение. Я не сопротивляюсь. Есть такой мемчик: «Есть мечта? Беги к ней. Не можешь бежать? Иди. Не можешь идти? Ползи. Не можешь ползти? Ляг и лежи в направлении мечты». Так вот и я, только без мечты и без желаний. Забываю на все, и пусть само несет. Как большая черепаха, расставил лапы в стороны, не двигаюсь и только изредка выглядываю на поверхность, изменилось ли что? Есть что-то интересное на горизонте?

Нет, нет и нет.

Таня уехала. Мама носится с вадзимом, как с маленьким, кружится вокруг него, чуть ли не с ложки кормит. А мне плевать. Даже злость пропала. Ну, есть он и есть. Как коронавирус. Видимо, это надолго. Потом, может быть, снова вернутся чувства, будет раздражать с новой силой, а пока...

Работать не могу. Извини, Маск, на Марс, видимо, без меня. Буквы на мониторе сливаются в кашу из подгоревшего риса. Какие, нафиг, шампуни с магазинами?

Каждый день пишу Тане. Ерунду всякую. Шлю музыку, мемчики, видосики. Она не в сети. Три, пять дней, бесконечность. Но я шлю-шлю, не успокаиваюсь — когда-нибудь же зайдет. В вк. В телегу, в ватсап.

В школе ни с кем не разговариваю. Спросят, отвечаю. Это как-то на автомате. Макс с Лехой на меня обиделись. Нет, на квиз они таки меня вытащили, но мы проиграли, то есть не проиграли, заняли четвертое место. Но я правда мог взять пару вопросов, и тогда бы дотянули до второго места. Мог, но не взял. Лезову отправили на конкурс чтецов. Будет читать свои стихи и Фета. Только в обратной последовательности. Меня тоже хотели, но я специально перепутал строчки, стал заикаться, и решили не рисковать. Хотя когда, как не сейчас, я мог бы искренне прочувствовать и проникновенно произнести стихи Маяковского:

Слов моих сухие листья ли
Заставят остановиться,
Жадно дыша?
Дай хоть
Последней нежностью выставить
Твой уходящий шаг.

Твой уходящий шаг. Ушла уже, уехала... А нежности скопилось море, океаны, галактики.

Единственное, чему пошло на пользу такое мое состояние, — бег. Бегать становится намного легче. Внутренняя боль перекрывает внешнюю. И даже непрекращающаяся слякоть не помеха. Втапываю в грязь все надежды и мысли. Надежды и мысли, надежды и мысли. Мыс Доброй Надежды. Мышь доброй Надежды. Мыс бодрой одежды.

Ночью снится папа. Как всегда, в скафандре, как всегда, мельком. Вылезает из своей ракеты, машет мне сверху, и обратно, и улетает. Только и видели. Поворачиваю голову — мама улыбается. Поворачиваюсь к стенке — темный квадрат обоев.

34

Пользователь Таня Белова был(а) давно.

35

Вечером сижу в кресле. Пытаюсь читать. Не читается. Темнота постепенно пробирается в комнату. Сперва заполняет углы, затем растекается по всей площади. Лампу не включаю. Вспоминаю, как Таня появилась здесь впервые. Как она трогала все, разглядывала, обозвала музеем. Наверное, так и есть. В музеях же берегут историю, дорожат экспонатами, можно сказать, живут прошлым... Целый вихрь ворвался в мою вселенную вместе с ней.

Открывается дверь, входит мама.

— Что это ты в темноте?

— Да так... просто.

Включает лампу. У нее уставший вид, но глаза светятся, сияют, как и бриллиантик на кольце.

— Не порть глаза. «Просто».

— Хорошо.

— Все нормально?

— Угу.

Поговорили, молчим. Дождь барабанит по стеклу.

— Леш, мы завтра на конкурс едем, — сообщает.

— Ну, ок. Бабушка придет же?

— А бабушка в санаторий завтра уезжает, ты что, забыл?

Действительно забыл. Вспоминаю, что после неудачного «побега» вообще с Ба больше не общался. Да уж, хороший внук, лучше не бывает. Я ж давно простил, да, в общем-то, и не злился на нее.

— А, точно.

Так, стоп, если Ба тоже уезжает, я, получается, останусь один? Нормально. Можно замутить вписку, пригласить всех. Можно... да ничего не можно, так же буду сидеть в кресле и слушать Ваню Дмитриенко.

— Останешься с Вадзимом, — говорит мама.

Вот так, Леша. Размечтался. Вписку с вадзимом не хочешь?

— В смысле? — я реально офигеваю.

— Ну, куда он с такой ногой?

Привет, эмоции! Вы снова в деле.

— И че? — чуть ли не кричу.

— И все, — спорить Ма не намерена. — Присмотрит за тобой, а ты за ним.

Ну спасибо. Мечта века. Мам, ты умеешь реанимировать чувства.

— Я и один могу.

— Да, опять суп поставишь разогревать и пожар устроишь, — возражает она.

Так себе аргумент.

— Это было два года назад, — а вот это достойный ответ.

— Ничего не знаю, — не сдастся Ма, — все, решили: мы уезжаем, вы остаетесь.

— Ну...

— И никаких «ну» мне. Разговор окончен. Вернусь через пять дней.

И вышла. И лампочка погасла. Перегорела. Эффектнее было бы, если бы лопнула и осколки повсюду и в самое сердце, но нет, просто перегорела, просто отжила свой

век. Прощай, покойся с миром. Свет не включаю, сижу так же в темноте, пока не начинаю отрубаться. Затем ложусь на кровать и засыпаю.

36

Дальше снова туман. Люди и события выплывают из-за дымки, мелькают перед глазами, я реагирую, но при первой же возможности прячусь в густую пелену обратно. Таня молчит. Надеюсь, хотя бы долетели с мамой. Конечно же, долетели. Но что, она разве не скучает? Не может не скучать. Тогда почему не выходит на связь? Ладно, верю, что все в порядке. И не жду. Решил же ничего не ждать. Если что, поеду учиться в Краснодар. Есть же там нормальные универы? Да по-любому, и, наверное, не один. Вон в КГУ поступлю на художку. Необязательно же быть космонавтом, чтобы окататься в космосе. Достаточно иметь фантазию.

Мама уехала. В первый день возвращаюсь с уроков и не выхожу из комнаты. Только на прогулки с Ричи и Чарли. Может, тоже завести песеля? Живчика какого-нибудь, чтобы напоминал Таню. Будем с ним гулять вот так по лужам...

Лысый вадзим что-то говорит, предлагает поиграть или что-нибудь посмотреть вместе, отмазываюсь, что уроки, много работы и вообще. Нашел развлекателя себе. Если скучно, пусть к друзьям едет. Я ему не друг. Он что-то бурчит, но не настаивает. Вот и отлично. Сам себя развлекай, мамаулыбател. Да, пусть так и будет, не нужен мне папазаменитель, будь просто мамаулыбателем. А я, как окончу школу, свалю сразу в Краснодар.

На следующий день он встречает меня «Цезарем» и фалафелями. Мегакулинар, обладатель звезды Мишлен и все такое. Пробую. Ну, норм... Молодец, че. Снова забираюсь в комнату. Решаю-таки немного работать. Фотошоплю. К отзывам принципиально не притрагиваюсь. Может, потом. Да и на фотошоп не просто настроиться. Без мотивации работать сложно, а какая у меня сейчас мотивация? Заработать побольше, чтобы без проблем переехать в Краснодар? А если Таня так и не ответит? Достаяю из-под кровати мяч. Вряд ли, конечно, но мне кажется, что он пахнет ею. Нюхаю, ну точно, есть какой-то едва уловимый цветочный аромат.

Перечитываю роман. Грустный последний эпизод. Может быть, будет продолжение, и Тянь с Люком обязательно встретятся. Было бы супер... Но пока — неизвестность.

Вспоминаю про папу. Он готовил ежики. Из картошки. С чесноком и молотым перцем. Чистим картошку (эта обязанность была закреплена за мной), трем на терке, соль, перец, чеснок, добавляем яйцо, чтобы скрепилось, лепим котлетки, и вуаля. Простенько, но довольно вкусно. Мне нравилось. Хотя чаще всего ежики подгорали или разваливались на сковородке. С маслом он постоянно не угадывал. Ну и что? Все на свете отдал бы сейчас за такой ежик. И пофиг, что фалафели вкуснее.

Опять голосую. Опытный голосовальщик. Беру расшифровку. Печатаю. Из коридора голос. Снова зовет что-то смотреть. Можно ж было уже понять. Я не буду ничего с тобой делать. Мы просто ждем маму. Оба. Так что можешь больше не предлагать.

Нет, нет и еще раз нет.

Печатаю почти до самой ночи. Завтра воскресенье. Не страшно. Можно сидеть допоздна. Вдруг слышу храп. Обычный храп, бывает же совсем противный — пороссячий-бесячий, а этот нет — просто шум, не самый приятный, разумеется, но терпимо, мягче, чем у Ба. Все равно выхожу в коридор, продвигаюсь в зал, заглядываю. Уснул прямо на диване. Перед телевизором. Притомился наш вадзимка. Выключаю телик. Смотрю на лысину, нарисовать ему что-нибудь маркером? Газонокосильщика,

или крестики и нолики, или что-нибудь посмешнее? Но словно разузнав о моем желании, он поворачивается на бок, перестает храпеть. Из-под пледа вылезает гипс. Грубый такой, сероватый, рельефный, как стены в больнице. На гипсе тоже можно что-нибудь нарисовать. Я когда руку ломал на физре, мне весь класс потом на гипсе расписывался. Ладно, не буду ничего рисовать. Обойдется. Думаю, разбудить или нет, чтобы ушел к маме в спальню и там дрыхнул. Решаю не будить. Здесь тоже нормально. А то будет по полу скакать, соседей перебудит.

Перед сном слушаю Билли Айлиш и тоже вырубаюсь. День вышел долгий, нудноватый и не самый приятный.

Утром я еще сплю, но слышу какое-то тупое пиликанье. Вроде не мой будильник, но что это, не врубаюсь. Дай поспать, что бы то ни было! Ага, фиг тебе! Пиликанье повторяется. Разлепляю глаза, точно не мой будильник. Кажется, из соседней комнаты. Значит, трезвонит у фалафелиготовителя.

— Ну, камон! — кричу недовольно. — Девять утра.

Звуки смолкают. Вадзим что-то бормочет, но точно не мне, потому что вообще ничего не разобрать. Все, спим дальше. Как назло, заснуть не получается. Ворочаюсь, ворочаюсь — ни в какую. Спасибище! И снова тупая мелодия, но теперь уже секунд пять, не больше. В общем, я злой. Встаю с кровати, напяливаю спортивные, толстовку, дождевик. Решено — время бега.

Выхожу в коридор. Он уже в душе или в туалете. Ок. Потом умоюсь. Вставляю наушники. Поехали! То есть побежали.

Дождевик, конечно, хорошо, но надо было еще калоши надеть или хотя бы резиновые сапоги. Лужи такие, что через день-два такими темпами по дорогам можно будет только на лодках или гондолах передвигаться. Как в Венеции. Стараюсь обегать канавки, а то брызги во все стороны, неудачно ставлю стопу, блямц. Приплыли. Подворачиваю ногу, хромаю. Ну, супер! Давно не было и вот опять. Пробую не обращать внимания на боль.

Бежать еще о-го-го сколько. Но фигушки. Разве что прыгать на одной ноге смогу какое-то время. Набегался. Возвращаюсь, поджимая стопу, опираюсь только на носок, и то слегка. Бежал три минуты, возвращаюсь десять, если не больше.

Захожу домой. На всю квартиру запах яичницы. Слышно, как шкварчит масло. Разуваюсь, иду хромая. Папазаменитель выглядывает из кухни.

— Опа, Лешич, а ты чего это?

Ничего. Не видно, что ли? Хромает человек.

— Или меня решил поддержать?

— Очень надо.

Смотрю на него с вызовом.

— Слушай, прояви сочувствие, мы теперь, можно сказать, братья по несчастью.

Не брат ты мне, дядька с тупыми усиками.

— Ничего, бегал, подвернул немного.

— Ну-ка покажи.

Может, он еще доктор медицинских наук? Не удивлюсь. Подходит, то есть, скорее, подпрыгивает, осматривает стопу, надавливая, но не сильно, я кривлюсь.

— Не страшно. Небольшое растяжение. Надо приложить лед. Сейчас организуем.

Организатор. Но вообще, смешно, да. Два калеки. Мама бы увидела — в обморок упала, но зато никогда бы вдвоем уже нас не оставила. Упрыгав на кухню, возвращается со свернутым полотенцем. Внутри лед.

— Приложи.

Прикладываю. Нога быстро мерзнет, немеет. Не самые приятные ощущения, но это лучше, чем когда от боли стреляет в висках, так что приходится зажимуриваться.

— А ты в чем бегаешь? В кедах?

Показываю свои кроссы. Легкие, потрепанные, подошва тонкая. Ну да, больше на кеды похожи.

— Надо в беговых кроссовках, — с таким выражением на лице говорит, как будто лекцию в универе читает. — Купим тебе потом.

— Обойдусь.

— Ну, что ты опять? Я не для того, чтоб понравиться.

Ой-ой-ой, а не так, что ли?

— Просто они реально нужны, иначе серьезные проблемы потом с костями будут. Тем более у тебя организм только растет, скелет не окреп.

А я-то не знал.

— И еще. Ты когда бегаешь, стопу как ставишь?

— Никак.

— Или ты на руках бегаешь?

Шуточки-приколышки. Концерт Вадзима Селиванова. Sold out.

— Ну, ладно тебе, покажи, как ставишь.

— Ну так, — ставлю здоровую ногу так же, как при ходьбе. С пятки на носок.

Он явно недоволен.

— Я так и думал. Что ж вам на физкультуре не рассказывали, как правильно бегать? Кстати, да вообще не рассказывали. Или я как-то случайно пропустил.

— Нельзя на пятку, стопу убьешь и колени.

Я представляю, как можно убить стопу и колени. Их выводят грозные охранники в черной униформе, снимают с них наручники, сажают на электрический стул. Хотя нет. Они жертвами должны быть, а не наоборот. Я же их мучаю. Тогда так: из подворотни выскакивает маньяк с большим ножом в руках, как в фильме «Крик», и закалывает по очереди, сперва колени, затем стопы.

— Надо на носок и постепенно увеличивать дистанцию. А то тоже с непривычки воспаление надкостницы получишь, еще хуже будет.

Ну, про постепенное увеличение я в курсе. Так, собственно, и делаю.

— Если хочешь, можем составить тебе правильный график. Или потом вместе бегать будем, когда в норму приду.

— Не надо мне ничего.

— Что ж ты злой такой? — чуть не подпрыгивает от досады. — Голодный потому что?

Я хмыкаю. Забавно он бесится. Еще бы уши горели, было бы вообще смешно.

— Завтракать будем? Яичница готова. Поешь, может, повеселеешь.

— Как хотите.

— Так, хватит выкать, последний раз говорю. Еще раз выкнешь, словишь фофан. Ого, угрозы уже пошли.

— Что смотришь? Что такое фофан, знаешь?

Обыкновенный щелбан. Назовут же — фофан. Почти Феофан.

— Знаю. Как хочешь.

— Уже лучше. Но надо было сказать, давай завтракать, Вадзим. Ты, наверное, тоже проголодался.

Детский сад какой-то.

— Мне пофиг, — и ухожу в ванную.

Принимаю душ. Вот сейчас ледяная вода для стопы самое то. И в целом бодрит, прямо ух. Растираюсь полотенцем, а сам вспоминаю наш диалог. Бегать он со мной будет, как же... Может, и на Марс полетишь за компанию?

Захожу в комнату, переодеваюсь.

— Завтракать!

Ух, какой грозный. Нет, ну ты слышал? Папа на фотографии тоже негодует за компанию. По крайней мере, мне так кажется.

Двигаю на кухню.

Опять у него звонит телефон. Хоть бы мелодию нормальную поставил. Сбрасывает.

— Лешич, а ты давно бегаешь? — спрашивает чересчур бодро.

— Полтора года.

— И не худеешь?

Уел, да?

— Почти нет.

— А знаешь почему?

— Почему?

— Мама с бабушкой тебя слишком любят.

Клюканулся? Это тут при чем?

— В смысле?

— Закармливают тебя. Ватрушки эти, шоколадки. Ты же единственный мужчина в семье, вот они и рады стараться.

А, поэтому ты решил стать вторым мужчиной в семье и спасти меня от ожорства? Нефиговый план. Альтруизм — сто баллов.

— Никто меня не закармливает.

— Слушай, я до восемнадцати лет вообще пухлый был. Девяносто килограмм весил. А потом ради эксперимента год решил сахар не есть. И что ты думаешь? До семидесяти килограмм сбросил. С тех пор сладкое только по праздникам, и то не по всем.

Может, тебе еще шоу начать вести на телике. Или канал на ютубе. Миллионов триста подпишется, не меньше.

— Ясно. Поучительно.

— Ты тоже попробуй. Вообще, знаешь, менять что-то в жизни всегда хорошо. Я вот всего одну букву к имени добавил, и жизнь другая совсем началась.

Так вот оно что! Офигеть. Это ж надо было догадаться, самому из нормального имени сделать бесчечее? И как это работает? Вселенная такая: «Ой, как с именем тебе не повезло. Ну, лови компенсацию».

— В город к вам переехал, маму твою встретил. На вот, держи, — протягивает мне тарелку, но явно не с яичницей.

А до меня вдруг доходит. Получается, что эта сцена и остальное уродство последнего месяца произошли тупо из-за одной маленькой буковки? Пипец... Что, мне теперь тоже поизвращаться над именем? Стану Алексейч или Алексейн, и как поперет...

— Что это?

— Гранат.

Хотя и сам уже вижу.

— В сто раз полезней твоих ватрушек.

Это и ежу понятно. Как он его так быстро почистил? Я когда сажусь чистить, брызги на всю квартиру. Потом еще час стены от сока отмываю.

— Они не мои.

Наконец ставит на стол и яичницу, резанные овощи, «Бородинский» хлеб. С шумом закипает чайник. Завтрак — здоровее некуда. Не хватает только овсянки.

— Приятного аппетита.

— Угу.

Жуем в тишине. Вроде просто яйца, но все равно вкусно. Почти как у мамы. Допиваю чай. Последний глоток. Вскидываю, мою посуду, за ним тоже, покормил же.

— Да брось, я помою.

— Поздно, уже почти нечего мыть.

— Ну, спасибо. Гранат-то грызи.

Угу, грызи гранат науки.

— Потом. Мне работать пора.

— Фрукты надо есть в первой половине дня. Чем раньше, тем лучше.

— Понял.

— Да, кстати, отзывы твои. Много за них платят? — неожиданно спрашивает он.

— В среднем тридцать рублей за штуку. А что?

— Тридцать рублей за штуку, значит, всего шесть тысяч семьсот почти получается. М-да, не вариант, — задумчиво чешет лысину вадзим.

— Какой вариант? — не врубаюсь я.

И тут у него (уже в который раз за утро) звонит телефон. Но сейчас он не торопится отвечать.

— Звонят.

— Да слышу...

— Ответить не судьба?

— Да, надо ответить, — нехотя соглашается он и подносит смартфон к уху. — Алло. Да. Да никуда я, тут... да... Слушайте, давайте спокойнее... понял, да.... Не надо... Все... Все, я понял, сейчас выйду... Да.

— Проблемки?

— Все нормально. Я скоро, — подмигнув мне, он ковыляет к двери, берет костыль, выходит в подъезд.

Не очень похоже на нормально. Ну, ладно, ему виднее. Мне-то что. Мне работать надо. Иду к компу, включаю. Но внутри как-то беспокойно. К кому он там поскакал с гипсом своим? Это ж получается, сюда к нему приехали. В воскресенье...

Выглядываю в окно и офигеваю. Он стоит у подъезда, опираясь на костыль, а из большущего черного внедорожника вылезают два здоровенных мужика. Такие типичные бандосы из сериалов: бритоголовые, в адиках, накачанные-перекачанные. И уверенной походкой направляются к нему. Вадзим начинает что-то говорить, но, не дослушав, мужики хватают его, заламывают руки и уводят в сторону гаражей. Он беспомощно скачет на одной ноге. Что за? «Слово пацана» насмотрелись? Решили вернуть девяностые? Жесть. Выскакиваю в подъезд, забываю про стопу, перепрыгиваю через три ступеньки зараз. Только бы успеть, только бы далеко не ушли.

Успеваю. Выбежав на улицу, вижу их спины. Вадзим не сопротивляется, не кричит, а мог бы. Да что за нафиг? Кричу я.

— Эй, вы че творите?

Не то чтобы я весь такой супермен, но страх и правда в этот момент куда-то делся. Решил отстраниться, сам, мол, Леха, выруливай.

— Пацан, иди, куда шел, — басит тот, что повыше. Метр девяносто, не меньше.

— Вы че творите? — не успокаиваюсь я. Еще и сердце от бега колотится по-бешеному. — Я счас полицию вызову.

Вынимаю телефон, трясусь перед собой, чтобы хорошенько разглядели, подношу к уху.

— Алло, полиция!

— Так тихо, тихо. Все нормально, — напрягается уже второй.

— Ломоносова, десять. Срочно... — в трубку ору я.

Первый валит испуганного вадзиллу на землю и пинает. Тварь.

— У тебя три дня, ты понял? — грозно рычит второй, и они бегут к своему внедорожнику, как второклассники, спалившиеся, что бросают петарды всем под ноги.

Подхожу к Вадзиму. Помогаю подняться.

— И че это было?

Адреналин зашкаливает. Я действительно чувствую себя супергероем.

— Леш, да не надо было... — пытается говорить спокойно, но видно, что сам напуган, аж побелел весь. — Сами бы разобрались.

— Я вижу, как сами. Это что — бандиты?

Ну а кто еще? Понятно же. Просто мы поменялись ролями, мама перед отъездом сказала: «Присмотрите друг за другом», вот и присматриваю. И мне нравится, что сейчас я могу задавать такие вопросы, наехать на него, командовать.

— Да все в порядке.

Очень неубедительно.

— Или мне опять в полицию звонить?

— Ладно-ладно, — очень быстро сдается он. — Только маме не рассказывай. Так глупо все вышло.

Ну наконец-то, а то сколько умничал: «Бегать надо правильно, фрукты есть до обеда».

— Я в их «лексус» въехал. Не заметил, из-за поворота вылетел. А у меня страховка просрочена. Не успел переоформить... Решили, что сами договоримся. Ну, они «мазду» мою забрали и мало, конечно, говорят.

Разговорчивые какие...

— Еще полмиллиона требуют. Ну, я, сколько мог, нашел, кредиты взял, а больше не дают. А они больше ждать не хотят. Жесткие ребята.

Ребята? Да это реальные покемоны-убийцы.

— Говорят, машина шишки какого-то. И он не знает. Пока не знает. Поэтому ремонтировать срочно надо. А вот если он узнает....

Вадзим R. I. P.

— Но я найду, — скорее себя самого уверяет растерянный мужчина за сорок. — Может, займу у кого. Все равно квартиру хотел менять или продавать. Только так быстро не продать. Ты маме не говори, Леш. Не надо ей нервничать. Несмертельно. Я все решу.

Решала.

— И сколько осталось?

— Что? — не въезжает он.

— Сколько им нужно? — ого, как brutally прозвучало.

— Да двести с небольшим тысяч. Я займу. Ну или микрозайм возьму. Жесткие просто ребята....

Не плачь только.

Я разворачиваюсь и иду к подъезду. Внутри все кипит. Виски пульсируют. Мысли скачут, как блохи на шерсти новой для себя, неизученной собаки. Возможно, я потом пожалею об этом, и не раз, но... Оборачиваюсь. Он стоит в той же позе, жалкий, сгорбленный. Обычный, такой же, как все, с дурацкими усиками, с дурацким именем. Двести тысяч. Не так чтобы много, хотя для кого-то это целое состояние. Три года моей почти ежедневной работы. Одна сороковая билета на Марс... Возвращаюсь.

- Звони им, пусть вернуться.
- Зачем?
- Телефон целый? Звони, говорю.
- Он вынимает телефон, набирает номер, передает мне.
- Алло, подъезжайте, — таким решительным я еще не был...

Вместо послесловия

Я шел и думал. Ну ок. Ну побьют они его. Не убьют же. Хотя вот так бы — нет человека, и нет проблем. Но там же не двадцать миллионов и не десять. Так что не убьют, конечно. Но побить тоже по-разному можно. Еще инвалидом пожизненно, нафиг, сделают. А это не факт, что лучше. Он же правда не виноват. Ну, то есть виноват, но неспециально же. Так бывает.

Но потом я представил маму. Вот она приезжает вся такая довольная, счастливая, а тут раз и инвалид Вадзим... Конечно, она опять будет грустная, перестанет улыбаться. А это правда здорово, когда мама улыбается, тогда и мир как-то радужней, что ли, становится.

Да и он реально неплохой вроде. Не весь такой из себя хороший и замечательный, идеально чистящий гранаты, а просто нормальный, с косяками, как и все мы. Папа ведь тоже косячил, по мелочи, но косячил.

А на Марс я все равно не полетел бы... Ну, и он, конечно, развопился: «Отдам, отдам, все до копейки». Конечно, отдашь, куда ты денешься? За меня теперь отзывы писать будешь.

Это мамин выбор. Надо смириться.

Главное, что Таня все-таки написала. Правда, не скоро. Через неделю, если не две. Пишет, грустно ей в Краснодаре. Мама в депрессии и таскает ее вместе с собой к психоаналитику. А папа сюда зовет, скучает, но мама не пускает. Таня бесится. Из-за них и вообще, говорит, учиться сложнее. Нет таких ботаников, как я. Ну, сорян. Возвращайся. Я буду рад только... Летом попробую сам съездить на море и к ней, разумеется, заеду. Теперь мы постоянно переписываемся и даже иногда созваниваемся.

Вообще, я не знаю, как все будет. Может, норм, может, не очень, может, вообще начнется апокалипсис, и мы все станем зомби. Но пока мама улыбается, все и правда не так плохо.

А в жизни так бывает. Вроде нет злодеев, вроде не хуже, чем у других, и никто тебя не гнобит за то, что не такой, как все, не буллит, не шеймит, а все равно ...опа какая-то.

Просто это и есть — жиза.

Последний эпизод

Снова планета закатов. Тихо и красиво. Люк медленно подходит к небольшому холму, садится на него. Смотрит на закат.

Люк: Если мы когда-нибудь встретимся, то лучшего места не найти. Здесь офигительно красиво.

И вдруг с другой стороны появляется Пропавший космонавт. Он подходит к холму, на котором сидит Люк, взбирается на него и садится рядом. Сидят молча и смотрят на закат. Люк снимает шлем.

Люк: Красиво же?

Пропавший космонавт кивает в ответ, затем тоже снимает шлем, но тут же начинает распадаться на пиксели, которые улетают в космос.

Люк: Опять голограмма... Где бы ты ни был, пусть тебе будет хорошо...

Евгений ЭДИН

РАССКАЗЫ

Из цикла «Мы здесь в центре»

Прочитав новые рассказы своего земляка и двойного тезки Евгения Анатольевича Эдина, я наконец-то окончательно убедился, что живу не в СССР, а в какой-то другой стране. Нравится это вам или наоборот, однако Россия, Российская Федерация — это не СССР и, разумеется, не та дореволюционная территория, которой некогда управлял царь-батюшка.

Судите сами: место действия рассказов Эдина — все тот же старинный сибирский город Красноярск на Енисее, где я родился в 1946 году на улице Горького, из которой нынче сделали модный «красноярский Арбат», отреставрировали и раскрасили уникальные деревянные дома с мощными ставнями и металлическими штырями-запорами, издревле оберегающими мирных енисейских обывателей от «лихих людишек». Кругом теперь в моем городе стекло и бетон, аэропорт Емельяново нынче именуется Международным, а в центре Красноярска стоит потрясающий бронзовый памятник всемирно известному теперь художнику Андрею Геннадиевичу Поздееву, легендарному мастеру, которого при жизни некоторые его советские коллеги-соцреалисты именовали Андрюшей-дурачком.

Персонажи романа в рассказах Евгения Эдина тоже творческие личности, но совсем иного поколения, вряд ли знающего КОНКРЕТНО, что такое цензура и единомыслие, ныне прямо запрещенные соответствующими статьями Конституции. Так что функционер, науськивающий полицию на неугодных ему уличных музыкантов, должен понимать, что сам нарушает закон, возможно и не ведая того по своей чиновничьей ограниченности.

Я давно слежу за тем, что делает Евгений Эдин, который когда-то блистал на семинаре в Липках со своим огромным романом, где действие вершится в сибирском городе Отчинске, за которым без труда угадывался Ачинск, родина писателя, где он «гонял по крышам голубей». Это не мода, а потребность — качественно писать и описывать только то, что ты досконально знаешь. Вспомним «Екатеринбург» Валерия Исакова, «Правый руль» Василия Авченко, «Сердце Пармы» Алексея Иванова. Жаль, что этот роман Эдина до сих пор не напечатан. Огромный объем, не коммерческая, а настоящая литература. Может, эта публикация в «Неве» напомнит меркантильным издателям, что, вообще-то, литература — это Божья тайна, а денежки как придут, так и уйдут.

«Мы здесь в центре» — это Красноярск, который благодаря Астафьеву, Астраханцеву, Русакову, Задерееву, Эдину теперь тоже уверенно входит в современную русскую литературу.

Евгений Анатольевич Эдин родился в 1981 году в Ачинске Красноярского края, окончил Красноярский государственный университет. Редактор новостей на красноярском телеканале. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «День и ночь», «Урал» и др. Лауреат премий им. В. П. Астафьева и И. А. Гончарова. Автор книг «Танк из веника» (М., 2014), «Дом, в котором могут жить лошади» (М., 2018), «Нам нравится наша музыка» (М., 2019). Живет в Красноярске.

Какой смысл вкладывает автор в это название? Или что Красноярск некогда объявили центром России, или что каждый человек является центром своей жизни? Вопрос этот решат читатели или литкритики. А я, в данном случае тоже читатель, скажу, что новые персонажи Эдина с одной стороны ДРУГИЕ.. Иногда нервные, ломаные... То чересчур умные, то глупые. Но только С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ибо все они граждане страны, которую любят, для которых она вовсе не «ЭТА», а «НАША». «Со всеми ее отчетливыми мерзостями и таинственными воспарениями», как некогда выразился Василий Аксенов.

Евгений ПОПОВ

ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ

У входа в сквер Пушкина настраивались музыканты. Выставив колонку и микрофон, один из них (всего их было двое плюс кого-то девушка) пробовал гитару, проигрывая вступление «Группы крови». Звук то шел серебристой волной, то прерывался. Другой разбирался с барабанной установкой — вещь редкая в уличных концертах. Выдавал дробь, шипел хэтом...

Я вошел в сквер, огляделся. Она сидела одна, подходящая мне, с пшеничными волосами, с телефоном, нога на ногу в широких гачинах голубых джинсов. Иногда лицо ее озаряла улыбка — что-то хорошее, радостное было ей в телефоне. Она держала его в ладонях, набирая текст двумя большими пальцами.

— Знаете, как можно угадать возраст женщины с помощью телефона? — спросил я, присаживаясь рядом.

— Нет. И как же?

— Люди до тридцати обычно набирают сообщение двумя пальцами и быстро, а люди постарше — одним и медленно. Хотя я бы и так не дал вам больше двадцати.

— Мне ровно тридцать, — рассмеялась она, глядя на меня приветливо. — Через год начну набивать одним пальцем, значит.

— Вы любите уличную музыку? Вон те ребята собираются играть Цоя. Скорее всего, будут играть плохо. Но я все равно люблю уличных музыкантов. Как вас зовут?

— Дания.

— Как?..

— Да-ни-я.

— Вы выглядите как европейка.

— У меня мама татарка, — пояснила она. И я увидел, как по волшебству, проступившие сквозь бледную европейскость смуглые татарские черты. Я решил уже, что вечер спасен, что проклятие первого раза преодолено, но она вдруг встала.

— Извините, мне пора. У меня экскурсия здесь, на Мира.

— А, — сказал я, глядя снизу вверх. Ноздри ее отсюда выглядели широкими, лицо плосковатым. Что-то ускользало, уверенность ускользала, заключенная в эту девушку, не отвергнувшую меня. — Вы будете сейчас ходить в наушниках в толпе людей с загадочными и блаженными лицами. Они похожи на сектантов. Надеюсь, и у вас будет такое блаженное лицо, и будет вам хорошо. Слушайте, а мы могли бы встретиться потом? Просто поговорить о музыке или о чем-то еще.

— К сожалению, нет, я буду занята. Я в отношениях, — она улыбнулась, как улыбаются, глядя ребенка по голове. — У меня есть один человек.

— «К сожалению, в отношениях» или, «к сожалению, занята»? — Я даже потянулся, так, будто мне решительно все равно. — И все-таки дело в экскурсии или в одном человеке?

— К сожалению, я вынуждена вам отказать. Так будет правильнее.

Я кивнул.

— Ну что ж, тогда идите на экскурсию, улыбайтесь широко. Может, еще встретимся на улицах.

И она ушла. Действительно приятная девушка, белокожая татарка, имеющая один лишь недостаток — у нее есть один человек. Как глупо. Мне ведь надо от нее всего ничего: молекулу тепла, клеточку общения. Я ведь не собираюсь спать с ней. У меня тоже есть один человек. Но какого же рожна в таком случае мне надо? Зачем это ежевечернее преодоление себя?..

Все это лето было для меня откровением, открытием мира. Я начал знакомиться с людьми на улице. Я вышел в космос — так это чувствовалось. Это и был настоящий космос: люди, тебе незнакомые, далекие, внезапно оказались близкими и доступными. С большинством из них можно было вступить в диалог, получить волшебное чувство того, что мир раздвинулся и раздвинул объятия тебе навстречу. Что ты любимый им ребенок.

Я забросил книги и фильмы. Я использовал все свободные часы этого лета, чтобы завязать новые знакомства с людьми: с женщинами, мужчинами, юными скрипачами и гитаристами, эксцентричными алкоголиками, актрисами погорелого театра, прошелыгами риэлторами, народными умельцами и даже одной владелицей магазина для выездки лошадей. В мои сорок два я стал казаться себе более молодым, эксклюзивным, каким-то киношным персонажем, звездой улиц — этаким Рокки Бальбоа, недотепистым симпатягой, у которого впереди подвиг и слава. Не удивляйтесь. Если от природы вы интроверт, если узнать время у незнакомца для вас пытка, попробуйте как-нибудь преодолеть страх, стеснение, врожденную немоту и поговорить с кем-то на улице. Если у вас получится — вы подсядете!

И я именно что подсел. Раньше я любил гулять по городу в одиночестве или с Аней — смотреть на дома, общаться с деревьями, находя в них приятных собеседников. Сейчас же мне нужны были люди — только люди, с которыми можно заговорить, получив свою порцию коммуникационного кайфа. И я выходил с радиийной моей работы, из длинной девятины на Робеспьера, и рыскал допоздна, как одинокий волк, ища погони, ища работы для мышц; для нервов постоянного допинга искал я.

Первый подход задает тенденцию. Не получилось в первый раз — ничего не выйдет и во второй, и в третий. Я шел по Мира и думал: как прекрасен этот вечер, как он тепел и ласков, как он благодатен для того, кто способен довольствоваться самим собой, и как недоступны его блага мне. Ты уже не способен довольствоваться собой, ЕЭ — ты потерял целомудрие одиноких прогулок. Ты хочешь астрального секса, трения душ, хочешь взглядов, губ, говорящих слова и улыбающихся тебе. Хочешь ежевечернюю молекулу тепла, клеточку симпатии. Ты весь — символ хотения, символ неудовлетворенности тем, что имеешь; ты современный массовый человек отныне.

Пребывая в этих мыслях, я решил пойти на последнее дело, унизиться, подъехать остатки — я повлекся к Театральной площади, точнее, к перешейку, ведущему на площадь от Перенсона.

Некогда, со строительством здесь «Макдоналдса» и еще нескольких кубастых и пирамидальных, призывно сияющих светом из-под темного стекла заведений общепита, место это стало оплотом всяческой школоты, самой юной молодежи.

Они сновали здесь, между заведениями — циркулировали группками, волнами, образовывали водовороты, останавливались, говорили, смеялись и снова двигались

неугомонно и беспрерывно, как предписывает им их возраст, дающий уже избыток сил, но не дающий еще избыток возможностей. Раскрашенные, как команчи, разодетые, как чучела, пронзившие себя пирсой и изрешетившие тела тату, подметают они площадь длинными, в бахрому истертыми брючинами джинсов. Гремят цепями на цыплячьих шеях и браслетами на узеньких запястьях, блещут гарнитурой вздетых на себя черных кож, по моде оверсайзовых...

Чудная эта бездумная толпа с короткими мыслями была сейчас тем, что было нужно мне. Я сел на лавку и принялся смотреть на них, стараясь раствориться в этом смотре, чтобы отдохнуть от своей разгулявшейся самости.

Я смотрел и действительно погружался в волны некоего тоскливого, но цельного забытья. Мне казалось, я вижу словно бы единый организм, гидру, амёбу — нечто с обилием ложноножек то выступающих, то втягивающихся обратно в непознанном ритме пульсации. Они сидят, они ходят, они общаются, делая все так, как ты, да не так, как ты. Общую кожу снимаешь с себя только раз. Я скинул свою давно и навсегда попал в толпу взрослых одиночек, в то время как вы, еще не чищенные луковичи, гладки, золотисты — и хотя думаете, что одиноки, непонятны, на самом деле счастливы. Еще не то предстоит вам, еще не такое одиночество и непонятность, думал я с печалью прозрения.

Прохладный ветер подул и начал лизать шею холодным воздухом, принесенным с Енисея, что мощно течет за Театральной площадью, несет свои воды черт-те куда. Я закрылся от его приветствия, застегнул куртку поверх кофты, набросил капюшон кофты на голову. Я ждал, ссутулившись, чего-то, а может, кого-то...

И он, кто предстоял мне, был уже рядом. Он сидел с гитарой неподалеку на лавке, точнее, на комплексе лавок, соединенных в ломаную линию вдоль общепитов. Крупное тело, длинные волосы из-под бейсболки, юное лицо с полными губами, и щетина по щекам сбегала редко, пока не сбиваемая. Серая джинсовка снабжалась тусклым аксельбантом — самодельной параболой алюминиевых колец, пивных чек, вздетых на цепочку. «Металлист», — подумал я, пока еще равнодушно. Он слегка наигрывал, а потом запел, голосом громким, не очень музыкальным: «Неза-чем биться, не-чем делить-ся, все об од-ном!»

Песня согрела меня узнаванием. Я чувствовал еще печаль, но и как будто уже возможность. Я поглядывал на него через два чьих-то тела, чирикающих на своем птичьем, рыбьем, непознаваемом; слушал, как он поет и играет, перемещая по грифу ладонь в мотоциклетной полуперчатке.

Вот он закончил «Агату Кристи» и запел «Я на тебе как на войне». Оборвал. Начал в другой тональности. И я, с каким-то горестным «гори оно все», встал, обошел чирикающих, остановился перед парнем и подпел: «Я ска-зал: усы-покой-ся и рот закрой! Вот и все, до сы-вида-ния, черт с то-бой!»

Я пел, как глухарь, закрыв глаза, задрав голову. Рука моя вознеслась и производила слева у уха изящные движения. Я чувствовал, как чудесным образом кристаллизуется моя печаль, как становится она артистичной, как будничное серое небо покрывается художественной сепией. Невозмутимо, ничуть не удивившись моему непрошеному дуэту, пел он, и молчали чирикающие. Когда мы закончили, они захлопали нам.

— Здорово, молодец! — сказал я и протянул ему руку. — Её!

— Славик, — назвалса он по-детски, очень серьезный.

Кровь заструилась по моим венам, оживленная. Я был не один уже.

Подошел какой-то бедолага, похожий на Вячеслава Бутусова, со встопорщенными волосами и расширенными глазами, с очумевшим видом человека, проспавшего царствие небесное. Одетый не по погоде — в футболке, парусиновых штанах и сланцах — он стрельнул сигарету, закурил, уселся рядом, глубокомысленно покачал сланцем на чумазой ноге и спросил, играет ли Славик «Радиохед», «Крип».

Оказалось, Славик не играет «Радиохеда».

— Знаю, о чем речь, но не играю, — уточнил он внушительно, но и как-то трогательно, все более напоминая мне большого ребенка, вдвое младше меня и тяжелее кило на двадцать.

— Я могу сыграть «Радиохед», — сказал я, беря гитару. Я знал, что мне удастся «Крип», «Крип» поют персонажи пары моих рассказов.

Бутусов, встопорщенный, изумленный, сидел, упершись в лавку руками, с ничего не выражающим видом; нравится, не нравится ему — нельзя было понять. Потом он лег на лавку спиной — голова его исчезла из виду, свесившись вниз, — и пролежал так до конца песни; а в целом он привносил в наше сидение какую-то свою струю странности и случайности, непознаваемости жизни.

— Классно, — одобрил Славик, когда я закончил. — А можешь про «Отель „Калифорнию“»?

Я спел и «Отель „Калифорнию“», замечая, как косятся на меня дружелюбно праздные прохожие. Я думал о том, что музыка — вернейшая защита моя. Исполняющий музыку, я всегда буду принят и востребован так, как никогда не буду принят и востребован без музыки. Когда я исполняю ее, я подрубаюсь юэсби-портом к вселенскому потоку полезности, легитимности себя. Музыка никогда не отвергает меня, женщины же, случается, отвергают...

Шло время. Мутный вечер садился на головы. Чирикали тела. Бутусов куда-то исчез, но появилась еще одна фигура. Она подошла и села рядом, с серьезным задумчивым видом. Девушка в очках, тонких пропорций, немногих лет — быть может, шестнадцати, в кожаной куртке и темных штанах. Стройные свои ноги она, разув от грязненьких кедиков, вознесла на лавку, оплела их руками и пристроила подбородок на колени. А потом сняла и очки, сделавшись совсем поэтичной. Волна темных волос, колышемая ветерком, сбегала с ее головы.

— Классно, — сказала она меланхолично, когда я закончил. — И крутое произношение, такое «америкэн».

— А ты была в «Америкэн»? — улыбнулся я.

— Ага. У нас там родственники.

Я представился, протянув ей руку, и она согрела ее сухим коротким пожатием:

— Даша.

— Вячеслав, — сказал из-за меня Славик. И тут же я почувствовал, и, вероятно, он почувствовал, что стало нас трое, два мужчины и девочка, но женщина...

— Я посижу тут с вами, послушаю. Вы не против? — спросила она голосом несомненно женским — изрядно утомленным этой чертовой жизнью, немного в нос.

Мы кивнули. Ее аура, наложившись на наши, притушила их, слегка печально, художественно присыпала угли пеплом; мы помолчали, немного грустные и задумчивые, но вечер уже, я знал, спасен.

Славик спел подряд несколько песен, мне незнакомых.

— Что это? Цой? — поинтересовалась Даша.

— Это? Последние? — уточнил Славик, краснея. — А, так... Это все мои песни.

— Твои? — Округлила она глаза и рот. — Очень здорово!

— Молоток, братец! — удивился и я: песни действительно были неплохи. — И сколько их у тебя?

— В этом году написал штук сорок, — ответил Славик скромно.

— Штук сорок? Своих? Песен? — Даша была покорена и даже снова вздела на нос очки.

— Ты любишь Цоя, наверное? — предположил я, и он качнул головой отрицательно, хотя песни его рубленой своей простотой чем-то напоминали ранние песни тонкошеого мальчика Вити с копной курчавых волос.

— Не так чтоб мне очень нравится Цой, — пояснил он. — Так, кое-что только...

Даша смотрела на Славика широкими глазами, полными священного ужаса.

— Ну-ка вспомню и я свои, — сказал я, беря гитару, волей-неволей включаясь в соревнование, так это выглядело, так это и было. Я не хотел соревноваться со Славиком, не хотел побеждать его — и хотел победить, чувствуя заинтересованный взгляд девушки-девочки, который лила она из-под больших очков. Лет двадцать назад я написал штук двадцать песен.

Мы пели по очереди.

Я слушал Славика пристрастно, косясь на Дашу, которая была нашим арбитром, и пользовался как бы ее ушами, проникнув в мозг ей, и словно бы слышал мысли ее: в голосе Славик не мог состязаться со мной, в песнях мог же. Мои песни были ладны, чеканны, смазанными проникали в слух и помадой ложились на губы, начинающие подпевать им. Его же, грубоватые, киянкой деланные, обладали силой впечатления брошенного на стол с тарталетками куска сырого мяса. Жрите! — говорили они арбитрам в жабо, вертящим в пальцах семь сортов ножей и вилок, оттопырив жирные мизинцы. Он был хорош с ними, Славик, он не понимал еще, что грубоватая искренность — то, что будет в моде всегда, наряду с гламурной неискренностью, и не любил Цоя, потому что сам был в чем-то родственен ему. Простительно не любить и Цоя, обладая своим голосом в песне.

Даша слушала внимательно, но и как-то рассеянно, словно думая о чем-то своем, а потом нагнулась ко мне худым и гибким телом и сказала тихонько:

— Такое чувство, что я их где-то слышала уже, все эти песни.

Она была права. Это были усредненные песни русского рока, похожие на творчество десятков исполнителей, но не подражательные, а просто из того же источника — немного старомодные, однако привлекательно дремучие, существующие для себя. Так поет прибор, так поет заря, не нуждающиеся в слушателе. Они просто есть, они написались парнем со щеками и глазами ребенка, и это было все, что нужно. Он победил, да.

— У тебя есть канал? — спросила Даша Славика.

— Есть. «Дохлый пес», в телеге.

— Я буду учить твои песни теперь, — сказала она, набрав в телефоне, и обернулась ко мне:

— А у тебя?

— Не, как-то все не доходят руки.

Я был побежден в ее глазах, мне было немного грустно, но все же в чем-то приятно; было не стыдно проиграть человеку, годному мне в сыновья, которого я считал лучше и чище. Душа моя открылась; я занес Славика в ряды Настоящих Человечков. Я думал при этом: а настоящий ли человек я? Я знал за собой что-то хорошее, предполагал, что я не пустышка. При эгоцентризме мне свойственна жертвенность, я способен задвинуть свои интересы, способен быть оруженосцем человека, более

блестящего, чем я. Но еще я городской пижон, я серый волк, я вампир, рышущий, зыркающий, пьющий людей, — и это пригибало шею тому, что я в себе любил, не зная твердо — тому, что было во мне сейчас.

Вечер уже совсем упал на город, разгорелись фонари и вывески. За стеклом заведений яркие существа плавали в желтом масле своего благополучия, а мы сидели на лавке вдвоем, глядя за стекла, немного сердитые на всех, немного отчаянные, для пушей художественности.

Говорили в основном мы со Славиком. Даша молча сидела, пошевеливала в темноте светлеющими носочками с какими-то зверюшками и мерцала глазами. На пальце ее я заметил колечко из черного бисера.

— Вы оба такие талантливые. Мне очень круто сидеть с вами, правда. Жалко, что у меня нет никакого таланта, — сказала она и вздохнула.

Но у нее был талант — талант художественной грусти, талант вносить атмосферу — и длинные ноги с тонкими щиколотками. А это уже немало.

Когда Славик отошел купить кофе в красном автомобильчике неподалеку, она, доверительно качнувшись ко мне, спросила, сколько лет Славику, по моему мнению.

— Он сказал, что восемнадцать, — ответил я, тоже конфиденциально склоняясь.

— А я думала — двадцать один. А сколько же тогда лет тебе? — озадачилась она.

— Попробуй угадать.

Она смирла меня оценивающим взглядом, разматывая мои годовые кольца, как шарф:

— Ну... э... Двадцать три?

Я в голос рассмеялся, захохотал, как из пушки:

— С первой попытки!.. Ну а тебе?

Ей оказалось шестнадцать.

— Отличный возраст, — одобрил я. — Можно любить «Сумерки», читать Сэлинджера.

Она пожала плечами, слегка недовольная.

— Я брала недавно в библиотеке «Над пропастью...». Забавно местами, но в целом довольно скучно и банально, что ли...

— На самом деле это великая книга, — сказал я. Холден, который раздражал меня большую часть жизни, понравился лишь в прошлом году. — Попробуй еще разок как-нибудь. Это история юного пророка, создателя религии. Он ходит и излагает свое учение, точнее, он сам еще не понимает, что создает учение, просто ходит и рассуждает о всяком...

— Да? Надо перечитать, наверное...

— Есть хорошая песня у «Братьев Грим», «Место во ржи». То есть сама по себе песня так себе, но что-то в ней есть такое. Больше музыка, чем слова.

— Никогда не слышала. Надо послушать...

Вернулся Славик, таща не один, а сразу три стаканчика кофе, и вручил их нам, сияя исподлобья. Вокруг него полоскалась бы в воздухе чистейшая аура для тех, кто способен видеть ауры.

Я спросил, как ему удалось написать сорок песен за год. И он ответил с охотой:

— А я делаю себе немного плохо. Грущу специально, умею вызвать это чувство. Хотя на самом деле у меня все норм, учусь на ай-ти, завтра вот вообще буду чилить... Но когда грустно — писать легче. Как-то оно само идет.

— Используй это, братец, — кивнул я. — Лето кончилось. Думаю, сейчас будет больше поводов для грусти.

Что думала по этому поводу Даша, было неясно. Вероятно, ей единственной из нас было грустно по-настоящему и постоянно, без особой причины.

Под конец уже вечера, в темноте, она сказала, пригнувшись к нам еще ближе, с некой новой степенью доверия:

— На самом деле я не просто так здесь сижу. Я жду одного человека. Он находится вон там, — мотнулась голова, плеснула волна волос по направлению к освещенному кубу. — На втором этаже. Я час назад написала, что я сижу здесь. И он ответил только что. И знаете, что он ответил? «Молодец». Молодец, блин! — фыркнула она сердито, печально, так, что мне вдруг захотелось прижать ее к груди. Когда-нибудь она станет взрослой молчаливой женщиной с ворохом проблем, сейчас она привлекательно-отдельная, по-детски несчастная, но на самом деле вполне счастливая девочка в милых носках.

— Хочешь, я поговорю с ним? — предложил я. — Пойду и приведу его сюда?

— Нет, не стоит, — ответила она, подумав. — Он довольно странный. Мне вообще до бороды... Но спасибо, что предложил.

Я кивнул, чувствуя, что мы все трое — чуть ли не семья, в которой я отец или старший брат. Это чувство, которое я испытывал, выводило неудавшийся было вечер из ряда таких же и даже более удачных. Нет, он был одним из лучших. Все мы были немного неприкаянны, думали, что нам чего-то недостает, но я знал, что потом, вспомнив этот вечер, мы поймем, что были одарены им в высшей мере, что были счастливы.

В темноте и Славик открыл нам свою тайну. Вдруг в руках его появился извлеченный из рюкзака старый, плохо набитый плюшевый медведь. Славик весь светился торжеством и поглядывал то на медведя, то на нас, как будто готовился поделиться главным сокровищем своей души.

— Это твой талисман? — спросил я, пригнувшись.

— Типа того... У него такая история: я его нашел, когда моего друга, детдомовца, ни за что избили менты. Он ушел из дома, был усыновлен...

Я уже подзабыл рассказанную им историю, она была не такой уж яркой; но медведь в его руках был ярким — он как бы выражал самого Славика, такой же несвоевременный, несовременный, с плюшевой доброй душой, которой не раз сделают больно, пока она не превратится в кусок старой медвежатины, затвердевшей неуязвимо. Что ждет его, с талантом такого вида, с душой такого свечения? Любительская группа, горстка поклонников, стритование; если повезет, выступления на День города — какого-нибудь небольшого городка... Славика не нужны широкому потребителю, ему нужно что-то помпезное, модно-гнусавое, лениво ворочающее языком, просовывающее звук сквозь кашу во рту. Славик не был помпезным сейчас с этим медвежонком, со своим аксельбантом из баночных чек; Славик не был модным — он был настоящим, хорошим, даже талантливым, но не крутым, а миру нужны крутые, другие им отвергаются, думал я с грустью сейчас. Чтобы топтать тропу музыки, известности тропу, чтобы добиться признания, нужно быть фальцетирующим Ихтиандром с руками-базуками, прибивающим мошонку к площади. А без признания всегда будет сомнение, всегда будет несчастье, всегда будет дыра в душе...

Сможешь ли ты, Славик? Впрочем, ты еще так юн. Ты можешь еще измениться, наверное, или не можешь, думал я, сидя рядом в темноте. Что будет с тобой, Славик, через год, через пять лет? Я не знал. Может, что-то, может, ничего. Что будет с Дашей и со мной, я тоже не имел ни малейшего понятия.

Издалека, с невидимого Енисея несло холодной сыростью. Я спросил Дашу, где она живет.

- Да тут недалеко, на Красрабе. Мама сказала быть к девяти.
Я зажег телефон.
- Уже почти десять. Опаздываешь.
- Как пить дать, — согласилась она философски. — Но уже собираюсь. Спасибо вам за вечер.
- Можем пойти вместе. Мне, в принципе, тоже почти что туда, в те степи, — сказал Славик небрежно.
- Хорошо, — ответила Даша, и мы простились.

Я вышел из перешейка с лавками и двинулся к переходу через Маркса у торгового центра «Хамелеон» в темноте, наполненной огнями. Здесь, возле «Хамелеона», стритуют в основном скрипачи: нависающие своды дают скрипке напевность, объем. Сейчас никого не было здесь, я был один, но не паршиво; я нес в себе наполненность вечера, такого разного.

Вечерние люди покидали улицы, и их наполняли люди ночные, другой породы, других флюоресцирующих кровей. Открывались двери заведений на Мира, городские аквариумы выплескивали золотых рыб и рыб-хищников в волнах света — мужчин на охоте, красивых женщин. Они смеялись, курили, мужчины в клубных пиджаках, женщины с голыми плечами, с роковым макияжем, скользили взглядами по мне и сквозь меня. Мне было хорошо еще, но какая-то неуютная мысль подмачивала этот вечер, стояла за радости плечом.

И я обернулся и поймал эту мысль, за радости плечом: как было б мне сегодня плохо, как было бы невыносимо, не встретить я этих ребят. Их швырнуло ко мне случайным ветром, а могло пронести мимо. Я понял вдруг, что этот вечер — один из лучших вечеров конца лета — начала осени — еще и худший. Поскольку показывает, как стал я зависим от других, стремившись убежать от себя. Я думал, что слез с иглы своей отдельности этим летом, но лишь пересел на худший наркотик общности. Я стал беззащитен, безкож, уязвим.

Я вытащил телефон и набил сообщение Ане: «Я не знаю, чего хочу. За плечом у каждого праздника тоска и смерть — только оглянись и увидишь. Хочется натворить что-то, проснуться где-то», — написал я и стер. Она не поймет этого — ни одна женщина, собирающаяся жить с тобой, никогда не поймет этого.

Человек невысокого роста подошел и остановился на светофоре слева от меня. Бритый череп, руки в карманах, бомбер на голое тело, сбитые к локтям манжеты, тяжелый браслет часов — и шрам в пол-лица. Снабженный нитяными штрихами штопки, он начинался от внутреннего уголка глаза и шел тропинкой до начала подбородка, закладывая на коже крутой, почти что правильной округлой формы вираж, гигантский рыболовный крючок.

Я стоял и в ожидании зеленого искося посматривал на этот шрам; грубая, бугристая запятая, знак вопроса, он поневоле притягивал взгляд. Я хорошо видел стежки — слегка неровные, они отстояли друг от друга примерно на сантиметр. Я думал, стоит ли написать Ане что-то: иногда она обижается, когда я не пишу, задерживаясь, или даже когда в ответ на ее сообщение просто оставляю скобочку улыбки, — раньше она обижалась часто, но теперь уже привыкает... и вдруг я понял, что никакого шрама нет, нет и следа от шрама, а стежки — это художественная шнуровка. Это самопал. Я понял это ясно, я словно бы увидел, как стоит он перед зеркалом и шьет себя на живую — протыкает кожу кривой иглой и длинным движением протягивает в сторону толстую нитку, промокая клочьями ваты выступающую кровь.

И, стремительная, вошла в меня мысль о том, что я тотально зависим и болен жизнью, что я еще натворю что-то и проснусь где-то, и мне будет плохо, но будет и хорошо. Я неугомонный человек, знал я. Что-то болезненное и важное прошло через меня, но когда я двинулся через переход, меня уже отпускало.

ЗОНТЫ И ФЛАГИ

— Каждая книга мечтает о книжном воре, каждый зонт — о сахарном человеке, — сказал я.

Запальчивость моя была вызвана моей в глубине души неуверенностью и ее, Аниной, обескураживающей щепетильностью. И все это не впервые с ее стороны, но из раза в раз.

Так в начале прогулки, почувствовав мою интенцию идти к парапету Набережной напрямик по траве, она сказала: «Мы ведь не пойдем по траве? Мы ведь пойдем по дорожке?»

Теперь же: «Может, это подарок не тебе?» — вопрошает она, и я взрываюсь.

Не питая иллюзий по поводу испорченности своей натуры в целом, в некоторых частностях я уверен. Я обязательно привлеку внимание человека, на моих глазах теряющего банковскую карту или банкноту. Я обязательно подберу забытый кем-то телефон, буду ждать звонка владельца в счастливом предвкушении и с удовольствием отвечу: «Ваш телефон у меня, приезжайте... нет-нет, ничего не нужно».

И я бы никогда не взял себе этот зонт, если бы неделю назад на этом самом месте — у шкафа буккроссинга на Мира — не потерял свой. Потерял, позабыл, неважно.

Я нашел тогда в шкафу «Моби Дика» и впал в эйфорию — ведь это не та книга, какую найдешь здесь всякий раз. Я недавно ощутил горячее желание перечитать «Моби Дика», и вот я вижу старую толстую книгу, одиноко лежащую за стеклянными дверцами! Мне показалось, что кто-то сверху наблюдает за мной и посылает чудесные дары.

Я тут же сел читать «Моби Дика» на лавку у педуниверситета, положив свой старый, многократно чиненный зонт рядом с собою. Потом я пошел в обувной через дорогу, посмотреть новые кроссовки взамен латаных-перелатанных моих «ральфов». И пока я ходил, кто-то приделал ноги зонту, позабытому мною на лавке. Я очень досадовал этой потере.

И вот теперь зонтик — почти новый, добротный, в чехле, найденный вчера ровно на том же месте! Я забрал его без колебаний.

«Плохой зонтик я не взял бы — ведь это значит обождать какого-то бедолагу; прочный же, дорогой зонт — это подарок неба!» — объяснял я ей, но она молчала, а потом спросила: «А может, это был подарок не тебе?»

И я рассердился и ответил: «Если бы это был подарок не мне, его и нашел бы не я. Тебе не хватает дозы беззакония в крови. Поэтому у тебя и не получается тот автопортрет в ботинках». — «Может, и так», — ответила она, и ее рука в моей руке стала безвольной, равнодушной. Она была отдана моей руке, но отныне мне не принадлежала.

— Каждая книга мечтает о книжном воре, каждый зонт — о сахарном человеке, — сказал я...

Я вспомнил, как три месяца назад мы вот так же спускались к Набережной от Дубровинского. Бережно сжимали мы каждый ладошку другого. Было начало

лета. Яблони в цвету, причудливо изогнутые, низвергались вниз по склону. Они напоминали поднявшиеся на дыбы и застывшие зеленые волны с шапками белой цветочной пены. И дух захватывало от красоты и удовольствия идти между ними. И представлялось, что мы идем по дну моря, расступившегося перед нами по воле пророка.

В белой рубашке метался он по Набережной — жгучий брюнет, словно сошедший с картинки «Сторожевой башни». Жара давила город медвежьей лапой с конца мая, но был он в толстых запыленных туфлях и шерстяных брюках со стрелками, и его рубаха, застегнутая до самого горла, была как плотный и душный доспех. Ярко полыхала она издали, когда двигался он, делая несколько шагов влево, вправо. С взъерошенными густыми бровями и торчащей бородой, сверкая глазами, он вскрикивал бессвязно грубым, сорванным голосом:

— И тогда! Пришли они! И сказал Он! Он сказал им! Ищите, и обрящете! Стучите, и отворят! И не узнали Его! И не узнали, говорю! Они! Его!

Вспышки дикой, неприрученной энергии исходили от его тела. Полубезумно звучал севший, охрипый голос, и капли пота сбегали по лбу, ибо жарко и засушливо было даже у воды. Енисей рекордно обмелел в этот год.

— И сказал Он ему... Вера твоя исцелила тебя! Встань и иди!.. Встань и иди! Встань и иди!

Мы прошли мимо. Оглянувшись, я увидел, как вспыхивает рубаха на худом теле проповедника — слишком широкая, упрятанная многоскладчато в толстые черные брюки.

Я был впечатлен его одиночеством, его вдохновенным безумием; собственному телу, обливаемому потом, объявленной войне. И яростные рывки его, словно рывки неукротимого зверя с цепи сего мира, были прекрасны.

Мы еще долго слышали его голос, уже не разбирая слов.

— Каким был Иисус, как у Крамского или как у Ге? — спросил я Аню. — И были ли Он вообще?

— Я думаю, Он был. И Он был разным, — ответила она.

Я думал о проповеднике. О не нуждающемся в слушателе гласе, вопиющем в пустыне. Мне хотелось раскаленной каждодневной жизни, раздачи себя в мир без остатка. Но не было чего-то во мне, что было в случайном проповеднике. Вдохновенных рывков, безумия не было, а лишь безумие — признак божественности. Ум корыстен и недобр, целенаправлен к одному. Безумие же равно стремится ко всему — склоняется к каждому, и утирает слезу, и увещевает, и указывает путь.

— Возможно, это лишь жажда, лишь хотение, лишь литература, бестселлер, — сказал я. — Кормление пятью рыбами и двумя хлебами, Воскресенье — все это можно выдумать. Но вот это место: «и разобрали крышу, и спустили к Нему расслабленного»... Это как будто слишком документально для легенды. Не знаю... Не слова, но тот человек на Набережной дает шанс на существование Бога. Его рывки, блеск глаз. Разноцветные тени от флагов на Копылова убеждают меня в том, что флаги подняты на флагштоках. Что они полощут, пропускают свет...

— Я очень люблю флаги, — ответила она, и я благодарно сжал ей руку.

— Я специально хожу на парады, чтоб увидеть их, — сказал я. — Раньше люди ходили в церковь, а теперь нужны хотя бы парады. Я чувствую в воздухе жизнь и смерть, когда они идут. Они храбро идут... Смерть все равно поглотит их когда-то, но они идут... И от этой их формы, от реющих флагов, от света и цвета, от их молодости, силы и слаженности мне хочется смеяться и плакать. Я всегда беру с собой

детей на парады. Но я не водил детей на парад в этот раз. Они не хотели идти и капризничали, и я побоялся тащить их насильно. Вдруг я отвращу их от парадов, от флагов? А с другой стороны — полюбят ли они их, если я не насажу этого сада, этих вот яблонь в душе их? Не знаю. Мне сорок три, но я так ничего и не знаю. Я просто иногда люблю все это, вспышками, так сильно, как трудно любить долго. Я не знаю, полюбят ли они парады, но я бы хотел, чтобы они полюбили хотя бы флаги, полюбили смотреть на свет сквозь флаги, — так говорил я ей или примерно так, в таком смысле.

Она смотрела и кивала с мудрой улыбкой на южном лице, качая круглыми серьгами в ушах, и отвечала: ты сделал все правильно. Люби сам, и тогда полюбят они. Они сами вырастут и будут ходить на парады.

Мы долго шли по обнаженному ложу реки под вечерним солнцем, утомленные спадающей уже жарой, но освеженные впечатлением от проповедника.

А потом мы сели на ступеньку деревянного помоста у воды, и она вытащила блокнот и стала рисовать. Опрокинутые в реку деревья, выжженную зелень берегов, байдарки и сапы, скользящие по глади, играющих рядом детей и реющий флаг на далеком, дымном от зноя Такмаке.

Я сидел рядом, и посматривал в лист, и ощущал чудо оттого, что она рисует мир, посреди которого гнездимся мы с ней, как птенцы под крыльями матери. Рисует так верно, отбрасывая внешнее и ухватывая суть, — и целое большое, огромное лето у нас впереди. И как хорошо в жару у реки, хоть она и убежала от нас, оголив испод.

А потом мы долго шли назад, все вверх и вверх. Опять к Дубровинского, опять к Коммунальному мосту с купюры-десятки, между склоняющихся к нам зеленых волн с шапками цветочной пены, остановленных для нас по воле пророка.

Его не было уже. Но то место, где он метался два часа назад, наполнилось излученной им энергией. Его резкими движениями, пыланием глаз, порывом его души с цепи мира.

Я вспоминал тот летний день сейчас, в этот осенний вечер, когда мы шли с ней такие отчужденные — и какой мелочью, зонтиком! Все было не так, и кипенного цвета не было уже на деревьях, и они перестали напоминать волны моря, остановленного ради нас вдохновенным пророком. Листья осыпались с них и падали наземь шуршащими корабликами.

Я старался разговорить ее, но не мог и еще подлил масла в огонь:

— Не сердись. Но наши рассказы и картины действительно были бы лучше, если бы мы чаще ходили по траве.

— Хорошо, что ты говоришь «наши». Хорошо, что ты понимаешь это, — сказала она.

Мы прошлись по Набережной, а потом поднялись к Дубровинского, дошли до Мира и двинулись к центру. Я остановился у шкафа, и принялся копаться в нем, и нашел очередную книгу АРТУРА. Я обрадовался и стал рассказывать Ане об АРТУРЕ, но она, словно чтобы подмочить мою радость, — она, сегодня взявшаяся быть моей совестью, — спросила:

— А ты когда-нибудь возвращаешь книги в шкаф?

— Обычно нет. В этом весь смысл буккроссинга, — ответил я спокойно. — Сюда относят ненужное и отсюда берут нужное. Навечно, навсегда.

— Но надо же что-то и ставить взамен, — усомнилась она.

И я сказал, закипая:

— Да, если хочешь знать, я иногда ставлю. Но даже если бы не ставил — каждая книга мечтает о книжном воре, каждый зонт — о сахарном человеке...

Мы перешли дорогу у «Кодака», вышли на Ленина, сели в автобус на Театре кукол, недовольные, не понятые друг другом, и сухо распрощались по дороге.

Быть может, дело всего лишь в осени, в опавших листьях — ветер носит эти листья туда и сюда, производя красно-желтые метели, наметая осенние сугробы, — а может, в конце чему-то. Миру ли, нашим ли с ней отношениям.

Я часто думаю по ночам, случайна ли жизнь; жизнь вообще и моя в частности. В какой степени она управляется мною, а в какой жестко детерминирована? Есть ли Бог, и насколько тверда Его рука в управлении всеми, и сколько глаз у Него, чтобы приглядывать за каждым? Журналист «Делового радио», автор научной программы, в бессонницу я становлюсь дремучим схоластиком незапамятных времен.

Я думаю о том, что моя страсть к шкафам буккроссинга, которую ставит мне в вину Аня, есть на самом деле страсть богоискательства. Не раз загадывал я книгу, и шкаф порождал ее для меня — редкую, почти невозможную. Появление ее столь искусно просчитано, столь тонко соотнесено с моими действиями, что книга не бывает перехвачена другими книголюбцами либо интеллигентными забулдыгами — из тех, что дежурят у шкафов по всему городу и тащат находки в «Букинист». Они сидят на лавках поблизости, с сонными глазами индийских курильщиков, и оживляются лишь тогда, когда подходит человек поставить книгу. И тогда бегут со всех хромых ног, со всех радикулитных спин, отталкивая локтями друг друга.

Кто, если не Он, препровождает редкие книги в мои руки?

Шкафы буккроссинга — пока что единственное доказательство Его бытия перед пропастью моего неверия, расширяемой, что ни день, очередными новостями науки и техники, которыми наполняю я свою программу. Накапливаясь на далеких серверах и сходя снежной лавиной раз в неделю, из раза в раз сбрасывают они в пропасть Бога. И я — тот, кто протягивает Ему руку, спасая Его для собственной необходимости в Нем.

Именно в жажде Бога заключается моя книжная страсть, которой не может понять она. Настропаненная какой-то тайной обидой против меня, оскорбленная моей отдельностью, затянувшейся независимостью в нашей паре, быть может... Возможно, она хотела бы жить со мной? Но я пока не могу уйти от детей. Когда это случится? Возможно, когда я найду своего Бога. Когда столкнусь лицом к лицу с Ним, кладущим в шкаф буккроссинга на Мира свои пыльные дары. Когда я пойму, кто есть АРТУР.

Вот уже несколько книг в шкафу попадают мне, чьим хозяином был и решил перестать быть загадочный человек, некогда с особым тщанием подчеркивавший принадлежность книг именно себе. Все форзацы исписаны толстыми буквами: АРТУР значится на них тут и там. АРТУР, АРТУР, АРТУР можно встретить и на иных страницах — ручкой или фиолетовым фломастером.

Помимо имени владельца, книги населяют загадочные знаки, молнии, закорючки, палочки.

Кто он и какая беда случилась с ним? Та страсть, которая выражается в экспрессивности написания слов и знаков, кружочков и овалов, коими обведены некоторые участки текста; то желание подчеркнуть принадлежность книг именно ему, именно его безраздельную власть над ними — власть такую, что готова ради подтверждения себя испортить, привести вещь в негодность, прорвать страницы

жестоким нажимом ручки... Эта власть словно бы перечеркивается самим фактом помещения книг в шкаф буккроссинга.

Можно предположить, что АРТУР умер, скопытился, исчез на века и от книг решил избавиться его легкомысленный наследник. Однако новый хозяин, вероятно, избавился бы от книг всем скопом — а их выставляют в шкаф по одной. Как будто растягивают удовольствие или пытку.

Может быть, хозяин, положив книгу, отходит от шкафа и наблюдает на расстоянии за ее дальнейшей судьбой? Радует и мучает, видя книгу в чужих руках, как любимую женщину. Может быть, это горестное удовольствие, мирская епитимья АРТУРА — отрывать от себя книги с болью и кровью, как лапки у мухи? Азартная игра, тайная цель которой — не выигрыш, но потеря, и последующее за ней утомленное счастье от обретенной свободы.

Так иногда мы мечтаем о том, как оставим женщину, в которой заключены наша страсть и смысл. Думаем с ужасом, но и облегчением, с ожиданием последующей эйфории от этой потери. Так и я живу с бывшей женой и для пребывания с нею, — уже по сути свободный, разведенный, удерживаемый лишь любовью к детям и счастьем видеть их каждодневно. Живу в нелюбви, в стеснении, сонно, но и чутко ожидая, накапливая в себе необходимый заряд, чтобы однажды оторваться, как осенний лист от ветки, и ощутить всю меру отпущенного мне несчастья и счастья.

...И вот АРТУР стоит в тени кленов у педучилища, у скамейки, где я оставил и нашел зонт. Смотрит на шкаф. Радует и негодует, когда люди, посторонние, равнодушные, забирают очередную любимую им книгу. А потом испытывает колоссальное облегчение, переводит дух, прислоняется спиной к дереву...

Возможно, он знает, что владельцем уже нескольких его книг являюсь я. «Мысли и афоризмы» Паскаля, «Дневники и письма» Кафки, «Жизнь в лесу» Генри Торо... Может быть, он хочет, чтобы я прочел его послание, услышал шелестящий шепот страстно исчерканных страниц? Может быть, дело не в книгах, а в тайных знаках, которые он оставляет для меня? Может быть, он хочет, чтобы я нашел его, подошел сзади и закрыл глаза ладонями? Может, это лишь игра? Или все это предельно, смертельно всерьез?

Порой я встречаю человека, который роется в шкафу на Мира. Он в вассермановской жилетке с карманами, в костюмных брюках с затертой стрелкой. Пигментные пятна обживают кожу. Длинные волосы волнисто и редко струятся на плечи со сверкающего на солнце черепа. Иудейские глаза под косматыми бровями готовы прожечь меня через шкаф, когда я раскрываю его створки с другой стороны (у шкафа четыре дверцы — две с одной стороны и две с другой) и принимаюсь составлять старику конкуренцию.

Мы копаемся в книгах и посматриваем друг на друга через корешки. Старик ожесточенно сопит и швыряет яростные взгляды.

Однажды, в то время как он копался в шкафу со своей стороны, с другой я нашел очередную книгу АРТУРА. Черт, мне показалось, что старик сам поставил ее туда минуту назад!

Весь во власти подозрения, я облетел шкаф, заглянул в бугрящийся пакет старика — и даже оттопырил пальцем неучтиво, чтобы увидеть другие книги АРТУРА.

И как же он дернул пакет к себе! И каким же волком зыркнул на меня, шипя сквозь зубы угрозы и проклятия!

Но уже отходил я разочарованно, увидев, что там, в пакете, лишь стопка «Роман-газеты» да удушливый сверток неаппетитной еды.

Почему я так увлечен АРТУРОМ? Быть может, я думаю, что, разгадав секрет АРТУРА, я поймаю Белого Кита, сложу из льдинок Вечность и увижу Его, склоняющегося над моим плечом? Я давно не жду грома с небес и трубных голосов ангелов, — но тихий шепот склоненного Лица услышать бы мне. Почувать легчайшее дуновение божественных губ. Я верю, АРТУР — лишь псевдоним Бога.

Я встаю из-за стола и подхожу к своему книжному шкафу.

Я люблю свой шкаф. Иногда я часами простаиваю у него, уходящего полками под потолок (собственно, это алюминиевые стеллажи, но я зову их шкафом). Оглядываю свои сокровища, блаженно улыбаюсь, мотаю головой: «И это есть! И это, и даже это!» — шепчу я, и сердце приятно обмирает.

Здесь есть и несколько книг, написанных мною. Но какая же это капля в море стоящих здесь томов! Некоторые я покупал в магазинах, некоторые выписывал, некоторые вывез от мамы, из отчинского детства, но большинство — находки в шкафах буккроссинга. Шкафы рожают для меня книги, как раковины рожают жемчужины, а волшебная гора — самоцветы. И я должен, должен разобраться в этом!

Я возвращаюсь за стол, кладу перед собою книги АРТУРА, открываю их и вглядываюсь в исчерканные страницы.

Что-то есть детское — детски-жестокое и детски-нарциссическое — в столь изобильном и экспрессивном пятнании книг своими следами и клеймами. Ребенок, черкающий в родительских книгах?.. Одинаковая экспрессия во всех действиях, одинаковой силы устремленность во все стороны отмечает разум ребенка — или, возможно, взгляд Бога. Вероятно, Бог смотрит на всех сразу, устремлен ко всем и остановлен в движении ко всем своим чадам. От инфузории до человека созерцает он, склонившись и замерев, — как склоняются к земле волны-деревья на Набережной, — протягивая Свою руку так, чтоб нам хотелось дотянуться...

Но почему же это так трудно? Почему всегда не хватает какой-то малости для соприкосновения наших рук, для завязывания ниточки веры, ну для волоска хоть?!

Я размышляю мучительно, сплетаю в одно причины и следствия, вопросы и объяснения. А потом, устав, мое сознание свершает кульбит неверия, и вот уже я сам склоняюсь и протягиваю руку Ему, висящему над пропастью. И уже Он тщится дотронуться до моей руки, сжав зубы, полыхая седым иудейским оком над ветхими корешками в шкафу...

Как же, перестав быть ребенком, не стать ограниченным, но и не стать безумным? — думаю я. Это ведь значит быть гением или совершенным человеком, Богом. Как этого добиться, если взрослый разум не дает душе ходу в свободу? Как освободиться от ума, но не повредиться в уме? Чувствую, именно здесь сокровище, но как его добыть? Как похитить взгляд Бога, как завладеть им?

Бывшая жена стучит в дверь и засовывает голову.

— Ты подумал? — спрашивает она, заходит и садится на кровать, заполняя объем моей комнаты своей плотной энергетикой. Моей — худосочной, слабого свечения — не тягаться с ней. И мысли о Боге, которые обступили мой ум, бросаются врассыпную, как мальки на мелководье.

— Когда? — спрашивает она, и мне становится несчастно, тоскливо, и холодная рука стискивает сердце.

— Не знаю. Я ведь сижу в своей комнате, так? — говорю я мучительно, как шевелится раздавленный червяк.

— Но я чувствую тебя, — отвечает она, моментально вскипая, понижая голос.

Последующий разговор мы ведем взвинченным шепотом, имея в виду детей, вслушивающихся, возможно, уши в соседней комнате. Мы не хотим, чтобы они узнали слишком рано. Они до сих пор не знают о нашем разводе и о моем уходе должны узнать перед самым уходом.

— Мы договаривались, что ты как-то устроишь это!

— Но мы не договаривались конкретно.

Я отворачиваюсь, сделав высокомерный вид. Однако чувствую ее гнев каждой клеточкой, всей спиной, позвоночником — от шеи до копчика. Я ощущаю, как корчится, плаваю, моя аура под сном яростной энергии ее взгляда...

Но вот давление слабеет, пока не прекращается совсем.

— Послушай. Уйди, а? — просит она усталым голосом. — Я тебя прошу. Мне действительно трудно. Деньги не такая уж проблема. Если приспичит, я пойду на вторую работу. Так будет лучше для всех. И для нее тоже.

Она знает об Ане. В этом нет никакого секрета — между нами условлено, что каждый, проживая в общем доме, имеет свою личную жизнь.

— Но чем я мешаю? — отвечаю я шепотом, оборачиваясь. Я искренне не понимаю, для чего ей так необходимо рубить денежный сук, на котором сидит она вместе с нашими детьми.

— Да всем. Ты понимаешь, что я тебя ненавижу? — говорит она просто, тихо. — Я понимаю, что ты этого не заслуживаешь. Ты в целом хороший человек, но я ничего не могу поделать, — голос ее начинает дрожать, лицо кривится...

Я сижу притихший, виноватый. Мне жаль ее и жаль себя, и наших детей жаль мне более всего.

— Так когда? — спрашивает она, поднимая голову, снова овладевая собой. — Сколько тебе нужно еще? Просто скажи, чтоб я могла рассчитывать силы.

— Не знаю... может быть, месяц, — говорю я.

— Отлично, — говорит она, вставая, закрепляя победу. — Я не то что гоню тебя. Мне просто необходимо знать. У меня никого нет, — добавляет она, вероятно, в награду. — Хотя, конечно, может быть всякое... Тане давно нужна отдельная комната...

Она окидывает крепким, хозяйским взглядом пространство пока еще моей комнаты.

— Сколько книг, — говорит со вздохом, протягивает руку, проводит по пыльным корешкам и уходит, озабоченная, обнадуженная.

Я складываю руки на стол и опускаю на них голову, в которой толчками бьется кровь. Мне печально, мне страшно, хотя и немного освободительно. Когда-то это должно было случиться, говорю я себе. Но дети... как я без них? Не я им нужен — я не уверен, что так уж нужен кому-то, — но они как воздух необходимы мне. И мне придется жить теперь в безвоздушном пространстве, учиться плавать в невесомости.

Я закрываю глаза, и их тотчас обволакивает жгучая влага. Как же я буду? Я привык терпеть скандалы, попреки — все это кажется мне меньшим злом, чем лишиться детей, их макушек, которые можно ерошить, заходя в их комнату всякий раз.

Я открываю глаза, оглядываюсь и смотрю на комнату. Она, как по волшебству, изменилась. Она стала похожей на бутафорию, чем и является весь этот год после развода...

Все плывет и слится в глазах, как мираж. Стол. Компьютер. Плечики с одеждой, свисающие со специальной пластмассовой цепи. Много хорошей, модной

одежды, в которую я уже не помещаюсь. Много книг, которые я никогда не прочту. Как все это вмиг стало ненастоящим, ненужным! Кажется, отведи взгляд, и оно исчезнет. Месяц пролетит так быстро. Дочке нужна отдельная комната, да, она взро-
слеет, ей уже десять...

Звонок на телефон. Это Аня.

«Мне не нравится, как все сегодня было, — говорит она. — Извини. Я не имею пра-
ва осуждать тебя. Ни за траву, ни за книги, ни за зонты. И я тоже совсем не святоша. Я сама „зачитала“ в детстве несколько хороших книг... Мне просто хотелось сде-
лать тебе больно, ЕЭ. Но я скучаю по тебе».

«И я скучаю! — ответил я, растроганный, размякший. — Я вспоминал сегодня, как мы в начале лета гуляли по Набережной и говорили про парады, а ты рисо-
вала черный флаг на Такмаке, а я сказал, что он красный, и мы поспорили. Ты сказа-
ла, что я просто знаю, что он красный, но отсюда он выглядит черным...»

«Да, — ответила она, — он слишком далеко, чтоб видеть, что он красный. С Набережной он выглядит черным, как твой новый зонтик. Я хочу, чтоб ты знал: я не осуждаю тебя за зонтик, и за траву, и уж тем более за книги. Мне просто захо-
телось как-то пробиться к тебе. В последнее время ты такой задумчивый и отчуж-
денный. Но ты имеешь право быть любым, всяким. Я знаю: у нас с тобой разные, от-
дельные жизни. Я знаю, как ты любишь детей. Я ни на что не претендую. Я просто
хочу, чтобы мы иногда гуляли после работы и не ссорились никогда».

Так она говорит, и я чувствую, что по мере того, как она говорит все это, такое
искреннее, такое большое и настоящее, — то, о чем я думал недавно, становится ма-
леньким и ненастоящим. И сам я становлюсь маленьким и ненастоящим — играю-
щий в сыщика мальчишка, разгадывающий чужие каракули. Мальчишка, который
боится покинуть материнский дом, мальчишка, плачущий за партой после уроков,
в то время как его так любят и ждут где-то.

Следующий день был прозрачным, хрустальным, тихим субботним днем, хра-
нящим равновесие между летом и зимой. И сам я был тихим, осторожным в этот
день. словно впервые открыв глаза, я шел и смотрел на окружающий мир в оча-
рованной задумчивости.

Я шагал, стараясь легко, невесомо касаться земли. Казалось, я ступаю по тонкому
льду незнакомой планеты. Я нес в шкаф буккроссинга на Мира свои самые люби-
мые книги. Отныне другая жизнь предстоит мне. Не читателя, не искателя Бога,
но человека серьезного, кормильца не одной, а двух семей сразу.

Ветер гонял в воздухе листья и по асфальту волочил их массы, сцепившиеся
в шуршащую корку. Я вспоминал, как еще недавно, в начале лета, все было в ябло-
невом цвету. Теперь же листья были повсюду, куда ни направь взгляд — лежали
по обочинам, выкладывались по зеленым травяным склонам в тайные знаки и сим-
волы. Что они говорили мне, я не знал, — я так и не узнал за все это время.

Набегали быстрые тучи на солнце, и небо снова прояснилось. Пролился крат-
кий дождик; я открыл свой новый зонт. И уже не яблоновый цвет собирался в лужах,
но желтые и красные листья плавали и тонули в них.

И дождь прошел, и снова засияло солнце...

Шкаф на Мира, у памятника Поздееву со сверкающим носом, был первозданно
пуст. Я отворил створки и поместил на полку свои сокровища, разложил и погладил
на прощание. Кто заберет их себе, старых бедняг, кто заинтересуется ими?..

Я отошел от шкафа, встал под сень кленов у закопченного, старинного пед-
универа и принялся ждать.

Редкие прохожие случались мимо. Некоторые останавливались у шкафа, брали мои книги, листали и равнодушно ставили на место. И проходили другие, открывали шкаф, вертели книги в руках и уходили тоже, не взяв их с собой... Я был огорчен отсутствием интереса к моим книгам. Мне хотелось устроить их судьбу, узнать, что в добрые руки попадут они.

Вот появились они на близком горизонте улицы — три девушки; должно быть, младшие студентки или старшие школьницы. Подошли к шкафу, открыли дверцы; я тут же оказался рядом. Все три взяли в руки по книге. Одна — полная, вся в черном, просторном, обвешанная фенечками, проколота пирсой панкушка. Другая — симпатичная, с длинными русыми волосами, задумчивым лицом, в бежевом плащике, из-под которого делятся прекрасно стройные ноги в коричневых туфлях-лодочках. Третья — смугла, чрезмерно худа, в джинсовке и легкой юбке; короткая стрижка обрамляет японское лицо, огромные очки седлают кнопочку носа.

Каждая полистала свою книгу, передала подруге, та другой подруге; потом они положили книги на место, и длинноволосая принялась закрывать шкаф — его неподдающиеся дверцы, но я воскликнул, выступая из-за спин:

— Минуточку! Извините! Вы уже читали эти книги?

Длинноволосая, обернувшись, протянула мне благожелательный взгляд. Премудрая Елена из фильма «Там, на неведомых дорожках» вспомнилась мне.

— Нет, — ответила она.

Панкушка ухмыльнулась набок, японка глянула огромными глазами сквозь очки.

— Но может, хотя бы слышали о них? Их проходят в школе или универе?

— Нет, лично я никогда не слышала, — качнула головой Елена.

— Ну как же так... Вот эта книга, — сказал я, беря в руки одну из книг, — ее написал человек, придумавший эпоху джаза. Бедный студент, он полюбил богатую дочь прокурора. Ее не хотели выдавать за него, но он написал гениальную книгу, разбогател и все-таки женился на ней! Потом она сошла с ума, а он умер от сердечного приступа... А вот другая книга — о человеке, который умел летать! Он умел летать просто так, но сделал специальную ванну и летал как будто бы в ней. Он говорил всем, что ее приводят в движение триста тысяч колокольчиков! «Именно триста тысяч, ни больше, ни меньше?» — спрашивали его, и он отвечал: «Можно меньше, но мне нравится триста тысяч!» — говорил я, нежно поглаживая страницы открытой книги.

Японка вцепилась в меня взглядом, словно старалась уронить на самое дно своих огромных всевидящих глаз. Елена Премудрая слушала с вежливым интересом, как примерная ученица учителя. Панкушка кусала губы.

Положив все еще мокрый зонтик на полку, я хватал книги, рассказывал о них и возвращал на место.

— А вот книга о мальчике, который сбежал из школы! — говорил я. — Он бродит по городу, размышляет о всяком. Главное, не врать — так он считает. Он ранимый и открытый, он очень любит свою сестру, и, главное, его интересует, куда деваются утки, когда замерзает пруд. Казалось бы, дурацкий вопрос! Автор книги даже писал другому писателю, что это история дурака, придурка, jerkа. Но на самом деле никакой придурок не будет интересоваться тем, куда деваются утки зимой... Придурки интересуются другими вещами или вообще никакими вещами... Они могут заинтересоваться утками, но уж точно не тем, куда они деваются зимой...

— Вы так интересно говорите. Мне захотелось прочитать все эти книги, — сказала Елена Премудрая.

— Так возьмите их! Не пожалеете! — воскликнул я, и она взяла у меня из рук книгу и собрала с полки все остальные, и не положила в сумку, но прижала к груди руками, сложив их крест-накрест, глядя на меня.

Я был тронут этим почти религиозным жестом. Я бы хотел, чтобы моя дочь когда-то прижала к сердцу мои любимые книги.

— Спасибо. Вы так хорошо все рассказали, — сказала Елена. — Вы, наверное, учитель?

— Нет, просто читатель.

— А сколько вам лет?

Я ответил; они были сражены наповал.

— Я думала, двадцать шесть... двадцать четыре... тридцать два, — заговорили они разом, словно апостолы, обретшие дар языков; вслух, увлеченно осмысливали они мой ответ, переглядываясь. Итогом же осмысления стал вопрос, заданный Еленой с робкой надеждой:

— А вы знаете, в чем смысл жизни?

Вероятно, мои сорок три — был в ее сознании возраст, в котором пора подумать о душе.

Я смущенно рассмеялся, однако ответил, что смысл, по всей видимости, в том, чтобы быть живыми. Не то чтобы хорошими и не то чтобы плохими, но максимально живыми.

— А как же религиозные заповеди? — вдруг спросила панкушка простуженным голосом, словно подсекая на крючок большую снулую рыбину. — Или, например, Нагорная Проповедь? — добавила она, храбро бросаясь в бой, как кидается пятилетний ребенок, воздев палку, на заросли полыни за забором.

Японка глядела на меня через очки во все глаза. Елена Премудрая смотрела с добротой и сочувствием.

— В заповедях есть практический смысл. Но думаю, Иисус был прежде всего поэт. Прекрасно жить по томику Блока, но многим ли оно по силам? — сказал я с некоторой неловкостью.

— А вы вообще верите в Бога? — спросила доселе молчавшая японка, как мне показалось, с акцентом.

И я спросил ее тут же:

— А вы?

Они молчали, глядя на меня выжидательно.

Я смотрел на них, формулируя ответ... и думал о своих детях, которые растут так быстро. Они начнут расти еще быстрее, когда я уйду, и вскоре вот так же зададут мне вопросы о смысле и Боге, думая, что все эти годы, отделяющие меня от них, я непрестанно умнел. Но напрасно надеются они, что в сорок три я знаю смысл — все дальше от смысла становлюсь я; и ничего я не знаю такого, чего бы не знали они сами в глубине души, и сомневаюсь я в том же, в чем сомневаются они.

Я не знаю, есть ли Бог, точнее, знаю, что, скорее всего, Его нет, вдруг понял я. Нет ни загробной жизни, ни встречи с любимыми по ту сторону, и мы не становимся лучше и умнее, но только отдельней становимся мы и слабыми, старыми, если поведем, закончим свой путь на земле. И как жить, зная это, как это принять и не кричать от ярости и бессилия, я не знаю. Да, Бога давно уже нет для меня, — я понял это ясно сейчас, когда стоял перед ними, нащупывая правильные слова, и увидел себя со стороны глупым и жалким, выцарапывающим Бога из каракулей АРТУРА — какого-то больного чудака, придурка, jerka...

— Я не знаю... Не знаю, есть ли Бог, — сказал я в конце концов, глядя на Елену мучительно. — Понимаете, вся хорошая литература — это мечта о чуде. Никто не узнавал Его после Воскресения. Возможно, тот, кого почитали воскресшим, был не тот, кто умер, а все остальное — литература...

Одна смотрела на меня как доверчивое дитя, другая как Лолита, узревшая своего Гумберта, третьей просто было враждебно и глупо все, что она наблюдала. Иные люди отличны так, как птица отлична от дерева. Как можно дать всем одинаковые заповеди? — думал я. Как можно ответить на их вопрос? На такой вопрос?

Меж тем это уже близилось со стороны администрации, к которой повернул я голову, услышав странный крик, зов, мычание.

Высокий старик с седыми усами, весь твердо очерченный, похожий на полковника в отставке, быстро шел, приобнимая за плечи подростка неопределенного пола.

Полушел-полубежал тот рядом странной, хаотично направленной рысцой, крепко и бережно схваченный объятием взрослого. Лицо с открытым, кривящимся то ли в улыбке, то ли в плаче ртом, было неопределенным, нетвердым. Не принадлежа ни мальчику, ни девочке, просто созданию принадлежало оно.

Не раз, возвращаясь с работы по Мира, видел я эту пару. На голове у создания в любое время года сидела трикотажная шапочка с помпоном — создание, вероятно, было очень упрямым в своих привязанностях. Иногда оно открывало кривящийся рот и ныло тоскливо и жалобно. Этот-то звук и услышал я.

Я смотрел во все глаза, как они приближаются, словно это было самое удивительное, что я увидел за день. Я чувствовал, что по мере того, как они приближаются, как становится все более различим узор на шапочке создания, те трое, с кем говорил я, как будто отдаляются от меня в дымке, словно бы я вдруг, внезапно, но вроде бы давно к этому готовый, отчаливал от милого берега в туман, и любил все, покидаемое мною, и жалел, и гладил руками, и слышал свой голос, говорящий:

— Я не знаю, есть ли Бог, и можно ли жить по законам, которые составлены людьми от Его имени. Попробуйте! Ну а не получится — просто живите как-нибудь. Не врите, наверное... Или уж врите напропалую! Хорошо учитесь... Но сбегайте с урока, чтобы посмотреть на реку... Наряжайтесь нелепо. Или ходите голыми. Но главное — любите парады! А если не можете, пожалуйста, любите хотя бы флаги. И не загораживайтесь от неба зонтом. Смотрите, как свет проникает сквозь него... Но и от света не прячьтесь им, а именно смотрите на свет, — говорил я, чувствуя всем телом их приближение.

И вот они поравнялись с нами — бесполой ребенок с непрерывно двигающимся лицом и осанистый старик, смотрящий в глубь себя в Святогоровом сне наяву. Секунда — и начали они удаляться от нас в сторону шкафа, от которого отошли мы во время беседы. И я понял, какими широкими шагами идет полковник и как быстро приходится поспевать за ним созданию в шапочке.

Слева заклаксонила машина. Полковник приостановился и посмотрел на дорогу; создание же повернуло голову в другую сторону, к шкафу... И вдруг, отчаянно рванувшись, освободилось из рук, держащих его.

Что произошло потом, я не понял. Возможно, создание хотело открыть шкаф и просто не рассчитало сил, а возможно, оно умышленно толкнуло створки не наружу, но внутрь — и шкаф дрогнул, медленно оторвался от асфальта и с чудовищным грохотом грянулся оземь.

Тонко зазвенели от удара и вылетели из открывшихся дверец пластины цветного стекла и, разломившись на крупные осколки, засверкали, отразив солнце.

Создание склонилось и запустило руки в распахнутые недра шкафа; и тут полковник настиг его и схватил сзади под мышки.

Плененное создание подлетело, заболтав ногами в воздухе, дико вереща. В руке оно цепко держало зонт, позабытый мною в шкафу. Оно потрясало им и жутко орало на одной ноте; и полковник отпустил его, отступил на шаг и растерянно оглянулся по сторонам.

И создание тут же умолкло, с восторгом оглядывая свою находку. Не знаю, умело ли оно обращаться с ней; пока полковник поднимал шкаф, оно пристально рассматривало зонт, а потом отстегнуло ремешок, стягивающий плащевку, и нажало на кнопку.

Плащевка мощным рывком пошла вперед и раскрылась хлопнувшим куполом.

Зонт, большой, тугой, новый, тяжелый — я помнил его в подробностях! — рванул-ся вверх потоком воздуха. И создание засмеялось и затанцевало, глядя внутрь купола, за которым, должно быть, светлел солнечный круг.

— Просто любите зонты и флаги, — сказал я, или что-то сказало внутри меня, чей-то голос, чей-то сияющий склонившийся шепот. Я смотрел, как создание топчет стекла, потрясая зонтом, с восторгом к зонту, к миру, пока полковник подходит и осторожно замыкает его в объятия. — Зонты и флаги! Это самое главное. А сейчас — наблюдайте сотворение блеска стекол...

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

ДОМ

Рассказ

Если во сне вижу Дом, это — дом детства. Шелестят зеленые дубы у калитки, шумят под ветром высокими кронами, сок бежит по березе с раздвоенным стволом — она сразу как бы и мать, и дочка. У черной двери (там был запасной выход) ликует, цветет рябина — папа принес ее из леса, посадил, и рябинка прижилась. А еще я вижу огородик, он кажется мне крошечным: картошка, морковка, свекла, лук с чесноком, грядка с ревенем и несколько яблонь. А под окнами — клумбы. У мамы пышно распускались тигровые лилии, шли в рост гордые георгины, окутывали ароматом флоксы; золотые шары вздымали свои солнечные головки. Помню, что бабушка сажала еще бархатцы, а дедушка — мальвы. Алая мальва, ростом с дерево, высилась у колодца, дедушка выкопал его сам. Водопровод проложили уже после войны, в пятидесятые, когда я родилась. Дедушке с бабушкой наш сад-огородик не казался крошечным, он был спасением против лиха — смертной блокады. Хотя ее, казалось, навсегда перечеркнули, она сидела в человеческих порах саднящими ранами. Поэтому в 1944-м дедушка с легким сердцем сменял квартиру в центре на маленький домик. Вместо Невского проспекта — Пороховые. Это была окраина Ленинграда, где Петр Великий когда-то воздвиг свои первые Пороховые заводы — отсюда и название...

* * *

Иллариону сразу понравилось это место. Из-за дубов. Дубы по триста годов живут, может, и Петра Первого в памяти держат. И лес рядом. Смолистый дух витал над улицей. Не то что на Невском, где даже после блокады было стыло и обморочно, хотя проспекту и вернули имя. Ровно за две недели до того дня, как город избавили от проклятой блокады.

Илларион помнит, как в 1918-м Невский превратился в проспект 25 Октября. У них с Ниной как раз тогда старший сын родился, Гриша. Но Илларион уже четверть века продолжал называть Невский — Невским. И ставить дома свечу за Александром Ярославича...

«Сирень посажу, — подумал Илларион, стоя у дубов и глядя на печную трубу на крыше их теперешнего дома, — сирень и картошку. Картошкой будем сыты, печкой согреемся, она ладная, крыльцо вот еще надо срубить, чтобы на сирень глядеть. Сирень — живая красота, в душу радость внесет».

До войны семья у Иллариона была большая: он с женой, трое детей, да его меньшие братья, да мать жены, певунья Ефросинья Ивановна. А сейчас семья истаяла.

Татьяна Александровна Кудрявцева — детская писательница, член Союза писателей России, лауреат Международных премий им. Михалкова, Гоголя, Гофмана.

Братья на войне погибли, один за другим. И попрощаться с ними толком Илларион не успел. А с Ефросиньей попрощались, свечу затеплили. В первую блокадную зиму людей косило, как траву, вот и Ефросинью не уберегли. Проводили по-человечески, в саване. Саван из лучшей простыни сшили, Илларион ее на саночках на Смоленку отвез — там и упокоилась.

А младший сын... Младшего сына «воронок» забрал неведомо куда, еще перед войной, которая разверзлась — пучиной. На пучину многое можно было списать, она умеет заглатывать судьбы, без разбора, суда и следствия. Однако пучина «выплюнула» смертное извещение, которое внезапно пришло в семью. Пропал, мол, без вести, ваш сын и брат Алексей. И как ни бились потом Илларион с Ниной, ничего больше не узнали. Перед ними была стена. Стена, покруче Великой Китайской.

Похоже, Леша сгинул в штрафном батальоне. Лет Алексею и двадцати не было, врагов накопить не успел, но врагом сочли его самого по тогдашней жестокой «моде». Старшенький, Гриша, служил в Белоруссии, а как война грянула, сколотил там партизанский отряд, отряд разросся, прогремел, и Григория после войны направили на работу в милицию. Кто ж его, такого героя, отпустит теперь к отцу с матерью! Раз командир, служи!

Прошлая жизнь мешалась у Иллариона в голове с сегодняшней, как в черно-белом кино. Блокаду было не избыть. Душа перестраивалась на мир тяжело.

Так вот, Григорий. В Белоруссии он заочно выучился и женился на партизанке. То есть сначала женился, потом выучился. Когда деревню освободили, молодича с первого взгляда ушла за Гришей в отряд. Звали ее так же, как мать Иллариона и единственную жену, мать его троих детей — Ниной.

Нина — имя легкое, имя — выдох. Глаза — небушко, синь, как есть синь. А смех мягкий — точно яблоки в траву падают. Цыганка ему это все нагадала в юности. И жизнь у них с Ниной сложилась ладная, как лады в баяне. Баян — единственная вещь, с какой Илларион не смог расстаться в блокаду. Все менял на еду, а баян — нет. По молодости у него и скрипка была, и цимбалы. Он любую музыку мог подобрать — по слуху. Не учился нигде, а мог. На фронт его завод не отпустил, Илларион был мастером, каких поискать. В любом деле, за что бы ни схватился. Никто из его родни города не оставил, хотя списки на заводе составляли — в эвакуацию-то. Но кто ж бросит свой Дом, когда вокруг лихо. Вокруг Дома тогда надо стеной вставать. Даже если боль с обидой и застряли в сердце навечно из-за младшего сына. Алексею всего-то было двадцать годков, бесхитростный, душа как на ладонке. Но на Дом какая может быть обида, Дом, город, стало быть, в котором он полвека жизнь жил, выше власти и несправедливости. В блокаду все Илларионовы племянницы в МПВО записались, а Нинины сестры на заводах пропадали сутками, как и он сам. Илларион считает: другого в годину не дано.

К середине блокады в квартире на Невском остались они с Ниной и дочка. Дочка — третий ребенок, родилась в двойняшках в конце двадцатых, но младшая девочка не выжила, схоронили ее. Так бы четверо-то деток было. А голос у дочки флейтовый, в Ефросинью. Илларион играл, а дочка пела про то, как выходила на берег Катюша. Как бы люто ни было, играл Гитлеру наперекор. Однажды ему посчастливилось выменять жмых от клюквы — кулечек мятой ягодки. Принес он ее домой, когда уже все спали, положил в общий с соседями шкаф в коридоре, а ночью замок кто-то сломал и выжимку унес. Беда была без края. У всех беда. Блок ада, так Илларион блокаду для себя разложил.

Плечи у него после работы гудели и отваливались, а в легких что-то хрипело. Но он все таскал и таскал на плечах доски со склада в цех к станку, сам таскал — во-

зить было некому и не на чем. Доски шли на логи и приклады к стрелковому оружию. А оружия надо было много, чтоб сытых фашистов одолеть. Что одолеем, Илларион не сомневался. Запах свежеструганного дерева успокаивал, рождал надежду. Илларион запросто отличал древесину по запаху. Береза пахла сладко, орех отдавал горечью, но на винтовки и карабины в основном шли бук и береза. Конечно, бук — это вам не палисандр, который ванилью пахнет, но у бука тоже приличная твердость, хотя горит хуже, чем береза. Но палисандр у нас не растет, бук — лишь на юге, а березка нам родная. Илларион возвращался домой затемно, ему даже пропуск организовали, чтоб вечером мог пройти. Вернувшись, забывался коротким сном, но даже и во сне его руки продолжали строгать дерево, он физически ощущал в руках приклад.

Декабрь свалился на них жутким холодом. Когда замерзаешь, голод просто звереет.

И тут Нина карточки потеряла. Где — и сама не знает. Ну, это совсем «шабаш». Слово у Иллариона такое выскакивало, когда слов других не находилось. В 1941 году норму пять раз снижали. И стала она к зиме для дочки 125 грамм, а у него с Ниной по 250 — на рабочие карточки. Прибегает жена к нему на завод, а лицо у нее белое, и слез нет. Нет нутра на слезы. А на смех — давно уже нет. Горе сердце смораживает.

Илларион шумно выдохнул и сказал Нине:

— Терпи. Не пропадем мы. Вот не пропадем!

Зубы сцепил и к станку — норма есть норма, с хлебом ли, без хлеба.

Блокадный хлеб — когда первый раз попробуешь, вроде и не проглотить никак: жмых там льняной, целлюлоза, обойная пыль, опилки... А потом перестаешь это замечать — лишь бы хлеб БЫЛ.

Иллариону иногда снился каравай, какой мать Нина в русской печке пекла — горячий и духмяный. Она говорила, глаза, мол, у Ларика цвета хлеба с медом. Но где он тот хлеб, только в снах теперь...

А дочка его, звоночек с флейтовым голосом, в шестой класс уже ходила. В блокаде даже в самое лютое время работало 39 школ. В июне устроили экзамены, и большинство получили хорошие оценки. Из 542 десятиклассников 70 окончили отличниками! Им вручили аттестаты с золотой каемочкой...

Младшие занимались в квартирах, красных уголках жилконтор, бомбоубежищах. Было темновато, керосиновые лампы не расщедривались, в них тоже было мало огня. И тогда в некоторых школах стали использовать древний способ. Дежурный, стоя у доски, светил туда лучиной, чтобы ясно было видно, что писал учитель. А лучину ребята специально настругивали заранее — из полешка. Они слушали и все запоминали наизусть: стихотворение, задачку, упражнение. Решали устно. Это сильно развивало память!

Илларионовой дочке и в голову бы не пришло — школу пропустить. Учительница сказала: «Ваш фронт здесь — за партами!» А это значит, как отец говорит: зубы сцепи и иди! Даже если ноги отказываются.

У них дома толстенная книга в шкафу стояла, с тиснением. В ней все произведения Пушкина, вот все, что он сложил. Ни одного листочка не сожгли, Илларион не позволил. Дочка сидела и читала сказку о мертвой царевне.

Было тихо и хрустально холодно, как у мертвой царевны в стеклянном гробу. Девочка старалась читать вслух, чтобы не думать про хлеб. И про то, что мама карточки потеряла.

И тут она услышала, как кто-то скребется. Сначала решила: мышонок. Он откуда-то в их квартиру проник и пытался укатить белую дражку: отец несколько

конфетин выменял на довоенный пиджак. Мышонок махонький, как посевная картошинка. Такого обидеть жалко... Вот и уволок гостинец на ее глазах.

Но звук не смолкал. Девочка подошла к двери и открыла. На лестнице лежал снег, и наледи кукожились на перилах. На площадке неловко уюстилась женщина, припав к косяку двери. Она скребла ладонью филенку. Сил постучать не было. Только — поскрестись. Другой рукой она держала карточки.

— Ваши? Ты — Муравицкая?

Девочка кивнула.

— Я нашла их в снегу. Смотрю, в середке детская норма. И адрес указан. Возьми!

Девочка схватила карточки, не зная, что сказать в ответ. Слова казались ей слишком маленькими. Ну, сколько весит даже самое большое спасибо? Меньше, чем хлеб на полмесяца жизни. Было бы чем угостить гостью, она бы угостила. Но в доме не было ничего. Даже кипятка, который в блокаду называли чаем.

Девочка прижала к себе карточки и, распахнув глаза, немо взирала на незнакомую спасительницу, которая, наверное, долго карабкалась на их третий этаж.

Женщина кивнула ей и побрела вниз.

Девочка вспомнила вдруг, как легко было бегать до войны и даже через забор перелезать, когда с мальчишками играли в казаки-разбойники. Теперь каждый шаг был медленным, как последний.

Она оделась потеплее и отправилась к маме обрадовать: нашлись карточки! В карман их положила и булавкой пристегнула, чтоб целы были.

Сейчас любая дорога казалась дальней. С трудом переставляя ноги по обледенелой улице, девочка остановилась — глотнуть воздуха и углядела, как в сугробе что-то синее. Пришлось свернуть с тропки и, крикнув от натуги, лезть в сугроб. Валенки начерпали снега. Но девочка, замерев, растерянно глядела на чужие хлебные карточки, завернутые в носовой платок. Вспомнилось вдруг, как бабушка Фрося приговаривала: «Кулемкино везение: не было ни гроша, да вдруг алтын, и тот не твой». Адрес на карточках немного подмок, но девочка разобрала: улица Полтавская, дом... какой же дом? 20 или 29? Придется заходить в оба. Карточки были рабочие — полкило хлеба на двоих, да еще иждивенческая — 125 граммов! Оставить это богатство себе — нет, нельзя! А вдруг там, на Полтавской, кто-то уже не встает? Сначала туда, потом к маме. На троллейбусе за пятнадцать минут бы управилась. Но троллейбус стоял на проспекте, занесенный снегом, как скелет мамонта: все, что было в нем деревянного, люди снесли на растопку. Это у кого буржуйки были. А рядом с троллейбусом лежало чье-то неживое, замеченное снегом тело. Девочка никак не могла привыкнуть к смерти, это страшнее голода и холода. Она судорожно свела брови и обошла остановку стороной.

Плелась до Полтавской часа два. И все гадала, на каком этаже квартира семь. Только бы на первом. Не осилить уже ни второй, ни третий. Оказалось, на втором. Девочка еле забралась туда, ухватившись за перила. Но дверь не открывали, как ни стучи ногой. Внезапно от толчка она растворилась сама: не заперта была. В полутемной комнате светилась лишь буржуйка затухающими огоньками. На оттоманке лежал кто-то бестелесный, как тростинка, укрытый ватниками и полушубками.

— Здравствуйте, — прошептала девочка. — Вы живы? Как ваша фамилия? Щаникова?

Не получив ответа, дотронулась до синей в венах руки, свисавшей из-под полушубка.

Рука проснулась, оперлась на оттоманку, явив голову древней старушки. Хотя... в блокаду даже дети иногда казались древними, пойдя разберись тут! Посмотрев

в никуда, старушка неожиданно прошамкала что-то беззубым ртом. Точно, значит, старушка. А взгляд был неподвижный, как у часов, которые не тикают.

Девочка наклонилась ниже и разобрала:

— Чаю дай! Дай чаю.

Пришлось спускаться на улицу — за снегом. «Я не упаду, ни за что не упаду», — твердила она себе почти в полусне. Набрала снега в жестяную кружку, вернувшись, растопила его на буржуйке и старушке в рот влила. Дрожа над каждой каплей. Отхлебнув, старушка оттаяла, как мальчик Кай в «Снежной королеве». Эту сказку учительница в школе читала. Андерсен написал. Как будто все знал про блокаду. Старушка глотнула еще и внятно произнесла:

— Все на работе. Три дня никого нет. Щаниковы мы.

— Придут, — твердо, как отец учил, произнесла девочка. — Придут, вот увидите!

И тут в прихожей кто-то объявился. Потоптался, сбивая с валенок снег. Женщина в платке и фуфайке:

— Какие три дня? А печку днем кто затопил?

— Катерина, хлеба дай! — проныла старушка. — Хлеб-то где? Вместо дня давно вечер.

Женщина вздохнула со всхлипом.

— Заговаривается она с голоду. Я — Катерина. Щаникова.

Девочка молча протянула ей хлебные карточки. Подумала секундочку и проговорила:

— Они из сугроба торчали.

Катерина охнула.

— Я уж обнадеялась совсем. Ну, никак не ожидала такого.

И обняла гостью. Вытащила из-за пазухи заиндепевшую морковинку:

— Вот держи! На Пискаревке откопала из-под снега. Где поле до войны было...

А день-то и вправду уже истаял. Безмолвный блокадный вечер опустил на город свое затемнение. Словно закрыл от врага.

Катерина опомнилась и снова охнула:

— Ты где живешь-то? Ведь поздно совсем, Божечки мои, без пропуска не пройти!

Сжав в руке морковинку, девочка осознала, что ушла из дома вечность назад. Может, даже вчера. Пока добиралась, пока старушку чаем поила... А ведь к маме на завод думала. Родители, должно, уже дома, а есть нечего. Морковка пахла, как до войны — морковкой. Девочка с сожалением опустила ее в карман — так хотелось раскусить!

— Дома-то есть кто? Где твой дом? — трясла ее Катерина. — Только не спи, сейчас я тебя отведу...

А Нина столбом стояла посреди проспекта 25 Октября в черной журбе. Так покойная мать называла безысходность. Илларион упрямо метался взад-вперед, заглядывая во дворы. «Светлячок» на его полушубке мигал. У Нины тоже был «светлячок» — люминесцентные значки на заводе выдали. Фонариками тогда лишь люди пользовались, подавая знак фашистским самолетам. В душе у Нины стоял вой, но она не выпускала его наружу. Если б выпустила, наверное, свалилась бы в сугроб деревяшкой.

Куда могла деться дочка? Всех соседей уже обошли, учительницу разбудили. Неужели еще одна беда? Лопнет сердце.

— К Московскому вокзалу надо! — приказал вдруг Илларион.

— Зачем к вокзалу-то? Там всегда сильно обстреливают.

— Жива дочка, жива. Чую, что надо к вокзалу.

Голос был хриплый, задышливый. И слеза на щеке замерзла уже на морозе. Испугавшись теперь и за мужа, Нина перечить не стала. Взяла Иллариона за руку, как ребенка. Двинулись к вокзалу, к милицейскому посту. А рядом с постовым... Рядом с постовым стояла незнакомка, держа за плечи их дочку.

Вроде не было сил никаких, а тут как волной обоих швырнуло вперед. Будто пружина внутри разжалась. Илларион, выпустив Нину, схватил дочку на руки. А он высокий был, выше всех — выше женщины этой, выше милиционера, выше страха.

— Где ты была? Ой, где же ты была? — вскрикнула Нина заполошно, как птица галка.

— Дочка ваша карточки мои нашла, — объяснила женщина. — От смерти спасла. Говорила, вашу потерю вам тоже в дом принесли. А она мне — мою. Красавица она у вас, черты лица какие точеные! Но вот сморилась совсем.

— Все правильно она сделала! И она, и вы, — нашел слова Илларион. — По совести. Как и положено в дому. А теперь — шабаш! Разойдемся, пока налета нет... Вам далеко идти?

— Не беспокойтесь, — ответила Катерина. — Всего-то три остановки. До войны было...

...Измученное лицо этой женщины, Катерины, долго стояло у Иллариона в памяти. В тот день они последний стул с Ниной сожгли, чтоб дочку отогреть. Он немного мучной обметки на рынке выменял, Нина болтушку замешала. А на Катериной морковке, которая смерзлась у дочки в кармане, чай заварили. Пир вышел царский.

После войны жизнь пошла быстрее, словно мельничный круг прибавил оборотов. Картошку с морковкой прежде всего в землю бросили. Илларион три яблоньки посадил, одну вишню и одну сливу. И кусты колючего сладкого крыжовника и терпкой черной смородины. Крылечко вышло ладное, размером с веранду. Он и стол сколотил. Летом пили там чай со смородиновым листом.

А сирень цвела перед дочкиным окошком. Просто обмирала сиреневым облаком. Дочка давно уже работала на заводе, куда определилась в конце блокады. И как-то быстро вышла замуж. Зять у Иллариона оказался фронтовик — на Ладогe воевал. Орден получил — Боевого Красного Знамени. А у них с Ниной и с дочкой — только медали были «За оборону Ленинграда» и «За труд в Великой Отечественной войне». Илларион смастерил шкатулку из грушевого пня — дерево душистое, теплое и не коробится — сложили туда все награды...

Земля, как и люди, обессилела, подкормки просила. Илларион подумал, подумал и кур завел. Машину навоза на огород — дорого, не потянуть. А куриный помет настоять на колодезной воде — и будет вам «безотходное производство». На огороде каждая травинка зарадовалась. А как заалели весной яблоньки и вишни — рай земной.

В Доме царили неписанные законы. Кто бы ни пришел — звали к столу. Хлебных крошек не оставляли — собирали в ладошку и отправляли в рот. И всегда было включено радио. Тоже — блокадная привычка: радио говорит, значит, не пропадем!

Мир принес солнечную радость: внучка родилась. Бельенкая и глазастая, глаза, как у Иллариона — хлеб с медом. Но ху-у-денькая...

Илларион собрал семейный совет: складываем, ну, все, что есть, и покупаем корову!

Теперь Нина вставала в четыре утра, доила Зорьку и вела ее пастись. Приводила и снова доила. На парном молоке внучка росла быстро, но не толстела. Она была как ртуть, ни секунды не усидит на месте. Зато смышленная. Года не было —

пошла и заговорила. А как исполнилось три — Илларион показал ей буквы по книге Пушкина, и подумать только, она сейчас же сложила вслух слово: «Пушкин». И засмеялись оба от счастья.

Илларион пожалел дитя в сад отдавать. Сказал, у нас свой сад под окнами цветет. Родителей целыми днями не было: дочка в цеху, зять днем в своем «почтовом ящике», а вечером на занятиях в Военмехе. Илларион крикнул сначала с досады: руками зять мало что мог сделать в доме, видно, не приучен был. С мачехой жил, а что может мачеха без отца! Илларион решил: вмешиваться не стану. Пока я жив, Дом будет стоять. А внучку вырастим!

Нина пела ей песни. Пела и гладила по голове. Рука была теплая, пахла молоком. Одна из песен начиналась так: «Вечер вечерееет, наборщики идут, а бедную Марусю в больницу повезут». Слово «наборщики» было для трехлетки новым. Зато слово «борщик» знакомым. Кроха спросила у бабушки:

— А кто эти «они», что на борщики идут?

Нина с Илларионом улыбались, пересказывая это друг другу.

Илларион был уверен: внучкина смышленость от целительного молока. Он и пчел завел. Чтoб голова еще лучше работала. И саду польза. Говорят же: пчела в саду — яблоко на ветке. Яблоки пошли породистые, крутобокие, румяные.

За молоком к ним теперь вся улица ходила, продавали задешево, чтоб только на сено хватило. Улица дышала единым духом. Собрался, можно сказать, интернационал: поляки, украинцы, татары, мордва, евреи, цыгане, белорусы, марийцы, коми и даже немцы. Здесь царил вечный мир, национальность никого не разделяла.

Эти люди знали о войне не понаслышке. Поэтому старались про нее не говорить, а разводить сады для любимого города. У каждого дома шелестел сад.

Иллариону и Нине они сделались родными.

Нина часто пекла пирожки — с картошкой, с морковкой, с яблоками — и одаривала детей, что шли мимо. Это была ее непрекращающаяся борьба с блокадой. Нине хотелось всех оделить, даже тех, кто не дожил до Победы. Сына младшенького с глазами прозрачными, как весенняя вода. Женщину, вернувшую им карточки. Катерину, вернувшую им дочку... Нина стояла у калитки, смотрела в небо. Небо сияло голубым, как ее глаза. Им не суждено было выцвести. Длинные косы огибали ее голову всю жизнь — сначала черные, потом белые. Только жизни оставалось мало.

Беды пошли с пузатого уполномоченного: вломившись в дом, он стал указывать:

— Что вы тут развели? Корова, ульи! Это вам не Сибирь, а город-герой! Скоро указ выйдет, чтоб скотины в черте Ленинграда не было. Режьте и сдавайте государству на мясо!

Зорька была кормилицей и почти членом семьи. Погубить ее — ни у кого рука не поднялась. Искали покупателя в области, чтоб в хорошие руки попала. Горевали страшно.

Но до указа Нина не дожила. Сгорела от скоротечного рака, когда внучке не было и пяти лет.

Илларион давно уже задыхался. Блокада обернулась для него эмфиземой легких. А тут словно совсем воздуху не осталось. Не умел он — быть без Нины. «Да как же так? — путалась его мысль. — Ведь все сыты, сирень цветет, жить бы и жить. Как же так?»

В день Нининых похорон у внучки поднялся жар, она залезла на забор и сидела там воробьенком. Ни за что не шла в дом. Родственники и соседи пытались ее снять, но она с ревом вцеплялась в доски забора. Илларион подошел, погладил по голове, как Нина. Девочка встрепенулась и хрипло выдавила:

— Дай слово, что ты не умрешь.
Слово Иллариона было — кремень.
И он вынул из души:
— Обещаю.
Взял птенца на руки и внес в Дом...

* * *

Дедушка не обманул меня. Илларион всегда говорил правду. Я и сейчас чувствую, что он рядом. Выше всех, но рядом.

Судьба опять поселила нас на Невском проспекте. Молодые дедушка, бабушка, папа и мама смотрят на меня с фотографий во все глаза. Я берегу их награды — медали и орден. Книга Пушкина, пережившая блокаду — по ней дедушка учил меня читать, — стоит в шкафу. Баян в Доме есть, правда, другой, но есть. На нем играет младшая дочка. В Дому те же законы. Хлеб — всему голова.

А когда улицу на Пороховых застраивали новыми домами, но стояли еще старые стены, я сняла с калитки вертушок — дедушка называл его «заверткой». Завертка хранит на себе тепло рук моих близких...

Екатерина СОСНИНА

ТАЙНА ИЗВЕСТНОЙ АКВАРЕЛИ М. ЛЕРМОНТОВА

Святые места расположены на всей территории России. Некоторые старинные монастыри по праву считаются любимыми уголками страны. Они не могли не вдохновлять русских классиков (как художников, так и литераторов) на создание произведений, связанных с многовековой российской историей...

Старинный город Переславль-Залесский расположен в 140 километрах от Москвы, неподалеку от Плещеева озера, на берегу которого высится Никитский мужской монастырь — один из древнейших в России. Именно с этими местами связана, как мы полагаем, одна из известных акварелей М. Ю. Лермонтова — «Парус».

Великий поэт, кроме литературного, оставил и живописное наследие, хранящее немало загадок. Ученые-лермонтоведы разгадывают их до сих пор. Одна из них связана с известной акварелью, написанной совсем еще юным Михаилом Лермонтовым предположительно в 1828—1831 годах. Рисунок имеет условное название «Парус» («Морской вид с парусной лодкой»). Акварель находится в альбоме, принадлежавшем любимой тетке Лермонтова — Марии Акимовне Хастатовой-Шан-Гирей (хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге).

Московские ученые считают, что белокаменный, загадочный, сказочный город, изображенный на высоком берегу огромного водоема, может быть только Москвой. Петербургские лермонтоведы убеждены в другом: романтический пейзаж — не иначе как Финский залив. В одной из статей, посвященных лермонтовскому рисунку «Парус», часто называемому исследователями «Морской вид с парусной лодкой» (бумага, акварель 9×15,5 см), мы высказали предположение¹, что на нем изображены

Екатерина Леонидовна Соснина родилась в г. Ессентуки. Окончила Пятигорский педагогический институт иностранных языков. Кандидат исторических наук, доцент, член Московского Лермонтовского общества, главный научный сотрудник Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова (г. Пятигорск). Автор многочисленных публикаций о Лермонтове и истории Северного Кавказа, книги «Французы на Кавказе (исторические и живописные путешествия XIII—XIX вв.)» (2015). Один из авторов Энциклопедического Лермонтовского словаря (2014). В переводе Е. Л. Сосниной вышли в свет: книга французской путешественницы, женщины-легенды в жизни М. Ю. Лермонтова Адель Оммер де Гелль «Путешествие по прикаспийским степям и югу России» (2003); труд одного из основателей науки о Кавказе графа Яна Потоцкого «Путешествие в астраханские и кавказские степи» (2003), а также неизвестные письма княгини М. А. Щербатовой. Участник международного проекта «Французы в научной и интеллектуальной жизни России XIX века», организованного Институтом всеобщей истории РАН совместно с Французской академией наук (2010—2013).

¹ Соснина Е. Л. Мог ли М. Ю. Лермонтов бывать в Ярославской губернии? // «Из пламя и света рожденное слово...»: материалы Пятнадцатых Лермонтовских чтений. — МУК ЦБС города Ярославля, 2017. С. 78—82.

окрестности Переславля-Залесского и Плещеево озеро. В данной публикации нам бы хотелось атрибутировать изображенное М. Ю. Лермонтовым место как Никитский монастырь — любимый уголок России для всех, кому дорого историческое наследие страны.

Вспомним первую строку стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» (1832). Она восходит к поэме литератора, декабриста Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский»:

Белеет парус одинокий,
Как лебединое крыло,
И грустен путник ясноокий;
У ног колчан, в руках весло.

Известно, что у Бестужева-Марлинского, оказавшего на Лермонтова большое влияние, есть и другое произведение — «Изменник», в котором он также обращается к историческому прошлому России. В нем описывается Плещеево озеро и его берега. Впервые эта повесть была опубликована в альманахе «Полярная звезда» за 1825 год. Владимир Ситцкий, герой повести, поражен красотой озера и окружающих его мест. Но для него озеро, как и для самого автора, становится символом Руси с ее славным историческим прошлым: «как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее».

Образу озера автор уделяет значительное место в повести. Для него это символ Родины. «„О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоём? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?“ Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостью озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обитателей»².

На берегах Плещеева озера расположено несколько обителей: одна из самых известных — Никитский монастырь, один из древнейших в России. Кстати, посещавший обитель Иван Грозный рассматривал ее как одну из важнейших крепостей. Затем Никольский женский монастырь, основанный около 1350 года. Еще одна из знаменитых обителей — Горицкий монастырь, великолепный многоярусный иконостас которого создан в 1750-х годах. Паломники прошлых лет, как и современные туристы, перемещаются из одного монастыря в другой по берегу Плещеева озера, заканчивая свое путешествие у музея «Ботик Петра», основанного в 1803 году.

Сам Переславль-Залесский был основан князем Юрием Долгоруким раньше Москвы, в 1099 году. На берегах озера возникает ощущение, что перед тобой проходит вся история России. Тут и Иван Грозный, и Петр Великий, который совсем юным ездил сюда, чтобы построить свою потешную флотилию. Сейчас в Переславле-Залесском стоит памятник Петру Первому. Корабли той флотилии сгорели во время пожара. Уцелел только один ботик под названием «Фортуна». В наши дни его копии спускают на воду. Они плывут по озеру, точно как парусная лодочка на рисунке Лермонтова. И поэт как бы ведет с нами, сегодняшними, диалог...

Надо отметить, что в стихах, созданных после 1832 года, Лермонтов часто пишет о море («Примите дивное посланье», «Для чего я не родился», «Белеет парус одинокий»). Однако по живописной манере акварель датируют более ранним временем,

² Бестужев-Марлинский А. А., Александр Александрович. Наезды; Изменник: Повесть 1613 г.: [Рассказ] / Соч. А. Марлинского (А. А. Бестужева). — СПб.: А. С. Суворин, ценз. 1885. — 169 с.

и, по-видимому, иллюстрацией к названным стихам она не является. То есть именно в живописном наследии М. Ю. Лермонтова впервые возникает образ паруса, ставший впоследствии знаковым в русском культурном сознании.

Двигаясь из одной обители в другую, вдруг открываешь то место, откуда был увиден парус, изображенный на лермонтовском акварельном рисунке. Все совпадает: и Плещеево озеро здесь так огромно, что и правда похоже на море, и высокий берег. А изображенный белокаменный город — не что иное, как знаменитый Никитский монастырь. На лермонтовском рисунке различимы даже отдельные исторические постройки. Видны белокаменные стены и башни XVI века с арочными входами, а также два высоких строения, которыми могут быть колокольня храма Благовещения с конусообразной кровлей и колокольня Никитского монастыря.

Исследователями неоднократно отмечалось, что одним из важнейших пространственных топов у М. Ю. Лермонтова является монастырь³. Для поэта это — место, где человек борется со своими страстями, проходит испытание сомнением, искушением («Демон», «Мцыри»). Монастырь — знак памяти, поэтому часто Лермонтов изображает его разрушающимся, как бы уходящим в небытие.

И. С. Юхнова справедливо обращает внимание на то, что во времена поэта традиционными были паломничества по святым местам — в литературе был популярен особый род путевых заметок, в которых рассказывалось о путешествиях к святыням. В первой половине XIX века были известны записки Д. В. Дашкова, О. И. Сенковского, А. Н. Муравьева, П. А. Вяземского. Сохранились мемуарные свидетельства о посещениях святых мест и М. Ю. Лермонтовым. В биографии поэта зафиксировано два подобных события, которые отразились в стихотворениях «Оставленная пустынь предо мною» и «Нищий» (1830). В них появляется образ храма, монастыря, который станет сквозным в лермонтовском творчестве⁴.

Можно допустить, что поэт со своей набожной бабушкой посетил и Переславль-Залесский — город в Ярославской губернии, славившийся своими многочисленными монастырями, привлекавшими самобытной красотой. Тем более что именно здесь в свое время находилась Переславская епархия, образованная в 1744 году (правда, упраздненная в 1788 году Высочайшим указом).

Никитский мужской монастырь, по некоторым данным основанный ранее 1186 года, находится на северной окраине Переславля-Залесского, на самом берегу Плещеева озера.

Монастырь посвящен святому Никите Великомученику, жившему в IV веке. Однако известность обитель получила благодаря другому святому — Никите Столпнику Переславскому. Преподобный Никита, уроженец Переславля-Залесского, жил в XII веке. В юности он вступил в брак и со временем предался многим порокам: притеснял бедных, заводил ссоры с богатыми, взимая с них несправедную мзду, и таким образом приобрел себе богатое имение. Но после, прозрев к Богу во время одной из церковных служб, оставил дом, семейство и большое имение, несправедно им нажитое, и ушел в Никитский монастырь, где показал редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества. Возложив на себя тяжелые железные вериги, он заключился в уединенный столп, где до самой кончины своей день и ночь пребывал

³ Ходанен Л. А. Семиосфера храма и поэтика монастырских сюжетов в творчестве М. Ю. Лермонтова. Сайт Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Лермонтовская энциклопедия, М., 1981. — Режим доступа: <http://feb-web.ru>.

⁴ Юхнова И. С. Образ монастыря в творчестве М. Ю. Лермонтова // Жизнь провинции как феномен русской духовности (Мат-лы Всероссийской научной конференции. 23–24 апреля 2003 года). С. 50–55.

в трудах и молитвах. За свою подвижническую жизнь и раскаяние Никита получил от Бога чудотворный дар исцеления. Слух о необычайном подвижничестве преподобного Никиты, а также о его чудотворениях разнесся далеко. По сей день верующие едут сюда за исцелением от различных недугов, так как в монастыре хранятся мощи и вериги преподобного Никиты Столпника, прославившегося не только монашеским подвигом, но и способностью избавлять людей от различных хворей. Одним из известных чудес святого является исцеление князя Михаила Черниговского — семилетнего тогда отрока. В этой истории, возможно, кроется причина, почему бабушка М. Ю. Лермонтова, обеспокоенная слабым здоровьем внука, могла предпринять подобную паломническую поездку.

Особенно популярными такие паломничества были в XIX веке. Паломникам в монастыре показывали столп и древние вериги преподобного Никиты. Никитский мужской монастырь привлекал странников также своей историей. Расцвет обители начался при игумене Вассиане, когда на нее обратил внимание сын Василия Третьего — Иван Грозный. Он готовил монастырь как запасную опричную крепость — на тот случай, если Александровская слобода перестанет быть надежным укреплением. Не раз он со своей семьей совершал паломничества в монастырь. В 1560—1564 годах по приказу царя возведен новый собор — пятиглавый храм (старая постройка времен Василия Третьего стала южным приделом Никиты Столпника). Иван Грозный приезжал на освящение собора. Одним из его вкладов было массивное бронзовое паникадило для храма, а его жена Анастасия Романовна подарила храму собственноручно вышитый образ Никиты Столпника. Храм XVI века сохранился до наших дней. Иван Грозный пожаловал монастырь вотчинами. Стены монастыря выдержали осаду поляков в 1609 году. Древняя история Руси не могла не заинтересовать юного М. Лермонтова, тем более если вспомнить, что предок русской ветви его рода Георг Лермонт, храбрый «солдат удачи», поступивший на службу к первому Романову — Михаилу Федоровичу — в 1613 году, во время второй войны с Польшей в 1634 году был убит под Смоленском и, по преданию, похоронен у стен Авраамиево-Городецкого монастыря (ныне Костромская область, граничащая с Ярославской областью). В свое время Георг Лермонт получил земли все в той же Костромской губернии. Он был дважды женат, имел четверых детей, получивших впоследствии имения по соседству, то есть в тех краях находилось родовое гнездо Лермонтовых. И скорее всего, юный поэт знал об этом от своего отца.

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов, считался тульским дворянином и был с 1829 года записан в тульскую родословную книгу вместе с сыном, так как в 1811 году получил в наследство от своего отца, Петра Юрьевича Лермонтова, имение Кропотовку в Ефремовском уезде Тульской губернии. Однако по сохранившимся в Костромском государственном архиве документам видно, что весь род Лермонтовых издревле, с 1621 года, тесно был связан с Костромским краем. Дед поэта, артиллерии поручик П. Ю. Лермонтов, родился в родовой усадьбе Лермонтовых Измайлово в Чухломском уезде, ему с братьями принадлежали также в Галичском уезде многие усадьбы: Туровское, Лежнино, Воронино, Никольское и другие.

Исследователь А. Григоров опубликовал документы, хранящиеся в ЦГВИА, которые убедительно доказывают костромское происхождение отца поэта⁵. Из этих документов совершенно очевидно, что отец поэта родился в Галичском уезде Костромской губернии, граничащей с Ярославской областью. Так что Ярославль и его окрестности должны были вызывать самый живой интерес поэта.

⁵ ЦГВИА, фонд 314, оп. 1, д. 4005, л. 1—2.

Этот интерес усиливался огромным влиянием на М. Ю. Лермонтова произведений А. Бестужева-Марлинского. Мы не располагаем доказательствами пребывания А.А. Бестужева-Марлинского в Ярославском крае, но его описания Плещеева озера в повести «Изменник» столь реалистичны, что трудно представить, что их мог сделать человек, не побывавший там. Из приведенной выше цитаты из повести видно, что в описании окрестностей озера Бестужев-Марлинский упоминает главы обителей, то есть монастырей. Так образ монастыря оказывается неразрывно связан с Плещеевым озером. Примечательно, что Бестужев-Марлинский в тексте повести делает авторские сноски: 1) «Доселе идет поверье, что Плещеево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно»; 2) «Жители Переславля, большею частию рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера»⁶. Вода озера смывала грехи и, судя по второй сноске, спасала от врагов. «Пусть же берега твои сохраняют меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар!» — заключает автор.

Во многом под влиянием Бестужева-Марлинского в том же направлении развивался и художественный метод М. Ю. Лермонтова. Рассматриваемый нами рисунок поэта передает основные части сложного образа монастыря: монастырские постройки на возвышенности рядом с огромным водоемом. При этом образ озера неотделим от образа монастыря. На лермонтовском рисунке он занимает центральное место. Для М. Ю. Лермонтова озеро тоже становится символом Древней Руси с ее многовековой историей.

На символику воды в творческом наследии М. Ю. Лермонтова обратила внимание в своих исследованиях Ольга Сергеевна Крюкова — доктор филологических наук, заведующая кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова⁷. К маркерам гидротекста в творчестве Лермонтова она относит упоминания озер, морей и рек. Так, например, в поэме «Последний сын вольности» важное сюжетное значение имеет Ильмень-озеро, которое называется просто Ильмень. При этом сам поэт, работая над текстом своего произведения, прибегает к жанру «старинной повести».

Рассматривая развитые монастырские комплексы в качестве сложившихся архитектурных структур, возможно отметить некоторые общие типологические признаки в их застройке, планировке и композиции, отразившиеся в рисунке М. Ю. Лермонтова. Как правило, уже на первой стадии сложения монастыря он обносился стеной. Ограда, отделяющая обитель от мира, тем самым делала монастырский комплекс подобным городу или крепости. Традиционно основатели монастырей останавливали свой выбор на холме в устье ручья при впадении его в речку или на берегу озера. Подобный выбор места основания обители был обусловлен тем обстоятельством, что до середины XVII века одной из важнейших функций монастыря как социального учреждения была военно-оборонительная. Вода нужна была для жизни, а также для совершения обряда крещения. Обязательными сооружениями в монастырском комплексе были колокольня или звонницы. Красота природы, окружавшей обитель, облегчала подвижникам их трудный подвиг, служила отрадой и утешением.

Однако вернемся к образу паруса, изображенного поэтом на водной глади и получившего впоследствии развитие в лермонтовском творчестве. Исследователи И. С. Юх-

⁶ livelib.ru: <https://www.livelib.ru/book/23540/read-izmennik-aleksandr-bestuzhevmarlinskij>.

⁷ Крюкова О. С. Символика воды в творчестве М. Ю. Лермонтова // Вестник культурологии № 2 (105). М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2023. С. 121 — 131.

нова и С. Н. Пяткин⁸ отмечают, что в настоящее время намечается новое понимание лермонтовского образа — его включают в контекст христианской традиции. Именно такое прочтение предложила И. А. Киселева. Она убедительно доказала, что стихотворение «обладает характерной для романтизма религиозно-мистической аурой»⁹, и рассмотрела его ключевые образы в аспекте христианской символики (в частности, образ церкви-корабля, что позволило интерпретировать плавание на корабле как «метафору богопознания»). В таком понимании парус можно считать символом души человека, вошедшим в эстетико-художественное пространство не только литературных, но и живописных произведений поэта.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что на акварельном рисунке М. Ю. Лермонтова «Парус» изображен Никитский монастырь, а сам поэт мог побывать в Ярославском крае, где и запечатлел древнюю обитель. Тем более что имеются косвенные свидетельства того, что поэт действительно посещал эти края, останавливался в имении Зиновьевых и, очевидно, бывал у Мусиных-Пушкиных¹⁰.

Литература

Бестужев-Марлинский А. А. Наезды; Изменник: Повесть 1613 г.: [Рассказ] / Соч. А. Марлинского (А. А. Бестужева). — СПб.: А. С. Суворин, ценз. 1885. — 169 с.

Блохина И. В. Бывал ли Лермонтов в Ярославском крае: размышления ярославского писателя, краеведа и библиотекаря Бориса Павловича Комарова // 8-е Лермонтовские чтения «Кто близ небес, тот не сражен земным». № 13. С. 95—98.

Киселева И. А. Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус»: поэзия духовной перспективы // Литературоведческий журнал. 2005. № 20. С. 40—48.

Крюкова О. С. Символика воды в творчестве М. Ю. Лермонтова // Вестник культурологии №2 (105). М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2023. С. 121—131.

Соснина Е. Л. Мог ли М. Ю. Лермонтов бывать в Ярославской губернии? // «Из пламя и света рожденное слово...»: материалы Пятнадцатых Лермонтовских чтений. — МУК ЦБС города Ярославля, 2017. С. 78—82.

Ходанен Л. А. Семиосфера храма и поэтика монастырских сюжетов в творчестве М. Ю. Лермонтова. Сайт Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Лермонтовская энциклопедия, М., 1981. — Режим доступа: <http://feb-web.ru> ЦГВИА, фонд 314, оп. 1, д. 4005, л. 1—2.

Юхнова И. С. Образ монастыря в творчестве М. Ю. Лермонтова // Жизнь провинции как феномен русской духовности (Мат-лы Всероссийской научной конференции. 23—24 апреля 2003 г.). С. 50—55.

Юхнова И. С., Пяткин С. Н. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус» в русской культуре // Вестник славянских культур, 2022. Т. 65. С. 158—168.

livelib.ru: <https://www.livelib.ru/book/23540/read-izmennik-aleksandr-bestuzhevmarlinskij>

⁸ Юхнова И. С., Пяткин С. Н. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус» в русской культуре // Вестник славянских культур, 2022. Т. 65. С. 158—168.

⁹ Киселева И. А. Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус»: поэзия духовной перспективы // Литературоведческий журнал. 2005. № 20. С. 40—48.

¹⁰ Блохина И. В. Бывал ли Лермонтов в Ярославском крае: размышления ярославского писателя, краеведа и библиотекаря Бориса Павловича Комарова // 8-е Лермонтовские чтения «Кто близ небес, тот не сражен земным». № 13. С. 95—98.



Искусство чтения

Александр ЧИСТОБАЕВ

ПОЭЗИЯ ДМИТРИЯ АРТИСА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

Дмитрий Артис занимает важное, а главное — свое место в современном литературном процессе. Надо сказать, что имя этого поэта обрело известность еще задолго до начала боевых действий. Как остроумно и самоиронично замечает автор в раннем сборнике «Мелкотемье»:

Приветствую и, кажется, могу,
косящихся вокруг не замечая,
гордиться тем, что стали узнавать
охранники питейных заведений.

В этом смысле Дмитрий Артис был поэтом всегда. Это мироощущение такое — быть поэтом... Инобытие. Тем любопытнее рассмотреть его творчество вблизи.

Дмитрий Юрьевич прошел долгий и такой разный путь поэта. От использования постмодернистской техники (2010):

А я (последняя строчка выделена курсивом)
просто живу красиво, —

Александр Чистобаев — писатель, филолог, публиковался в журналах «Аврора», «Звезда», в «Литературной газете», «Литературной России», «Литературных знакомствах», «Prosodia». Постоянный автор периодического альманаха «ПроФан». Победитель и призер пяти всероссийских конкурсов и фестивалей. Автор книг стихотворений «Определенная форма Глагола» (2019), «Урна Сатурна» (2025), «У кармы на крючке» (2025).

до мужественной традиционной батальной лирики (2023—2026).

И если в ранних произведениях лирическому герою Артиса дышится несвободно и он мечется в поисках выхода:

Придумал себе реальность, сколотил по примеру ящика,
живу в ней, дышу сквозь щели, питаюсь самим собой, —

то сейчас субъект его лирического высказывания полностью интегрирован в общество: чего стоят, например, его стихи о товарищеской дружбе на войне или произведение, в котором возлюбленная, уверяя, что любит героя, просит: «Прочти мне что-нибудь из Пастернака».

На данном этапе творческого пути Дмитрий Юрьевич работает с разными жанровыми нишами. Так, например, мотив колыбельной явственно всплывает в его недавнем стихотворении «Тихо-тихо. Бой прошел и...»: «Спят в окопах автоматы после страшной заварушки». В этом смысле общая трагедия происходящего, ее эффект производят отрезвляющее впечатление благодаря мотиву колыбельной: поэт работает на контрасте, объединяя детскую и взрослую тональности.

Вообще внимание к детям (к ребенку как к читателю в том числе) у Дмитрия Артиса чувствуется во многих произведениях, и не только потому, что сам он не понаслышке знает, как быть отцом. У поэта даже создан цикл «Новейший бестиарий» (из «детских» стихов).

Недавно у Дмитрия Юрьевича вышли книги для подростков про СВО («Как настоящий солдат», «Сердце дракона»), ибо позиция автора в том, чтобы доносить до наших детей именно сейчас, что происходит на самом деле. Как выразился писатель на своем именном вечере в Санкт-Петербурге: «Если мы не расскажем детям, что происходит в мире, то за нас это сделают наши враги». И это так верно, не случайно поэта приглашают в школы.

Трогательная интонация Артиса проникает не только через силлаботонику, но и через верлибр, что доказывает умение автора переключаться на разные жанровые регистры:

Я ничего не делал,
только представил,
что должен
тебя защитить,
пока ты бегаешь
по минному полю,
спасая бездомных котят.

Образ беззащитного ребенка, который, кстати, не дан прямо, но присутствует через такие слова, как «бездомные котята», «бегаешь», бьет прямо в сердце читателя.

Бьют в сердца читателей также произведения Дмитрия Артиса, которые продолжают традицию русской батальной лирики.

Дмитрий Артис

Александр Твардовский

Леса дымятся,
рощи, пашни,
и воздух
молнией крещен.

Я знаю, никакой моей вины
в том, что другие не пришли с войны,
в том, что они — кто старше, кто моложе —

Прошу прощения
у павших
за то, что жив
пока еще.

остались там, и не о том же речь,
что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Как видим, реминисценции на классиков военных и послевоенных лет являются не просто отсылками у Дмитрия Артиса, но логично, а главное — органично развивают дело писателей-участников Великой Отечественной. Надо отметить, идеал автора — писатель-воин, недаром в своих выступлениях, а также в телеграм-канале «Дмитрий Артис: не только стихи» Артис прославляет Василия Жуковского, воспитавшего царского наследника. Об этом боль самого Артиса, в этом, возможно, его цель — стать наставником для подрастающего поколения. Артис — единственный из писателей, с кем я знаком, кто развивает детскую литературу: «Считаю, что если писатель за всю свою жизнь не написал ни одной детской книги, то сложно назвать его писателем. Пока живы, подумайте в сторону детей» (публикация от 26.08.2025 года в телеграм-канале «Дмитрий Артис: не только стихи».

Тем не менее поэт работает не только с проникновенной, ясной для широкой публики техникой письма — ему доступны и разного рода изобразительно-выразительные средства. Вот, например, как функционирует метафора в его верлибре:

В детстве,
чтобы услышать море,
прислоняли к уху ракушку.
Сейчас у меня море в ушах
двадцать четыре на семь.

Артис словно деконструирует устоявшуюся метафору и возвращает ей первоначальный смысл. «Выворачивание» метафоры можно заметить и в зрелых произведениях пятнадцатилетней давности: «...дверь посади на цепи, а полумрак — на царство». Многозначное слово «посадить» начинает играть разными оттенками.

Также в индивидуальной поэтике автора наблюдается хиазм, функция которого сводится в основном к усилению смысла высказывания перекрещиванием его элементов:

Война без Толстого невозможна.
Ну, или Толстой невозможен без войны.

Вообще подобные высказывания, не только про классиков, всегда на острие карандаша Дмитрия Артиса. Он болеет за литературный процесс. Так, например, в публикации от 24 августа 2025 года по поводу калининградского круглого стола поэт подчеркивает: «...результат (проведения мероприятия. — А. Ч.) от нас зависит. Превратим ли мы круглый стол в отчетное собрание или же создадим дискуссионное поле». Именно — для Артиса важно живое включение, об этом говорит хотя бы факт того, как поэт модерирует полемику, а также меняет ее русло на литературных семинарах для молодых авторов в качестве Мастера.

Но не только социальная проблематика в основном репертуаре данного поэта. Вопросы Божественного волнуют его больше всего:

У Бога за пазухой тесно,
и все-таки лестно, поди,
пластами слоеного теста
лежать у Него на груди.

Образ Бога — уютный, домашний, автор наполняет любовью каждую строчку к Нему. Стихотворение заканчивается внезапным выводом:

Его аккуратные Длани
любого к себе приберут.
Каких еще надо желаний
святому и грешнику тут?

Парадоксально, но знаменатель, то есть Бог, объединяет и поддерживает любой числитель (хоть святых, хоть грешников), и в этом смысле поэтический взгляд автора целен, а мировоззрение его ясно. Логично, а главное — органично, что автор придерживается конкретной идейной установки, что, несомненно, подкрепляет уверенность читателя в своем авторе:

С поддержкой огневой в пыли святых дорог
вы будете со мной, и с нами — русский Бог.

Потому что читателю важно знать, что его автор — навсегда с ним.

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ И РОССИЯ

Часть 4

В одной из своих работ, озаглавленной «Единый поток жизни. (К проблеме единства христиан)» (Брюссель, 1973), Н. С. Арсеньев поместил главу под характерным названием: «Основное единство христианской духовной жизни на Востоке и Западе». В этой главе он приводит два эпизода: один, рассказанный Фомой Челанским в его второй биографии Франциска Ассизского, и другой, включенный византийским духовным писателем Иоанном Мосхом (550—619) в его «Луг духовный». «У Фомы из Челано читаем, что раз во время последней болезни Франциска, когда он сам не мог читать, так как страдал глазами, один брат предложил почитать ему вслух из Св. Писания. Франциск всю жизнь свою бесконечно любил и чтит Писание, но в этот раз он ответил ему: „Мне большего не нужно, сын мой. Я знаю Христа бедного и распятого“. И этого ему было достаточно: постоянного устремления духовного взора своего на Распятого. В этом вся мудрость Франциска, красной нитью проходящая через всю его жизнь от видения Распятого в часовне Сан Дамиано до стигматизации на Альвернской горе, — пишет Н. С. Арсеньев. — Так и у Иоанна Мосха читаем: Пришедшей к праведному старцу Стефану ради поучения братии он, после долгого молчания, наконец сказал: „Что знаю, то скажу вам. Днем и ночью я ни на что более незираю, кроме Господа нашего Иисуса Христа, пригвожденного к древу крестному“»¹.

Один из поэтов русского зарубежья — Владимир Доброхотов — посвятил св. Франциску такие строки:

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии. Автор около 1000 статей и более 30 книг, в основном на тему связей РПЦ со странами Востока и Запада. Публиковался в журналах «Нева», «Байкал», «Символ» (Париж), «Русское возрождение» (Нью-Йорк—Москва—Париж), «Вокруг света», «Новый мир», «Русская мысль» (Париж), «Новая Европа» (Милан—Москва) и других. Действительный член Российского географического общества, участвовал во многих паломнических экспедициях, посетил более 100 стран мира. Лауреат премии журнала «Нева» (2003).

¹ Арсеньев Н. С. Единый поток жизни. Брюссель, 1973. С. 59.

Бичуй меня, брат мой, Леоне, брани!
Исчадие я преисподней,
Страдания Христовы искал я одни —
Лишь радость — наследье Господне.

.....
В небо! Туда! К подножью
Трона времен и вещей,
К благодати, Ласке Божьей,
Выспренней, вихря быстрей
Взвейся душа-голубица!
В блеске, в крещении огнем,
Станешь ты огненной птицей,
Прахом златым и дождем.
В радуге сизые крылья
Плавь! Пламеней, сгорай!
Вверх золотистою пылью
В полымя света, в рай.

Там... поцелуй Серафима
Бременем легким падет
В лоно твое и, томимый,
Тяжестью горних высот,
Вниз упадешь ты, как цветень,
В путы телесных оков,
В чаши отверстых фьоретти —
В завязь грядущих веков².

В 1970-х годах на страницах «Вестника РХД» развернулась полемика по поводу католической аскезы. Парадоксально, что против ее «крайностей» выступал католический священник, а в ее защиту — православный иерей.

Священник Всеволод Рошко, русский эмигрант и православный по рождению, в предвоенные годы стал (вместе со своим братом) католиком и священником-доминиканцем (сконч. 1984). Однажды он заметил, что «часто католическое душеполезное чтение для нас не назидательно, а, скорей, отвратительно, а потому и соблазнительно. Во „Фиоретти“, которые вообще нам так дороги, читаешь в главе 44, что степень духовного совершенства — в зависимости от степени страдания, которое праведник испытает, размышляя о Распятии. Тогда именно соображаешь, что путь, который открыл святой Франциск, для нас закрыт. Тут большая опасность для русского, находящегося среди католиков: те обряды, те мысли, которыми питаются католики, сами по себе не плохи, а нам чужды. Неподготовленная душа падает в уныние, в томление, и потом в равнодушие. Из рожденных русских, кроме пяти-шести среди нашего католического духовенства, о других лучше не спрашивать: в лучшем случае, они стали неврастениками. Тут массовый факт, с которым неблагоприятно было бы не считаться»³.

² Доброхотов Владимир. Франциск Ассизский // Эстафета. Сборник стихов русских зарубежных поэтов. Париж; Нью-Йорк, 1948. С. 36—37.

³ Рошко Всеволод, свящ. Письма о. Александру Меню // Вестник РХД. Париж; Нью-Йорк; Москва. 1992. II. № 165. С. 49. Письмо от 8 апреля 1974 г.

Ответ *прот. Александра Меня*: «Вы пишете, как трудно восточным приспособиться у вас к западному благочестию. Это ведь тоже свидетельство нашей слабости. Значит, и наше благочестие нуждается в укреплении для того, чтобы стать чем-то для западного»⁴.

В одном из следующих писем о. Александр продолжает: «Думаю, что слова, приведенные в Фиоретти, не случайны. Существует тип людей, которые открывают для себя Бога на изломах жизни, в опыте страданий и отчаяния. „Страждущие люди“, о которых писал в свое время Джеймс, существуют, конечно, повсюду. Достоевский достаточно ясно показывает, что и русскому складу это присуще. Тем не менее на Западе такой тип, очевидно, более ярко выражен (это линия, ведущая от Августина к Лютеру, Паскалю и Кьеркегору). Культ Страстей несет в себе столько величественного, прекрасного и подлинно христианского, что без него (как составного элемента многообразной Церкви) мы потеряли бы много. Он особенно ценен в сочетании с другими путями, подобно тому, как Крест становится знаком победы в свете Воскресения»⁵.

Православная церковь не высказывала официальной точки зрения о стигматах. Тем не менее авторитетное мнение по данному вопросу выразил митрополит Антоний (Блум)⁶ в своей книге «Материя и дух»; последняя глава этого труда носит название «О стигматах»⁷.

Если бы стигматизация была действительно харизматическим явлением, если стигматы — поражение благодатью, каждый из стигматизованных носил бы раны Христа в том виде, как они были нанесены Христу. В тех же наблюдениях, которыми мы располагаем, мы видим иное. И если мы зададим себе вопрос, в чем состоит их механизм, то в некоторых случаях его можно восстановить. Профессор Лермит, проводивший исследования в этой области, смог выявить в отношении некоторых святых, чья стигматизация известна и чьи изображения Распятия мы располагаем, что их стигматизация воспроизводит эти изображения, а не объективное расположение ран на теле Христа. Больше того: она не только воспроизводит их изображение Распятия, но всегда наблюдается также то, что ученые называют теперь явлением инверсии: стигматы расположены так, как если бы на тело стигматизованного наложили лицом находящееся перед ним Распятие, и то, что на Распятии находится справа, на теле стигматизованного оказывается слева. И это явление говорит нам не о мистике Креста, а о мистике изображения Распятия, и мы видим, как внимание будущего стигматизованного, напряженное со всей интенсивностью его веры, желание участвовать в страдании любимого, обращены не на созерцание объективного Креста, на котором умирает Воплотившееся Слово, а на конкретное изображение Распятия, находящееся перед ним и отпечатывающееся в его плоти»⁸.

Что же касается чуда на Альвернской горе, то, как пишет митрополит Антоний, «особняком стоит стигматизация святого Франциска Ассизского (1224 г.), у которого без предварительных медитаций или экстазов впервые в истории появились раны

⁴ Там же. С. 50—51. Письмо от 20 мая 1974 г.

⁵ Там же. С. 61. Письмо от 23 августа 1974 г.

⁶ Митрополит Антоний (Блум) (1914, Лозанна — 2003, Лондон) — епископ Русской православной церкви, митрополит Сурожский; в 1965—1974 годах — патриарший экзарх Западной Европы (по завершении курса школы поступил в Сорбонну и окончил биологический и медицинский факультеты (1938). Работал врачом вплоть до 1948 года, когда избрал путь церковного служения).

⁷ См. также его статью в «Вестнике Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата». Париж, 1963, № 44.

⁸ Антоний Сурожский (Блум), митрополит. Труды. 2-е изд. М., 2012. Кн. 1. Материя и дух. С. 178.

на теле в точности в том виде, как они были нанесены Христу, после видения в небесах распятого серафима»⁹.

Современник митрополита Антония (Блума) — архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеин) старался дать объективную оценку этому феномену. «Во всей Древней Церкви, и на Востоке, и на Западе, феномен стигматизации был неизвестен, но после схизмы¹⁰ нашел благоприятную почву для своего развития в Римско-Католической Церкви. Однако мы этот феномен отнюдь не отождествляем с общим духовным аспектом и богословием этой Церкви. Для православных стигматизация — это неполное, одностороннее и умаленное, впрочем, искреннее и горячее видение христианской веры, как и вытекающие из него духовная жизнь и опыт, пользующиеся молитвенными приемами, отвергнутыми великими учителями святоотеческого духовного дела»¹¹, — пишет владыка Василий с позиции акривии¹².

Но в следующих строках он смягчает свою оценку — в духе икономии¹³: «Впрочем, мы не хотим произносить слишком категорических суждений. Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8). Неполющенную и неуравновешенную «духовность» стигматиков не следует окончательно отвергать. Было бы безрассудно а priori отрицать возможность действия Божественной благодати и в среде стигматиков в ответ на их искренность и горение, даже если эти проявления кажутся нам странными и слишком уж „человеческими“, невзирая даже на все их богословские отклонения»¹⁴.

В 1995 году в московском издательстве Францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных вышла небольшая книга «Преставление, или Память блаженной смерти святого Отца нашего Франциска» (М., 1995). В ней содержались чтения и песнопения богослужения в день блаженной кончины св. Франциска (35 с.). После чтения из Святого Евангелия от Иоанна (Ин. 13, 1—5, 12—17) и песни «Заповедь любви» следовало Чтение из послания брата Илии «О преставлении св. Франциска». Вот что там говорилось о стигматах подвижника из Ассизи: «Свидетельствую вам великую радость и редкостное чудо. С незапамятных времен никто не слышал о таком чудесном знаке, чтобы кто-нибудь обладал им, кроме Сына Божьего, Который есть Христос Господь. Незадолго до своей смерти брат и отец наш сделался подобным Распятому, нося на теле своем пять ран, которые суть истинные стигматы Христа. Ибо руки и ноги его были как бы пробиты гвоздями, пронзены с обеих сторон, сохраняя раны с видимыми следами гвоздей. Бок его был как бы пронзен копьем, и из него часто струилась кровь»¹⁵.

Важным событием в истории отечественной францисканистики был выход в свет очередного издания «Цветочков святого Франциска Ассизского» (СПб., 2022). Помимо традиционной части (А. П. Печковский. Предисловие переводчика; С. Дурылин. Св. Франциск Ассизский и «Цветочки» (статья); Цветочки святого Франциска

⁹ Там же. Примеч. 51.

¹⁰ Здесь: раскол 1054 года.

¹¹ Василий (Кривошеин), архиепископ. Несколько слов по вопросу о стигматах // Журнал Московской Патриархии. 1986. № 4. С. 68.

¹² Акривия (греч. ἀκρίβεια — точный смысл, строгая точность, тщательность) — в христианстве точный смысл, точность, строгость, соответствие букве закона.

¹³ Иконоμία (от греч. οἰκονομία — устройство дома, дел) — в христианстве принцип богословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы,

¹⁴ Василий (Кривошеин), архиепископ. Указ. соч. С. 68.

¹⁵ Преставление, или Память блаженной смерти святого Отца нашего Франциска. М., 1995. С. 19. См. также: Седакова О. А. «Рассуждения о стигматах» святого Франциска // Aequinox. MCMXCI. — М.: Книжный сад; Carte blanche, 1991.

Ассизского (перевод А. П. Печковского)¹⁶ (с. 5—185), в книгу была включена глава «О святых и священных стигматах святого Франциска и об их рассмотрении» (перевод Р. Д. Стырана).

Первое рассмотрение таинства святых стигматов;
 Второе рассмотрение таинства святых стигматов;
 Третье рассмотрение таинства святых стигматов;
 Далее следует письмо брата Массе ко всем братьям и сыновьям святого Франциска.
 Четвертое рассмотрение таинства святых стигматов;
 Как Джеромо, поначалу не веровавший, увидел и прикоснулся к священным святым стигматам святого Франциска;
 О дне и годе смерти святого Франциска;
 О канонизации святого Франциска;
 Пятое и последнее рассмотрение таинств священных святых стигматов;
 Как праведный брат, читая предание о святом Франциске, на главе о святейших стигматах молился Богу, столь усердно размышляя о тайных словах, кои серафим сказал святому Франциску, когда явился ему, что святой Франциск открыл слова сии тому брату.
 Как святой Франциск после смерти явился брату Иоанну из Альверны, когда тот молился;
 О праведном брате, которому было чудесное видение о его покойном товарище;
 Как благородный рыцарь, преданно почитавший святого Франциска, уверился в смерти святого Франциска и в его святейших стигматах;
 Как папа Григорий IX, отрицавший стигматы Святого Франциска, уверился в их истинности¹⁷.

СВ. ФРАНЦИСК И РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ

Влияние францисканства на творчество художников не ограничивалось одной Италией; оно вышло за пределы Апеннинского полуострова и проникло даже в православную Россию. В одной из своих статей, посвященной русско-итальянским святым, академик Д. С. Лихачев писал: «Встреча Руси и Италии произошла еще до того, как мы познали друг друга, в эпоху Предренессанса обнаружились некоторые психологические соответствия, — это Предренессанс, это в Италии Франциск Ассизский и Джотто, а на Руси — это Сергей Радонежский и Андрей Рублев»¹⁸.

«Франциск не смел сопричаститься Славы Христовой и потому дерзнул сопричаститься Его унижению, нищете и бесприютности, — пишет Петр Михайлович Бицилли (1879—1953). — Он самого Христа упрощал для себя и как-то „сокращал“. Последовательно суживая поле своих созерцаний, он в конце концов зафиксировал свой взор на одном лишь предмете — на язвах Христовых. И вот Серафим предстал ему и пронзил пятью лучами его тело — и на его ладонях, на ступнях и на боку зажглись пять кровоточащих ран. Больше ничего не было — и это было начало Возрождения...»¹⁹

¹⁶ Текст в современной орфографии воспроизводится по изданию «Цветочки святого Франциска Ассизского». М.: Мусагет, 1913, перевод А. П. Печковского. Непереведенные фрагменты восстановлены по французскому изданию Жака Бельтранда.

¹⁷ Цветочки святого Франциска Ассизского. СПб., 2022. С. 186—245.

¹⁸ Лихачев Д. С. Сергей Радонежский и св. Франциск Ассизский // *Filologia e literature nei pacislati. Studi in onore di sante Gracioti*. Roma, 1990, p. 742.

¹⁹ Бицилли П. М. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса (1226—1926) // Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. С. 545.

Но помимо чисто умозрительных параллелей, можно привести и более конкретные факты, свидетельствующие о влиянии францисканства на русскую иконопись. Речь идет, в частности, о том, что при новгородском архиепископе Геннадии (1484—1504) на Руси появились иконописные изображения Иисуса Христа в виде распятого серафима с крыльями. Иконописцы при этом полагали, что они писали икону «с мастерских образцов старых». Однако русские мастера были правы лишь отчасти. Они ошиблись в том, что считали, будто эти образцы «сниманы с греческих». По словам отечественного искусствоведа, действительно, «не иконописцы здешние от себя составили рассматриваемое изображение, а его идейное содержание и художественное воплощение сложилось задолго перед тем на католическом Западе и было воспринято нами как один из художественных мотивов в общем стилистическом потоке... Он является результатом переработки видения св. Франциска Ассизского на горе Альверно, согласно с художественными воззрениями итальянского возрождения»²⁰.

Насколько эта композиция соответствует православному вероучению, это отдельная тема. По словам преп. Максима Грека (ок. 1480 — 1556), жившего и в Италии, и на Афоне, а потом и в России, распятый серафим — это «как бы от ереси». И в связи с этим возникает вопрос: каким образом это иконописное изображение получило распространение на Руси?

Вот как прослеживал эволюцию этого изображения отечественный искусствовед Л. А. Мацулевич. По его мнению, в западноевропейском искусстве образ юного шестикрылого серафима, следуя преданию о св. Франциске, перешел в изображение серафима, пригвожденного ко Кресту. Параллельно с этим он был переработан в образ Христа-серафима и затем Христа распятого, Тело Которого наполовину прикрыто двумя крыльями. В русской иконописи оба образа — юного серафима, пригвожденного ко кресту, и Христа с крыльями распятого — были восприняты и переработаны в каких-то иконописных мастерских. Крылья, направлявшие полет Христа, отпали, и самое изображение, будучи изолированным, оказалось непонятным, утерало первоначальное содержание серафима распятого и вызвало различные толкования²¹.

ФРАНЦИСКАНСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

«Гимн благодарения» («Гимн солнцу»)

Письменное наследие св. Франциска невелико по объему. «Сам Франциск Ассизский написал немного: систематическое изложение его учения противоречило бы его духу»²², — отмечал С. С. Аверинцев. Наиболее известное произведение св. Франциска — это «Гимн благодарения» (или «Гимн солнцу»).

В Библии именно Христос часто уподобляется солнцу: Христос — солнце справедливости (пророк Малахия), во время Преображения Его лик сияет, как солнце (евангелист Матфей), у Луки — это Свет откровения. В раннехристианской литературе стало распространенным уподобление Христа солнцу. Подобные образы встречаются у св. Киприана, у св. Амвросия Медиоланского, у Григория Великого. Франциск, без сомнения, знал эти достаточно известные тексты. Образ Христа-Солнца настолько укоренился в его сознании, что, как свидетельствуют его биографы, именно в таком образе он явился Франциску в видении на горе Ла-Верна.

²⁰ Мацулевич Л. А. Хронология рельефов Дмитровского собора во Владимире Залесском // Ежегодник Российского Института истории искусств. Т. 1, вып. II, Пг.; М., 1922. С. 120.

²¹ Там же. С. 276.

²² Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 400. Статья «Франциск Ассизский».

Одним из предшественников св. Франциска на литературном поприще был Максим Исповедник (580–662)²³ — богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Как бы предваряя «беднячка из Ассизи», он говорит: «Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя, и освещаемые им предметы, так и Солнце Правды, восходя в чистом уме, являет и Себя, и логосы всех [тварей] — уже приведенных в бытие и тех, которые еще будут сотворены. Мы познаем Бога не из сущности Его, но из величия творения Его и из промысла о сущих. Ибо посредством их, словно посредством зеркала, мы постигаем [Его] беспредельную Благодать, Премудрость и Силу»²⁴. Любопытно, что и Дионисий Ареопагит, этот мастер апофатической мистики, в свое время тоже слагает гимн Солнцу, как называет его Оливье Клеман, в котором это небесное светило он зовет «образом Бога»²⁵.

История переводов

В 1837 году профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев (1806–1864) поместил свой перевод «Гимна солнцу» «*Laudato sia*» на страницах «Журнала Министерства народного просвещения»²⁶. С. П. Шевырев отмечал, что св. Франциск «из духовных особ первый стал употреблять народное наречие в возвышенных духовных песнях. Он перелагал псалмы в гармоническую прозу, в которой есть особенные звуки, отличающиеся чем-то необыкновенным»²⁷.

Екатерина Андреевна Бекетова (в замужестве Краснова) (1855–1892), тетушка Александра Блока, была известной в свое время переводчицей и поэтессой. В 1878 году она перевела на русский язык «Гимн св. Франциска Ассизского». Вот как звучат начальные строки этого произведения:

Господь, Творец благой, Всевышний, Всемогущий!
Тебе хвала и честь и слава вся присущи:
С Тобой, Господь, благословенья все!
Тебя единого нам должно прославлять;
Но нет достойного хвалу Тебе воздать²⁸.

Екатерина Андреевна скончалась в 1892 году; ее посмертное издание «Стихотворений» (СПб., 1895) увидело свет лишь три года спустя, а еще через год отец поэтессы Андрей Николаевич Бекетов увековечил ее память, опубликовав перевод «Гимна» св. Франциска:

Хвала Тебе, Господь, во всем Твоем создании!
О, Господи! Велик Ты в солнце золотом,

²³ Максим Исповедник прославлен в лике преподобных и в лике исповедников в православных церквях и в лике святых Римско-католической церкви. Папа римский Бенедикт XVI назвал Максима «великим Учителем Церкви» в своей энциклике *Spe Salvi* (2007), хотя в католичестве преподобный Максим не входит в список учителей Церкви. https://ru.wikipedia.org/wiki/Максим_Исповедник. Дата посещения 01.11.2024.

²⁴ Максим Исповедник. Главы о любви. (1, 95–96) / Творения Максима Исповедника. Богословские и аскетические трактаты. «Мартис» [б. м.], 1993.

²⁵ *Corpus Areopagiticum*. О Божественных именах (IV, 4). Цит. по: Оливье Клеман. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 219.

²⁶ Шевырев С. П. О первых поэтах Италии, предшествовавших Данту // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. № 3, март, отд. II. С. 515–516.

²⁷ Там же. С. 514.

²⁸ Бекетов А. Н. География растений. СПб., 1896. С. II (предисловие).

Что озаряет день приветливым лучом;
Оно, прекрасное, в торжественном сиянии
Тебя являет нам во образе своем²⁹.

Дед Александра Блока по материнской линии — А. Н. Бекетов (1825—1902) — в 1876—1882 годах был ректором Санкт-Петербургского университета. Знаменитый ботаник, доктор естественных наук, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета и президент императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Андрей Николаевич пережил свою дочь почти на 10 лет. В 1896 году он издал свою очередную монографию, озаглавленную «География растений» (СПб., 1896). На титульном листе автор поместил посвящение: «Памяти моей дочери Екатерины». А на следующей странице, предварявшей предисловие, приводится «Гимн св. Франциска Ассизского» в переводе Екатерины Бекетовой:

Хвала Тебе, Господь, в луне и в звездах ясных:
Ты в небе создал их, и светлых, и прекрасных.
Хвала Тебе, Господь, и в свежем дуновении
В туманные часы и в ясные мгновенья,
Которыми даришь Ты все свои творенья...³⁰

Содержание этого «Гимна» подвергалось критике некоторыми западными исследователями еще в XIX веке; они находили в нем скрытые элементы пантеизма. Однако целый ряд отечественных и зарубежных авторов защищает св. Франциска от такого рода обвинений. Одним из них был Александр Николаевич Веселовский (1838—1906), профессор Санкт-Петербургского университета (с 1881 года — академик). Будучи во Флоренции в 1865 году по случаю дантовского юбилея, А. Н. Веселовский написал статью, озаглавленную «Данте и символическая поэзия католичества»³¹. Размышляя о средневековой религиозной поэзии, отечественный историк выявил одну из ее характерных черт: «Это сентиментальное отношение к природе, характеризующее вообще христианское созерцание в его отличии от языческого»³².

«Нигде, может быть, это сентиментальное чувство природы не выказалось так откровенно, как в известном «Гимне к солнцу» Франциска д' Ассизи — он весь в нее погрузился»³³, — продолжает А. Н. Веселовский, приводя затем начальные строки этого произведения: «Да похвален будет Господь Бог мой со всеми творениями, наипаче с батюшкой братцем солнцем; в нем Он нам светит и подает день, в нем, прекрасном, в полном блеске светящем, во свидетельство Твое, Господи»³⁴.

В 1895 году в России была издана монография немецкого ученого Адольфа Гаспари (1849—1892), озаглавленная «История итальянской литературы» (т. 1—2, перевод К. Д. Бальмонта). На страницах своего сочинения А. Гаспари анализирует содержание «Песни к солнцу», отмечая, что «это хвала Господу в форме прославления Его творений»³⁵. «Песня названа „Canto del Sole“, потому что солнце прекраснее всех других созданий и более, чем какое-либо иное, может быть сравнено

²⁹ Там же. С. II.

³⁰ Там же.

³¹ См.: Вестник Европы, 1866. Т. IV. Декабрь.

³² Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Т. III. Италия и Возрождение. СПб., 1908. С. 70.

³³ Там же.

³⁴ Там же. Montalembert, Les moins d'Occident, vol. 1. Introd. p. XXXII.

³⁵ Гаспари А. История итальянской литературы. Т. 1. СПб., 1895. С. 121.

с самим Всевышним»³⁶, — продолжает А. Гаспари, излагая далее историю написания этого гимна.

Сходных взглядов на «Гимн солнцу» придерживался и Михаил Сергеевич Корелин (1855–1899), профессор Московского университета. В своей монографии «Важнейшие моменты в истории средневекового папства» (СПб., 1901) он пишет: «Св. Франциск получил весьма посредственное образование и был более поэт, чем теолог; тем не менее, его проповедь имела колоссальный успех... Св. Франциск был восторженный проповедник, который обращался не только к людям в городах и селениях, но и к птицам в поле, убеждая их непрерывно воспевать хвалу Творцу»³⁷.

Эти строки перекликаются с высказыванием С. Л. Франка: «На высочайшей ступени духовного развития — как, например, в религиозной жизни такого гения, как Франциск Ассизский — не только волки, птицы и рыбы, но даже солнце, ветер, даже смерть и собственное тело становятся „братьями“ и „сестрами“, переживаются как некие „ты“»³⁸.

Вслед за С. П. Шевыревым и А. Н. Веселовским отечественные авторы неоднократно публиковали свои переводы «Гимна». В 1906 году в серии «Религиозно-общественная библиотека» вышла брошюра А. В. Ельчанинова (1881–1934) «Житие св. Франциска Ассизского». (В эти годы будущий протоиерей был секретарем Московского религиозно-философского общества им. Владимира Соловьева.) На страницах этой брошюры был помещен и перевод «Гимна солнцу»:

О, добрый Господи, великий, всемогущий,
Хвала Тебе, благодаренье, слава!
Один достоин славы Ты и чести,
А из людей достойных нет, кто смел бы
Произнести Твое святое имя.
Хвала Тебе, Господь, в Твоих твореньях,
Ты создал брата-солнце, что сверкает
Могучим блеском с неба, день дает нам,
И образ Твой напоминает видом.
Хвала Тебе, Ты создал месяц, звезды,
Как ясно с неба льют они сияние!
Хвала Тебе за ветер, воздух, небо
За облака, за всякую погоду,
Которую даешь Ты в помощь твари.
Хвала за кроткую сестрицу нашу воду,
Веселую, прозрачную как слезы.
Хвала Тебе за то, что брат огонь
Твоим веленьем освещает ночи,
Такой красивый, яркий и могучий.
Хвала Тебе за землю, нашу мать,
Которая нас на себе покоит,
Заботится о нас, плоды приносит
И травы разные и пестрые цветочки.
Хвала Тебе за тех, чье сердце склонно
Прощать людей, любви Христовой ради,

³⁶ Там же.

³⁷ Корелин М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901. С. 104.

³⁸ Франк С. Л. Непостижимое. Сочинения. М., 1990. С. 360.

Кто утешает нас в болезнях, горе
Блаженны те — они починут в мире,
И ангелы украсят их венцами,
Хвалите же, благодарите Бога.
Служите Господу со страхом и смирением³⁹.

В 2000 году именно этот перевод «Гимна» был воспроизведен в книге Фьоренцо Реати «Франциск — учитель молитвы»⁴⁰.

В 1908 году В. И. Герье поместил русский перевод гимна, названного «Хвала творений» в своей книге «Франциск апостол нищеты и любви»⁴¹. В 1911 году гимн «Хвалы святого Франциска» был опубликован в сборнике «Сказания о бедняке Христовом (Книга о Франциске Ассизском)». Перевод гимна был сделан Сергеем Северным — это один из литературных псевдонимов С. Н. Дурылина (1877—1954). Вот начальные строки этого текста:

Господи мой, превеликий и всемогущий,
Тебе хвала подобает, и слава, и честь,
и всякое благословение...⁴²

В следующем, 1912 году появился очередной перевод «Гимна брату солнцу», включенный в сборник «Книга о святом Франциске» (СПб., 1912). Перевод, выполненный В. Конради, отличался от текстов, опубликованных ранее его предшественниками:

Всевышний, всемогущий, благой Господь,
Тебе хвала, слава, честь и поклонение,
Тебе одному они подобают,
И человек не достоин произносить Твое имя.
Хвала Тебе, Господи, и всем Твоим созданиям,
В особенности брату солнцу,
Которое сияет и светит нам;
Оно прекрасно и лучезарно в своем великолепии
И Тебя знаменует, Всевышний⁴³.

Очередная публикация русского перевода «Гимна брату солнцу» появилась в 1915 году; текст был напечатан в брошюре «Франциск Ассизский», выпущенной издательством «Вера»⁴⁴.

В «дооктябрьский период» появился еще один перевод «Гимна солнцу»; он был сделан известным философом и историком Л. П. Карсавиным (1882—1952). Лев Платонович перевел творение св. Франциска с латинского языка; при жизни Карсавина этот перевод не публиковался. Он увидел свет лишь в 1998 году на страницах журнала «Нева». «В данный момент трудно установить: был ли перевод сделан по зака-

³⁹ Гимн солнцу св. Франциска Ассизского. В книге: Ельчанинов А. В. Житие св. Франциска Ассизского. М., 1906. С. 36 // Религиозно-общественная библиотека, серия II, № 6.

⁴⁰ Гимн брату Солнцу (перевод А. Е. Ельчанинова) // В: Фьоренцо Реати. Франциск — учитель молитвы. М., 2000. С. 100.

⁴¹ Герье В. И. Франциск апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 150.

⁴² Сказания о бедняке Христовом (Книга о Франциске Ассизском). М., 1911. С. 36.

⁴³ Книга о святом Франциске. СПб., 1912. С. 98.

⁴⁴ Франциск Ассизский. М., 1915. С. 33—34.

зу или появился по воле самого ученого как созвучный его личным мыслям и миропониманию. Но совершенно ясно — эта работа была выполнена им не случайно»⁴⁵, — пишет публикатор А. Трухин. Приведем первые строки «Гимна солнцу» в переводе Л. П. Карсавина:

Всевышний, всеблагой, всеильный Бог-Владыко,
Тебе славословия, и слава, и почитание, и всякое благословение.
К Тебе лишь они, Всевышний, и возносятся,
И недостойн никто имя назвать святое.
Будь прославлен, о Ты, Господь мой, со всем, Тобою сотворенным,
И особенно с мессиром братом солнцем...⁴⁶

Незадолго до революции 1917 года появился еще один перевод «Гимна солнцу». Он был сделан М. С. Шагинян, «типичной буржуазной интеллигенткой, уходящей от социальной действительности в экзотику»⁴⁷, — с точки зрения советских «ортодоксов».

В 1912 году Мариэтта Шагинян окончила историко-философский факультет Высших женских курсов, организованных В. И. Герье. Впоследствии Мариэтта Сергеевна (1888—1982) «перековалась» и стала «верной ленинкой». Избежав расстрела в 1930-х годах, она в 1942 году вступила в ВКП(б), была награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и дожила до преклонного возраста, скончавшись в 1982 году в звании Героя Социалистического Труда⁴⁸.

Переводы М. Шагинян были включены в книгу Т. Сапожниковой и Д. Зандберг «Св. Клар» (М., 1916); вот как звучат первые строки «Гимна солнцу»:

Тебе хвалу мою воздаю, Господь,
За то, что Ты сотворил всякую плоть.
Особо хвалю господина брата — солнце,
Он день нам дает и нас собой освещает...⁴⁹

Продолжая обзор истории францисканского наследия в России, упомянем об одном из первых опытов перевода «Гимна брату Солнцу» в новейшее время. Он был выполнен Г. Усовой и опубликован в книге Е. Мелентьевой «Джотто-флорентиец» (Л., 1973). Вот начальные строки этого перевода:

...слава брату Солнцу
За рассветы,
За великолепие дней над землею,
За то, что озаряет нас лучами своими,
И Тебя, Всевышний, знаменует собою!⁵⁰

После долгого перерыва, длившегося несколько десятилетий, духовное наследие св. Франциска снова стало привлекать внимание отечественных исследователей. Уделяли они внимание и «Гимну солнцу» («Песнь благодарения»). Так, в монографии «Лингвистические основы балканской модели мира» (М., 1990) современный

⁴⁵ Журнал «Нева». 1998. № 12. С. 229.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Малая Советская Энциклопедия. Т. IX. М., 1932. С. 814.

⁴⁸ Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 29. М., 1978. С. 802.

⁴⁹ Сапожникова Т., Зандберг Д. Св. Клар. М., 1916. С. 107.

⁵⁰ Мелентьева Е. Джотто-флорентиец. Л., 1973. С. 39.

автор — Т. В. Цивьян — пишет о том, что «переплетение космологического и антропоморфного кода, ориентированное на глубокое единство человека и универсума, — представлен в „Cantico delle creature“ Франциска Ассизского»⁵¹.

Другой современный исследователь — И. Г. Вишневецкий — опубликовал перевод «Солнечного песнопения» в сборнике «Aequinox» (М., 1991). (Эквинокс — лат. — равноденствие.) Свой перевод автор предварил статьей, озаглавленной «Франциск, поющий о творениях»⁵². А в следующем выпуске сборника (М., 1993) была опубликована статья О. А. Седаковой «О поэзии святого Франциска», где текст стихов св. Франциска «Похвала творениям» (иначе именуемой «Песнь брата солнца»), также был подвергнут обстоятельному анализу⁵³.

«Гимн солнцу» перевел и Сергей Сергеевич Аверинцев, выдающийся исследователь поздней античности и средневековья. По давней уже оценке С. С. Аверинцева, «„Песнь о солнце“ — произведение проникновенной религиозной лирики. Мистика Франциска Ассизского запечатлена народной свежестью и бодростью; природа — просветленный и таинственный мир, вызывающий к человеческой любви»⁵⁴.

Про «Гимн солнцу» С. С. Аверинцев упомянул и в комментариях к тексту «Эстетики словесного творчества» (М., 1979) М. М. Бахтина. «Мистика Франциска Ассизского отмечена народной свежестью и бодростью, — пишет С. С. Аверинцев, — лукавство бесов бессильно и достойно осмеяния, доктрина о предопределении к гибели души — сатанинский вымысел. Олицетворяя солнце и луну, огонь и воду, христианские добродетели и смерть, Франциск обращался к ним, как в сказке, и называл братьями и сестрами; переживание этого братства всех творений божиих, соединяющего мир человека с миром природы, выражено в т. н. „Песни Солнца“ — проникновенном лирическом стихотворении на народном языке»⁵⁵.

По отзывам специалистов, перевод С. С. Аверинцева наиболее верно передает содержание оригинала. Его перевод «Гимна» был опубликован в журнале «Человек» в 1991 году. Вот первые строки этого текста, озаглавленного «Песнь благодарения о всех тварях Божиих»:

Слава Тебе, Господи мой, за все Твои творения,
Особливо же за достославного брата нашего Солнце,
Что день зачинает и светом нас освещает,
В лучах блистает и в лепоте великой
И являет образ Твой, Господи!⁵⁶

В 1995 году этот перевод был включен в сборник «Францисканское наследие»⁵⁷. Здесь же были помещены и другие переводы «Гимна солнцу»; это тексты М. Шагинян⁵⁸, А. Ельчанинова⁵⁹ и Е. Широной⁶⁰.

⁵¹ Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 6—7.

⁵² Сборник «Aequinox», М., 1991. С. 34—37. Текст «Гимна» — С. 37—38.

⁵³ Сборник «Aequinox», М., 1993. С. 39—41.

⁵⁴ Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 400.

⁵⁵ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 390, примеч. 23.

⁵⁶ Песнь благодарения о всех тварях Божиих / Пер. С. С. Аверинцева // Журнал «Человек». 1991. № 4. С. 132.

⁵⁷ Францисканское наследие. Т. 1. М., 1995. С. 234. См. также: Песнь брата Солнца // Истоки францисканства. М., 1996. С. 139—140.

⁵⁸ Францисканское наследие. Т. 1. М., 1995. С. 233.

⁵⁹ Там же. С. 232.

⁶⁰ Там же.

С очередной публикацией, посвященной духовному наследию св. Франциска, выступила О. А. Седакова на страницах журнала «Литературное обозрение» (1994, № 3—4)⁶¹. Под общим заглавием «Франциск, человек таинственный» здесь были помещены переводы отечественной исследовательницы. После вступительной статьи следуют тексты: «Послание министру», «Хвалы Богу Всевышнему» (с комментариями), а также переведенная в очередной раз «Песнь Брата Солнца».

«Песнь брата Солнца, иначе именуемая „Похвалой творениям“» была опубликована Ольгой Седаковой в 1999 году и в сборнике «Studia Slavica Finlandensia». Приведем последние строки этого перевода:

Хвала Тебе, Боже мой, о сестре нашей смерти телесной,
ее же никто живой не избегнет;
Горе умирающему в смертном грехе;
Блажен, кого настигает она за исполнением воли Твоей
небесной:
Ибо смерть вторая коснуться таких не посмеет.
Хвалите Господа моего, благословите Его со всяким
Благодарением
И работайте Ему с великим смирением⁶².

Здесь же можно привести фрагмент из «гимна Брату Солнцу», содержащийся в «Книге Невидимой» (1905) поэта-символиста Александра Добролюбова (1876 – 1945):

Хвала Тебе, Господь, и за сестру нашу телесную смерть.
От нее не спасется ни один живущий.
Горе тому, кто ею в грехах смертных будет найден.
Но блажен, кто всю жизнь творил благо и милость.
Смерть не принесет ему ничего худого⁶³.

«Похвалой „сестре нашей смерти телесной“ кончается прославленная «Песнь брата Солнца», первое в истории итальянской словесности стихотворение на народном языке, сложенное Франциском после ночи мучительного недуга, незадолго до кончины, — пишет Гилберт Честертон. — В ней тоже нет ничего предметно чрезвычайного, она похожа на псалом, как будто переписанный рукой ребенка»⁶⁴.

⁶¹ Седакова О. А. Франциск, человек таинственный // Литературное обозрение. 1994. № 3–4. С. 69–70.

⁶² Песнь брата Солнца, иначе именуемая «Похвалой творениям» // *Studia Slavica Finlandensia*. Т. XVI/2, Helsinki, 1999, p. 268 (пер. О. Седаковой).

⁶³ Добролюбов А. М. Из Книги Невидимой (1905) // Добролюбов А. М. Сочинения в 2 т. Т. 2. Беркли (США, Калифорния). Berkeley Slavic Specialities, 1983. Стих. № 5.

⁶⁴ Честертон Гилберт. Все во всех вещах // *Studia Slavica Finlandensia*. Т. XVI/2, Helsinki, 1999, р. 266 (пер. О. Седаковой).

Contents

Prose and Poetry

- Yanur Vasiliev.** Poems • 3
Anna Antipova. St. Petersburg Story. *Short Story* • 9
Elizaveta Gubina. The Smell of Muscat and Cordite. *Short Story* • 24
Valery Skoblo. Poems • 30
Alexander Zhdanov. Verka Hamilton. *Story* • 35
Nadezhda Azhgikhina. In and Without Dreams. Childhood. Road. Dreams. Stairway to Heaven. *Short Stories* • 96

Translations

- Isaac McLellan, Georges Fourest, Anatole France, Paul Valéry, Germain Nouveau, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire.** From French and English Poetry. *Translated by M. Serebrinsky. Preface by A. Akhmatov* • 109

Universe of Childhood

- Alexander Tyuzhin.** One Ticket to Mars. *Story* • 115

Non-Capital Russia

- Yevgeny Edin.** Dependence Day. Umbrellas and Flags. *Stories from the „We Are Here in the Center“ Cycle. Preface by E. Popov* • 203

Archipelago of Nobility

- Tatiana Kudryavtseva.** House. *Short Story* • 224

Favorite Corners of Russia

- Ekaterina Sosnina.** The Secret of M. Lermontov's Famous Watercolor • 232

St. Petersburg Bookman

- Art of Reading. Alexander Chistobaev.** The Poetry of Dmitry Artis in the Context of the Contemporary Literary Process • 238

Pilgrim

- On the 800th Anniversary of the Death of Francis of Assisi.* **Archimandrite Augustine (Nikitin).** Saint Francis of Assisi and Russia. *Part 4* • 242

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23

E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Рукописи принимаются только в электронном формате
по адресу nevaredaction@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru

По вопросам, связанным с интернет-сайтом, обращайтесь
по адресу web@neva-journal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежий номер журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 20.05.2025. Подписано в печать 09.06.2026.

Выход в свет 09.07.2026. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 650 экз. Свободная цена. Заказ № 31

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья и читатели! К нашему большому сожалению, финансовое положение журнала остается сложным. Мы старались справиться своими силами, но рост стоимости печати и коммунальных расходов создал критическую ситуацию. Мы верим в наше общее дело и надеемся на ваше участие. От всей души благодарим за любую помощь!

Реквизиты для банковского перевода:

Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»

ИНН: 7810328498

КПП: 784101001

Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653

В графе «Назначение платежа»

важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду



Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ
осуществляет **АО «Почта России»**, индекс П1743

Объединенный каталог «Пресса России», индекс 73276

Агентство подписки «Урал-Пресс», индекс 73276

Интернет — neva-journal.ru

